

ДРУЖБА НАРОДОВ

Дружба на вырост

● «Только детские книги читать...»

*Писатели о любимых книгах своего детства.
Заочный «круглый стол»*

● Григорий Кружков
Крабр!

Стихи

● Дмитрий Шеваров
Приключения книжного мальчика
Два сюжета из будущей книги

● Юрий Петкевич
Голубь в Казейках
Повесть

● Айно Первик
Как работать президентом
С эстонского. Перевод Лены Блюм



11'2015

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LIVEJOURNAL: http://druzhiba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.rф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2015.
Подписано в печать 15.10.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 1271. Цена свободная.

Дружба народов

11'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Только детские книги читать. Заочный «круглый стол»	3
---	---

Проза и поэзия

Дмитрий ШЕВАРОВ. Приключения книжного мальчика. Два сюжета из будущей книги ...	27
Григорий КРУЖКОВ. Крабр! (62); Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ. Так устроен белый свет (96); Елена ФЕЛЬДМАН. Пингвины по небу летят (139); Сухбат АФЛАТУНИ. Колыбельная явь (162); Сергей НАДЕЕВ. Белиберда, или Театр зверей (169); Сергей БЕЛОРУСЕЦ. Ребячий класс (187). Стихи	

Взрослые дети

Юрий ПЕТКЕВИЧ. Голубь в Казейках. Повесть	66
---	----

Взрослим о детях

Ксения ДРАГУНСКАЯ. Рассказы	99
Галина КЛИМОВА. Туфли. Рассказ	114
Леонид БАХНОВ. Пинг-понг 1963 года. Рассказ	119
Ольга СТОЛПОВСКАЯ. Саквояж	129
Ирина КРАЕВА. У реки с золотыми мальками	132

Эхо Великой войны

Тамара КУЗНЕЦОВА. Печали и радости моего военного детства	143
---	-----

Билинки

Андрей АСТВАЦАТУРОВ. Крапива	164
Василий БАБУШКИН-СИБИРЯК. Благодарь	165
Александр ЦЫПКИН. Властелин бутылок	166
Сергей ПЕРЕЛЯЕВ. Невыросшая яблоня на голове	167

Сказки

Эрлом АХВЛЕДИАНИ. Притчи	172
Левон ХЕЧОЯН. Царь Хосров. С армянского. Перевод Светланы Авакян	175
Алиса ГАНИЕВА. Вранье. Сказка про мальчика, который плакал	178
Андрус КИВИРЯЖК. Поцелуй лягушку! С эстонского. Перевод Нелли Абашиной-Мельц	180
Наталья КЛЮЧАРЁВА. Последнее чудо	182

Детям о взрослых

Айно ПЕРВИК. Как работать президентом. С эстонского. Перевод Лены Блюм	189
---	-----

Книга моей жизни

«Я очень рекомендую вам этот шедевр!»	199
---	-----

Суть дела

Владимир ЕРМАКОВ. Друг без друга. В поисках утраченного чувства	203
---	-----

Культурный слой

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Страна между двумя берегами. Калмыцкая сказка	209
---	-----

Мир детской литературы

Юрий НЕЧИПОРЕНКО. Писатель сродни клоуну. Личный опыт работы «в поле»	235
Ольга БАЛЛА. Наука расставания	240

Эхо

Эвакуация. Из мемуаров 1941 года. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
Авторы номера	254

Только детские книги читать

В заочном «круглом столе» принимают участие: Александр Архангельский, Владимир Березин, Виктор Гольшиев, Елена Долгопят, Денис Драгунский, Михаил Земсков, Анна Козлова, Валентин Курбатов, Вадим Муратханов, Дмитрий Новиков, Сергей Носов, Владислав Отрошенко, Павел Санаев, Юрий Серебрянский, Александр Снегирёв, Алексей Торк, Александр Хургин, Глеб Шульпяков, Александр Эбаноидзе, Санджар Янышев, Гузель Яхина,

Мы предложили писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о любимых книгах детей/внуков.

Александр Архангельский, прозаик, телеведущий, г.Москва

«Были две главные для меня книги — огромный Чуковский и маленький Пушкин»

1. У меня в детстве было множество любимых книг. Вообще, я любил почитать — пока мама, не подученная некоей училкой, не заставила меня писать в отдельную тетрадь отзывы о прочитанном; после этого лишь собственные стихотворные потуги и чудо попадания в литературный кружок Дворца пионеров смогли вернуть меня в библиотеку. Но пока я читал, то метелил все подряд, не разбирая качества. Вспоминая про иные книги, горько жалеешь себя: и на это убито прекрасное время? Как мне мог понравиться какой-то жалкий «Васёк Трубачев»? А «Отряд Трубачева сражается»? А ведь я в очередь записывался, чтобы дочитать историю Васька. С другой стороны, у меня был личный трехтомник Николая Носова, рассказы Виктора Драгунского, таинственный (хотя и глубоко советский) «Кортик». Были Волков с подворованным сюжетом «Изумрудного города», Марк Твен с упоительными Томом Сойером и Гекльберри Финном. Я переживал как личную потерю, когда соседка-дура, попросив на время Носова, разметила его чернильной ручкой — типа это прочли, это тоже, и это. Мне казалось, что любимый Носов осквернен; а ведь это он подарил мне счастье Мишкиной каши, Бобики в гостях у Барбоса, Незнайки в Солнечном городе... И как выяснится позже, многому научил. Именно «Незнайка на Луне» дал нам представление о деньгах, акциях и пирамидах. Если я не разорился на МММ, не понес деньги в «Чару» и как-то вписался в рыночные времена, то потому что был заранее предупрежден: общество гигантских растений лопнет, а фартинги с неба не валятся.

Но при всей невероятной важности Твена и Носова были две главные, равнозначные для меня книги — огромный Чуковский и маленький Пушкин. Можно в каком-то смысле считать их одной, но о двух головах. Обе синие с белым. Обе — собрания сказок. Картинки из большого Чуковского стоят перед глазами до сих пор: карандашный контур Мойдодыра, неприличный сладострастный умывальник, задумчивый

Крокодил, мрачный Тараканище. Картинок к Пушкину не помню совершенно, кроме роскошной обложки с полуночным небом, молодым месяцем и заснеженной избушкой. Зато помню завораживающие, авангардные стихи. И у Пушкина, и у Чуковского. Лихо надломленный ритм; ямб, отступающий перед раешником; позиционный перевес хорея и тоническая поступь гениального «Балды».

В этом смысле у детских книг, написанных взрослыми писателями, завидная судьба. Сначала их читают все, воспринимают на самом поверхностном уровне, рефлекторно считывают общие места. Потом все дружно забывают. А спустя годы возвращаются, и тоже все. Одни по доброй воле, потому что узнают, что Бибигон пародирует Мцыри, а «Сказка о рыбаке и рыбке» с катастрофической точностью описывает вечный путь русского самозванца. Другие потому, что жизнь заставила, дети подросли, внуки появились, надо же им навязать свой собственный читательский опыт.

2. И у детей моих не было Главной Единственной книги. Даже такой, как у меня, условной, сдвоенной. Ни у старших, которые подрастали в начале 90-х, ни у младших, которым выпало начало нулевых. У старших детей был все тот же большеформатный Чуковский, уцелевший во всех передрыгах и подклеенный на сгибе с внутренней стороны корешка. Пушкина мы потеряли в переездах, но сын обрел ему замену в однотомном Гоголе сталинского времени издания. Разве такое забудешь? Сидит он в темной комнате на даче, читает «Мертвые души» и ржет в голос. Было ему — сколько? Лет 10, не больше. Что до младших, то они читали «Хроники Нарнии», «Хоббитов» («Властелина колец» не осилили, только смотрели кино). «Гарри Поттера» листали вперемешку с фильмом, не скажу, что очень увлекались. Носов с Незнайкой, тем более с «Мишкиной кашей» у них особого восторга не вызывал, ну прочли и прочли, Драгунский тоже. А место нашей героической макулатуры в их молодом читательском раскладе заняли переводные книги, столь же никудышные, но без шелковой идеологической подкладки. Например, бесконечная серия романов про котов-воителей; автора я сразу же забыл.

Владимир Березин, прозаик, г.Москва

Второе издание

Не в целях оригинальности, но в интересах неопределенной истины скажу, что главной в моем детстве была Большая Советская энциклопедия, а вернее — ее второе издание. (Сперва главным редактором был знаменитый Сергей Вавилов, а потом радиофизик Борис Введенский.)

И выпускало ее одноименное Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия».

Именно это чтение и сформировало меня.

Мне скажут, что чтение это не детское, но я уговорился на биографическую истину, а не на книжный идеал. Многого я не понимал, будто ученик волшебника водя пальцем по инкунабулам в синем переплете.

Я читал ее как художественную литературу — статью за статьей подряд, в кровати и за столом, иногда в туалете (справа шла мертвяще холодная труба с изморозью на крашеном металле), иногда в ванной (где было тяжело держать над дымящейся водой ее тяжелый том) — в общем, где попало.

Это было фронтальное чтение — от статьи к статье.

Из этого занятия сформировался словарный запас, а позднее — любовь к

определениям. Потом множественные миры, созданные писателями, приучили меня к тому, что единый мир всегда дробится на разные, что связаны только твоим воображением. Нет единого и правильного, каждый по-своему видит их и по-своему переделывает.

Это понимание началось с темно-синих, с золотыми строчками граничных слов, томов БСЭ, откуда вылетала бумажка «Типография Гознака. Брошюровщица №8». Этот Гознак казался человеком — именно «Гознак», а не «Госзнак»...

Надо понимать, что на фоне третьего «красного» издания БСЭ «синее» выглядело, как сталинские высотки рядом с брежневской панелью. Это действительно был дом, но при этом постоянно меняющийся — что было особенно странно при его монументальности.

И я, подросший мальчик, в семидесятые через него постигал мир.

Быстрее всего забываются не события, а стиль времени — обороты речи, какое-то странное слово, потерявшее вдруг смысл, или слово страшное, но вдруг остывшее, как кусок железа, не опасное больше.

Был строй, был санкционированный миф истории, но он поддерживался постоянным переписыванием прошлого. И что-то стиль нового времени вытаскивал из себя, а значит, подвирал — а вот Большая советская энциклопедия не врала — она фиксировала стиль сороковых, а потом стиль пятидесятых в своих огромных томах, казавшихся мне тогдашнему неподъемными.

В мире семидесятых годов время было линейным, устоявшимся в своем медленном течении, а вот в энциклопедии время бурлило, его река то рыла берег, то останавливалась в заводях. Это время могло двигаться по разным руслам, а то и переменить направление. Во всех словах чудился скрытый смысл.

И я, в своем школьном мундире, пытался разгадать их тайну.

Эти тома и были, как я уже сказал, инкунабулами — сборниками советских заклинаний.

Первый был подписан к печати 15.12.1949: Ахматова, Акмеисты, Албания — еще с Энвером Ходжей.

В тома вкладывали суровые записки.

Уже в пятом томе, на 21-й странице которого начиналась статья, озаглавленная «Берия», обнаруживался листок: «Подписчику БСЭ. Государственное научное издательство «БСЭ» рекомендует изъять из пятого тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых Вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, к которым приклеить новые страницы».

Берия был расстрелян в 1953 году, и подписчики БСЭ получили по почте письмо в большом конверте, в котором находились эти страницы со статьей «Берингов пролив», которая стала даже больше статьи «Тихий океан».

В 1954 году то же самое произошло и с китайцем Гао Ганом — снятым со всех постов и, по официальной версии, покончившим жизнь самоубийством.

А в шестнадцатом томе, на 616-й странице можно обнаружить статью «Зелёная лягушка»:

«ЗЕЛЁНАЯ ЛЯГУШКА, прудовая лягушка (*Ranaesculenta*), — бесхвостое земноводное из рода настоящих лягушек (см.). Длина тела до 10 см. Окраска сверху чаще всего травянисто-зелёная с редкими тёмными пятнышками, снизу — желтоватая или белая. Распространена на большей части территории Европы; в СССР обычна в зоне смешанных лесов и в лесостепи, а также в прилегающей части степной зоны. Населяет небольшие заросшие водоёмы: пруды, лесные болота и т. п. Питается насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Зимует на дне непромерзающих водоёмов».

В этой статье вроде все верно, меж тем никакого вида «зеленая лягушка» нет, а

зеленая лягушка вместо прудовой возникла из-за того, что том был подписан в печать 18.10.1952.

В это время был арестован академик, специалист в области кардиологии Владимир Филиппович Зеленин. Человек он был в медицине известный, и не только своими «каплями Зеленина», статьи в энциклопедии бесспорно заслуживал, но после ареста заслуживать перестал. И вот, чтобы не оставлять пустое место в наборе, возник новый вид лягушек. Зеленин, кстати, уцелел и дожил до 1968 года.

Томов было множество — пятидесятый, который назывался «СССР», вовсе не был последним.

За ним шел 51-й, дополнительный. В него попали восстановленные в правах калмыки и расстрелянные генералы, к тому времени реабилитированные. Об этом, правда, в самих статьях не говорилось, но один год смерти видных военных и государственников наводил на мысль о какой-то загадочной эпидемии.

Вообще, любая энциклопедия или биографический словарь напоминает список Шиндлера. Не в смысле национальности, конечно, а оттого, что спасаются только классифицированные, сведенные под переплет люди. Остаются в истории, остаются вообще.

В Большой советской энциклопедии был интересен словник, который хорошо бы назвать «людник» — от тома к тому менялись оценки людей, будто рассказчик терял интерес к персонажу или, наоборот, вспоминал что-то интересное о своем родственнике. Вождь Югославии был сперва кровавым убийцей, а потом становился героическим партизаном.

Все это меня, жившего в линейной истории семидесятых, завораживало.

Но не только люди, целые страны на глазах теряли свои очертания. Мир менялся, поэтому за дополнительным томом шло несколько ежегодников (1957—1961) и два тома алфавитного указателя.

Там были и «Крылатые слова и выражения», которые долго ещё служили единственным справочным средством по латыни — много чудес было в этом собрании, что занимало целый шкаф, материк в книжном океане моего детства.

Надо помнить, что эту энциклопедию делали в высшей степени профессиональные люди, и математическими статьями из нее я пользовался даже на младших курсах университета. Рисунки (а не фотографии) птиц были прекрасны, фундаментальная наука сходилась с читателем в области простых объяснений.

Нет, лучшего чтения в детстве у меня не было.

Что до детей, то мой сын вошел как-то ко мне и, обведя взглядом книжные полки, сказал: — Знаешь папа, я не буду читать твои книги. В них нет счастья. Слово он свое сдержал.

Виктор Голышев, переводчик, г.Москва

Книги детства

В.Скотт. Айвенго

Г.Адамов. Изгнание владыки

Н.Кун. Что рассказывали древние греки о своих богах и героях

М.Твен. Янки при дворе короля Артура

М.Ильин. Рассказы о вещах

Я. Перельман. Занимательная физика

К.Фламарион. Популярная астрономия

И.Ильф и Е.Петров. 12 стульев; Золотой телёнок

Дж.Лондон. Северные рассказы

Голышевы дети:*Ляля, 2002 г.р.*

Г.Белых и Л.Пантелеев. Республика Шкид

М.Твен. Янки при дворе короля Артура

Л.Толстой. Детство, отрочество, юность

Н.Гоголь. Мёртвые души

Ю.Алешковский. Чёрно-бурая лиса

М.Булгаков. Мастер и Маргарита

Андрей, 1996 г.р.

М.Зощенко. Лёля и Минька

М.Гаспаров. Занимательная Греция

Г.Уэллс. Война миров

Ч.Буковски. Макулатура

Василий, 1966 г.р.

Г.Цыферов. Рассказы и сказки

Сказки народов мира

И.Ильф и Е.Петров. 12 стульев; Золотой телёнок

Советская детская энциклопедия, тома: Человек; Математика и Физика

*Елена Долгопят, прозаик, г.Москва***«Впервые из этой детской книги
я узнала о бесконечности»**

Тяжелый многостраничный том. О космическом путешествии. Автора и названия не помню.

Лет восемь мне было. Я возвращалась из школы, ключ висел на шее под форменным платьем. Я отпирала дверь, разогревала еду, делала или не делала уроки, таскала из банки брусничное варенье (банка стояла в холодильном шкафу под подоконником). Читала, в забытии ела варенье (сладкие затертые капли на странице). Круг света от настольной лампы, темное окно, мое искаженное лицо в стекле. Иногда я бросала книгу и убегала во двор, иногда не могла оторваться. Сюжет припомнить не могу. Впервые из этой детской книги я узнала о бесконечности. Уже ночью, в постели, в спящем доме, я попыталась бесконечность представить. Как что? Темная, черная, беспросветная ночь. Ты в ней. Ты движешься. Быстро или медленно. Под ногами ночь, над головой, вокруг. Нет низа, нет верха, нет круга. Ты летишь и летишь. И конца этому не будет. Никогда. Бесконечность — это никогда, это смерть в чистом виде. Я почти представила никогда, почти умерла и от страха ринулась наружу, в явь, в мир Евклида, конечный и понятный. С тех пор я боялась представлять бесконечность, боялась туда рухнуть. Куда как лучше дома. Тепло, часы тикают, утром в школу. «Лена, осторожно через дорогу!»

В это же время прочитала Андерсена, печальные сказки. Печаль была по мне. Грустные истории. Красота мимолетна, она исчезает на глазах, ее невозможно удержать, задержать. Можно успеть заметить. Она уходит всегда. Вот про что писал мне (мне) Андерсен. В связи с ним или нет, не помню, как-то раз я увидела свою детскую комнату (папой сделанный стеллаж с книгами, письменный стол, ковер на деревян-

ном полу) как уже далекое прошлое, несуществующее; как полуистлевшую прозрачную старину.

На этом стеллаже (из светлой сосны) стояли в тесном ряду других книг японские сказки. В них больше поразили не лисы-оборотни, а снег. В тексте были картинки: брели худо одетые люди в конусообразных шляпах, их силуэты лишь угадывались за снегом. Их силуэты и силуэт горы. Они были скрыты, видны, но скрыты. Под покровом. Под шорохом.

На летних каникулах у бабушки я читала книги со старой этажерки. «Чёрную курицу». «Детство». «Охотничьи рассказы». Подшивку «Нивы» за 1912 (кажется) год. Эти же книги читала бабушка одинокими вечерами, когда мы все разъезжались (и с каждым днем все дальше оказывались от нее, от света ее настольной лампы). Она читала про Николеньку, про туманы над полями, про детство, про ушедшую жизнь.

Денис Драгунский, прозаик, политолог, г.Москва

Заморыши и оборвыши, друзья моего детства

В детстве я много книг читал и почти все их помню. Жюль Верн в особенности, Майн Рид тоже, Луи Буссенара и, конечно, Стивенсона и Вальтера Скотта, которые, в отличие от трех предыдущих, писатели по-настоящему великие. Мне нравилась в этих книгах победа — над судьбой, над обстоятельствами, над дикой и грозной природой. Победа разума, прежде всего.

Про природу книги я тоже очень любил. Про животных — Сетона-Томпсона в первую очередь и почти забытых литераторов-натуралистов — Спангенберга, Арамилева, Перовской. Про растения тоже — был такой ленинградский ботаник Верзилин, написал чудесные книги «По следам Робинзона», «Растения в жизни человека» и еще несколько, они почти все у меня были, мне их мама покупала.

Кстати говоря, в одной из книг Верзилина я прочел замечательную историю. Она, эта история, повлияла на мое умственное развитие (простите за пышность выражений) гораздо сильнее, чем позже прочитанные и проштудированные тома разных крупнейших философов. Я ее до сих пор помню. Вот она: «Чем питаются растения? Почему они растут, откуда берут строительный материал для своих ветвей, стволов, листьев? Чтобы ответить на этот вопрос, голландский ученый Ван Гельмонт поставил опыт. Он взял черенок ивы и посадил его в землю, которую, предварительно прокалив на железной сковороде, взвесил. Черенок весил пять фунтов — земля весила двести фунтов. Ван Гельмонт стал поливать иву водой, а через пять лет выкопал и взвесил. Ива весила уже сто шестьдесят четыре фунта, а земля весила практически столько же — ее вес уменьшился всего на две унции. Вывод ясен и очевиден: растения питаются водой! Но это был ошибочный вывод. Через два с лишним века Ян Ингенхаус доказал, что растения питаются углекислым газом из воздуха...» Этот немудреный и, наверное, банальный рассказ (не сомневаюсь, что в истории науки есть масса похожих эпизодов) меня в мои двенадцать лет просто потряс. Я понял — нельзя доверять очевидности; простое и ясное доказательство может быть заблуждением, а то и просто обманом — именно из-за своей простоты и ясности.

Но не эти прекрасные книги были *книгами моего детства* — то есть книгами, которые я читал и перечитывал, изо всех сил сочувствуя героям, иногда просто до слез. Ах, чудесная классика жалобной детской литературы — «Маленький оборвыш» Джеймса Гринвуда, «Без семьи» Гектора Мало, «Рыжик» Алексея Свирского и чудесная, самая поздняя в этом ряду, в 1962 году напечатанная книга Ивана Василенко

«Жизнь и приключения Заморыша». Я сопереживал маленьким беднякам, на которых обрушивались беды и неудачи, я следил за их приключениями (вернее, злоключениями), гневался на их обидчиков, радовался хоть малейшей передышке... И вот что интересно. Сюжеты всех этих книг разворачивались в совершенно чужой и незнакомой среде — в старой Англии, в сельской Франции, в Голодаевке под Житомиром и в досоветском Ростове. Но мне казалось, что это и есть жизнь. Жизнь вообще, огромная, непроглядная, полная шорохов и потрескиваний, обступающая меня со всех сторон, как ночь обступает, когда я из светлой теплой комнаты на даче выхожу на двор сами понимаете зачем: жизнь, думал я тогда, — именно такова. Полная страданий, труда и нечастных случайностей, поворачивающих судьбу от плохого к худшему. А то, что сейчас происходит со мной, — это какая-то незаслуженная, нелепая, неизвестно с какого неба упавшая удача, временное везение, на которое нельзя всерьез рассчитывать. Бояться, однако же, не надо. Надо идти вперед и жалеть тех, кто рядом с тобой шагает, хромя и кряхтя.

Жалость — вот главное чувство, которое охватывало меня при чтении этих книг, и это было не случайно. Все характеры героев, все их приключения, все смешные случаи или невиданные города, куда их заносила судьба, — все эти картины были вышиты на канве жалости, сострадания к «малым сим», к униженным, бедным, больным, неудачливым, нелепым, не шибко умным, но добрым людям.

«Жалость освежает душу, как дождь освежает сухую землю», — писал Анатолий Франс в своей сказке «Пчелка», которую мне когда-то посчастливилось инсценировать. Прочитав эти слова, я вспомнил старые детские книги — и понял, что вывод из них, из этих очень реалистических описаний нищеты и бездолья, следует тот же самый, что из феерии о приключениях принцессы в королевстве гномов. Жалость, то есть умение пожалеть, пощадить, простить и утешить — есть важнейшее свойство души.

Я давно вырос. Стал довольно злым господином. Но я надеюсь: что-то доброе, нежное, жалостливое еще трепыхается у меня в душе, где-то на самом доньшке. Если это так — спасибо Оборвышам и Заморышам из моих детских книг. Если нет — все равно спасибо.

Михаил Земсков, прозаик, г.Алма-Ата

Особая история

1. Назвать какую-то одну «любимую книгу детства» трудно. Но были три значимых, повлиявших и на мою любовь к чтению вообще, и частично на то, что я сам лет с двенадцати стал писать сказки и детские истории — «Приключения Тома Сойера», «Алиса в стране чудес» и сборник сказок Гофмана. Особая история случилась с «Алисой в стране чудес». Когда попробовал читать ее в первый раз, лет в десять, она мне совсем не понравилась. Попробовал еще раз через год (ее мне настойчиво рекомендовали и родители, и библиотекарьша в школе) — опять не понравилась. Но с третьей попытки — еще через год — я так влюбился в эту книгу, что перечитывал, наверное, каждый год лет до двадцати—двадцати двух, да и позже, уже будучи взрослым, еще несколько раз перечитал.

2. У одиннадцатилетнего сына тоже одной любимой книги нет. Точнее, наоборот — «их очень много, но самых-самых любимых семь»: «За всё хорошее — смерть» Максуда Ибрагимбекова, «Дети синего фламинго» Вячеслава Крапивина, трилогия Филипа Пулмана «Тёмные начала», «Чернильная трилогия» Корнелии Функе, серия «Часодеи» Натальи Щербы, серия «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса.

Анна Козлова, прозаик, г.Москва

«Наверное, только после этого коллективного прочтения, в возрасте 30 плюс, я поняла, о чем эта книга»

В детстве моей любимой книжкой был «Рейнеке Лис» Гёте. Меня с раннего возраста неодолимо тянуло к «Рейнеке», он был самым тоненьким из собрания сочинений Гёте, а между страниц попадались гравюры Дюрера на глянцевых вставках. Рейнеке у ног больного льва Нобеля, Рейнеке перегрызает горло ворону, а его жена и дети с умилением за этим следят, в лапках у жены — корзинка с провизией, накрытая крахмальной салфеткой, из-под салфетки выглядывают стрелки зеленого лука. Еще не умея толком читать, я постигала слово Гёте через образы Дюрера, простые и, на первый взгляд, даже по-немецки буквальные, но при этом заключавшие в себе какую-то темную, завораживавшую страстность. Как я понимала тогда историю Рейнеке, циника, предателя, убийцы, но при этом нежного отца, любящего мужа и спасителя государства? Гёте поставил мой детский разум в тот единственный тупик, который или способствует развитию или навсегда его завершает с формулировкой «что-то ничего непонятно». Я сознавала, что Рейнеке — плохой, но я была очарована его изяществом, мне не нравилась его жестокость, но я восхищалась тем, как тонко он выходит из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Рейнеке был живой и творческий, а заяц Лямпе, волк Изегрим, все, кого он упорно истреблял, оказывались при ближайшем рассмотрении скучными, трусливыми и пустыми, в них не было ничего, кроме этой абстрактной «хорошести», они не сделали никому ни добра, ни зла, и от этого их жизнь казалась какой-то формальной, что есть они, что их нет — никакого значения это не имело. Последний раз я вернулась к Рейнеке совсем недавно, когда читала его вслух своим детям, меня снова потрясла сила его воздействия, та безоговорочная вера, которую он внушает, способность делать настоящим и значимым то, чего не существовало, чего просто не могло существовать. И, наверное, только после этого коллективного прочтения, в возрасте 30 плюс, я поняла, о чем эта книга. Она о жажде жизни и желании жить, о том, что это желание и есть единственное доступное нам добро, о творчестве, без которого мир превращается в темное волчье логово, о тяжелой ноше, которой лежат на наших плечах стереотипы, и о силе духа, которая одна только и может бросить стереотипам вызов.

Моей дочери — 13, моему сыну — 9, они выросли в мире, где божественный айфон открывает двери в самые сокровенные мысли и чувства другого. Нет ничего личного, если, конечно, не под замком, и всем можно поделиться в ту же секунду, как увидел, не успев даже разобраться, нравится тебе увиденное или не особо. В таких обстоятельствах чтение становится самым настоящим вызовом общепринятому порядку, потому что книга выключает читающего из бесконечного и бессмысленного интерактивного общения, она заменяет все и, что самое неприятное, делает читающего абсолютно недоступным. Именно этого Ваня и не мог пережить, когда Марго часами лежала на диване с «Убить пересмешника», он просто бесился из-за пересмешника. Когда на прогулке она говорила, что хочет домой и побыстрее вернуться к пересмешнику, Ваня бледнел и в ярости сжимал кулаки, он даже пытался высмеивать пересмешника, но толком не знал как, и это не прокатило. Остался один только путь — узнать пересмешника и оценить, так ли он хорош. Марго стала читать книгу вслух, когда она уставала, вслух начинал читать Ваня, а я получила неоценимую возможность освежить в памяти коллизию и заново насладиться скупым эстетским

слогом Харпер Ли. Почему я пишу именно об этой книге? Разумеется, мои дети прочли все, что полагается прочесть в их возрасте ребенку из интеллигентной семьи, но именно пересмешник стал рубежом, стал точкой, в которой мир навсегда изменился, потому что зло оказалось реальным, а не комичным, как в Урфине Джюсе, и смерть стала неизбежной, и, самое главное, нарушилась логика детства, в которой за плохим поведением всегда следует наказание и избежать его нельзя. И этот опыт кажется мне бесконечно важным для них.

Валентин Курбатов, литературный критик, г.Псков

Ах, жизнь, жизнь...

1. Откуда в деревенском военном детстве книги (да еще во множественном числе)? Тем более, что живем в землянке. Разве вот у деда закапанная (закапанный?) воском «Псалтырь»? Так подступись-ка.

И, как ни странно, и в первом классе в 1946 году не запомнил Книгу, даже «Букварь» — не вышло из меня Филипка. Другие заботы: голод, еще карточки. А потом, уже на Урале, в Чусовом, как сразу в памяти живой картинкой — отчеркиваю босой пяткой в уличной пыли черту и грозным голосом Тома Сойера говорю своему товарищу: «Только переступи — сразу получишь!» А товарища-то Вовку уже зову «Монтигомо Ястребиный коготь». Значит, как-то незаметно уже и Марк Твен и Фенимор Купер.

А сознательно (сам!) сразу выбираю в школьной библиотеке чуть не полное собрание сочинений Горького, чтобы библиотекарша видела, какой я башковитый парень. Горький — первый писатель, вон и его портрет в классе рядом со Сталиным и неизменное повсюду «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Может, и я буду обязан.

И вот чудо — его «Мальву» боюсь и сейчас перечитывать — так задето было сердце подступающей тайной женщины и любви. Как потом, после седьмого класса уже не открываю тургеневскую «Клару Милич», унеся в памяти неизживаемое темное тревожное волнение первого чтения, как испуг ночного свидания.

2. А детям уже свое, словно в возмещение непережитого в свой час и с какой-то первоначальной радостью — пушкинские сказки, лермонтовскую колыбельную и, уже в подростках, торопя их взрослость до дружества, — «Над пропастью во ржи» всесветного тогда Сэлинджера и «Убить пересмешника» Харпер Ли. (Чужое-то почему? — не знаю, душа была умнее и искала «недожитого и недочувствованного») И, конечно, конечно, тургеневскую «Асю».

А уж внучкам — тем весь цвет и свет стихов и сказок с тем же тайным неосознанным эгоистическим чувством своей жадной радости позднего открытия — и Буратино, и смешные английские песенки, и Винни Пуха. Первый сам радуешься. И уже только вздохнешь, как младшая трех лет предпочитает вместо книжки «тыкать пальчик» в купленный родителями планшет, где свои картинки и мультики.

Ах, жизнь, жизнь...

Вадим Муратханов, прозаик, поэт, г. Москва

Моя утраченная книга

Книги домашней библиотеки делились на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные, взрослые, теснились пестрыми рядами в шкафу. Среди них попадались совсем зачитанные, со стертой позолотой обложек, с полуторванными, держащимися на ветхих волокнах корешками. «Лунный камень», «Ярче тысячи солнц», двухтомное «Хождение по мукам»... В расшатанных переплетах, желтеющие и расклеивающиеся по мере чтения несколькими поколениями домочадцев, эти книги были питомцами хозяев. Старели и тускнели, подобно людям. Перехватывая инициативу у букваря, учили меня читать.

Горизонтальные — тонкие, гибкие, разноцветные внутри — лежали стопками на тумбочке, этажерке, старом проигрывателе...

В то время у государства было русское лицо: оно смотрело на нас из букварей и учебников, с черно-белых экранов и портретов на демонстрациях. Но я и мои сверстники росли в другом мире. Иной была природа вокруг, иного цвета — небо над нами. И разрез глаз у окружавших нас людей тоже был иным. Мы ревниво искали в книгах и фильмах любое свидетельство о нашем крае — любой знак нашего присутствия и замеченности в пространстве большой страны. Наверное, поэтому моей любимой горизонтальной книжкой стал «Колобок». Не русский, с радикулитным дедушкой на завалинке и бабушкой в платке у печной заслонки, а киргизский, в переложении Тоголока Молдо. Желтый, румяный колобок с лицом молодого сельского киргиза катился по желтой степи, преследуемый желтым, с подпалинами, зверьем («Полетел быстрее *буудуна*, / стал *дулдулом* колобок»).

Герои разговаривали между собой, не замечая меня, а я, не замечая рифмы, ощущал их присутствие в комнате:

«Ненасытное ты брюхо! —
Говорит ему старуха. —
Был у нас матёрый вол,
Так ведь ты ж его подмёл.
Целый день вокруг еды.
Лишь покрикивать умеешь:
"Дай поесть" да "Дай попить",
А вот денег не имеешь,
Чтобы мяса прикупить.
Я вчера ещё сказала:
Бедняки мы, бедняки.
Нет у нас не только сала —
Даже горсточка муки».

Все-таки старуха встала,
Потрудилась, искала —
И нашла на дне мешка
Маленький кусочек сала.
Вытрясла другой мешок —
Наскребла муки чуток.
Вот и счастье привалило:
Будет деду колобок.
Будет корочкой покрыт он,
Будет в нем горячий сок,
Будет жиром он пропитан,
Наш румяный колобок.

На этом месте я неизменно начинал глотать слюну и шел на кухню к бабушке: «Бабушка, испеки колобка!» — «Испеку, испеку», — обещала бабушка. «Только чтобы

было как в книжке, — ставил я условие, — корочкой покрыт, жиром пропитан и сок горячий внутри». — «Будет как в книжке», — успокаивала бабушка и продолжала готовить борщ.

«Ну-ка, старая, давай,
Колобок наш доставай!»
«Если я его достану,
Если обдуть я стану
Наш горячий колобок,
С головы до самых ног
Я в золе и пепле стану».
Отвечает ей старик:
«Ты, старуха, любишь крик.
Что ни слово, то перечишь:
Я к такому не привык».

Однажды утром, услышав на кухне булькающее шипение яичницы, я обнаружил дедушку у плиты. Это было то же самое, как если бы я застал бабушку в саду за обрезкой виноградника.

«Бабушка умерла», — буднично пояснил дедушка в ответ на мой недоумевающий взгляд.

Привычный мир покачулся. Но больше всего в эту минуту меня поразила мысль о том, что никогда уже бабушка не приготовит мне обещанного румяного колобка. Только тут, заметив мое оцепенение, дедушка догадался уточнить, что умерла соседка — 90-летняя старушка Шпортко, которую вся улица называла бабушкой. Наша бабушка пошла к соседям — помочь подготовиться к поминкам.

«...Мясо жирного вола
И мука со дна мешка.
Бабушка меня спекла
Для седого старика.
Убежал я из огня —
Догони-ка, съешь меня».

Бабушка успела приготовить для меня колобок задолго до своей смерти. Это был пышный дрожжевой хлебец из духовки — без сала, жира и хрустящей корочки. Но когда, зажмуриваясь, я отправлял в рот хлебную мягкость, то чувствовал на языке и мясо вола, и сало, до черноты натертое о стенку котла в саманной ошхоне, и хрустящую плоть киргизского колобка.

Настал день, когда вертикальные книги погрузились в контейнер и отправились вслед за хозяевами в другую страну. Горизонтальные же легли на земляной пол темного сарая, где из бездонного подпола тянуло сырым картофельным духом. Рядом с баллоном опрыскивателя, старым проигрывателем, заставлявшим черные шипящие планеты 78 раз за минуту оборачиваться вокруг своей оси, и тяжелым велосипедом «Пенза», чье доисторическое кожаное сиденье на рессорах поражало воображение моих одноклассников.

На обложке моей любимой книги значилось: «Перевод Марка Ватагина». Сколько ни вбивал я потом, спустя годы, фамилию переводчика и строки из перевода в окна поисковиков, они, небрежно перелистав за долю секунды бесчисленные массивы электронных библиотек, выдавали одно и то же: «По вашему запросу ничего не найдено».

Сейчас, цитируя по памяти утерянного навсегда «Колобка», возможно, столь же далекого в ватагинской версии от текста киргизского просветителя, как пересказ Молдо — от русской сказки-первоисточника, я чувствую себя акыном. Человеком, поющим эпос, который не поддается записи и расшифровке.

Желтая надорванная обложка. Пятна света на закопченной плите. Густой и неотступный вкус катящегося по степи колобка.

Дмитрий Новиков, прозаик, г. Петрозаводск

«Я помню ее почитатно. Я люблю ее»

Без всякого сомнения это «Три повести о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше» Астрид Линдгрен в переводе Лилианны Лунгиной. Перечитывал ее раз пятьдесят и до сих пор не прочь вернуться. Сейчас схожу посмотрю фамилию иллюстратора. Ага, Илон Викланд. Почитал биографию. Все понятно...

Так вот, «Три повести...» — это любимая книга моего детства. Я помню ее почитатно. Я люблю ее. Так же как и «Три товарища» Ремарка.

Две эти книги сформировали мою жизнь. Любовь к нездоровому образу жизни, к плюшкам и черному рому. Отношение к любви между мужчиной и женщиной. Отношение к дружбе, которому обязан частыми современными проигрышами.

Как же мне было приятно, когда старшая дочка ответила на мой вопрос, не задумываясь: «Три товарища». Совсем недавно прочитала книгу. Она же, с десятков лет назад, сказала мне, после освоения «Робинзона Крузо» и «Острова сокровищ»: «Папа, а у Стивенсона стиль лучше».

От младшей же с тревогой ожидал положительной оценки Гарри Поттера. Наблюдал ее несколько месяцев с толстыми, недетскими томами в руках. А она внезапно сказала: «Айвенго». Вальтер Скотт. Школьная программа. Карелия. Петрозаводск...

Сергей Носов, прозаик, г. Санкт-Петербург

«Скорее знаю, чем помню»

Если бы не родители со своими трогательными воспоминаниями о моем детстве, мне бы, наверное, не довелось в моей взрослой жизни вспомнить об этой книге. Да и тот образ ее, что теплится в моем сознании, мало похож на определенное воспоминание: я скорее знаю об этой книге, чем помню о ней. Все дело в том, что она ушла из дома (так получилось), когда мне было пять лет. Задержись она у нас подольше, и я бы ее помнил почетче, как, например, помню куда более малышовые книжки-раскладушки — твердый картон и картинки: ну скажем, волк-неудачник с опущенным в прорубь хвостом, или другая — залез поросенок на дерево, или еще — лиса и журавль... С этими раскладушками было хорошо играть: поставил на ребро, развернул — вот и стена, лентой с дивана спустил — горка тебе для машинок. Какие-то отдали потом, какие-то лежали в кладовке — они попадались мне на глаза уже в сознательном возрасте — оттого и запомнились. А та из дома раньше ушла. Хотя и не была раскладушкой.

Между тем книга эта для меня значила многое. Она мне была дороже любой игрушки. По статусу важности в моем детском мире она, полагаю, занимала место сразу за котом Васькой, моим ровесником. Согласно поздним свидетельствам старших я мог подолгу с ней не расставаться, обхватив руками и прижимая к себе (я-то маленький, а книга большая), так и бродил с ней по квартире. Располагался на полу и листал, разглядывая картинки.

На четвертом году жизни (сам не помню, но говорят) я играл в «Винни Пуха».

Ну да, это о нем.

Отец купил ее в командировке, в Москве, мне тогда было три года.

«Винни Пух и все остальные».

Уточню. Я сейчас не о «Винни Пухе» вообще — как о литературном произведении, а о книге в прямом, конкретном значении слова — как осязаемой вещи, как личном твоём достоянии.

Никогда не ностальгировал по этому поводу. Но интернет под рукой — почему бы не удовлетворить любопытство?

Пожалуйста. Издательство «Детский мир», 1960. Все верно: мне три годика полных. Пересказал, само собой, Заходер. А в чем я до сих пор не был уверен, но так и есть — это первое издание книги Милна в заходеровском изложении, и вообще — первое, надо понимать, на русском.

То есть я, получается, один из первых в нашей стране, очутившихся там, в Чудесном Лесу. А если учесть мой возраст тогдашний — так я в категории «самых первых», выходит!

В пять лет я умел читать довольно бегло, но в три-четыре мне, конечно, читали — обычно родители, старших братьев и сестер я не имел. Но что касается «Винни Пуха», он был мне куплен все же на вырост, ему бы чуть-чуть полежать, однако бабушка, когда родители уходили на работу, брала на себя инициативу читать мне эту книгу вслух — ей было самой интересно, что происходит в Чудесном Лесу. Чтецкие способности бабушки мне запомнились по более поздним впечатлениям, но читала она всю жизнь одинаково — как умела, то есть не иначе как по слогам. А ведь это исключительно важно — как ребенку преподносится текст. Тут не было снисхождения до уровня моего младенческого понимания, бабушка, надев круглые очки в костяной оправе (хорошо представляю), честно вместе со мной постигала смысл читаемого, — причем преодолевая определенные трудности. Именно так: мы вместе с ней *постигали* содержание книги.

Опять же по поздним своим впечатлениям я запомнил ее манеру все комментировать — с ней, например, невозможно было смотреть телевизор (у нас был телевизор «Луч»): что бы ни показывали на экране, она всегда видела только свое. Сейчас я уверен: читая мне «Винни Пуха», она не могла не растолковывать как-то по-своему текст, разъяснять и мне и себе, что же там происходит. Иногда я с удивлением узнаю, что мне известны детали этой истории, каких попросту нет в книге. Сей зазор смысловой не от тех ли чтений?

Сколько помню себя, я целиком книгу не перечитывал больше. Были потом и мультфильм, и телеспектакль, были попытки читать собственным детям фрагменты по другому изданию, когда «все остальные» заменилось на «все-все-все», но оказалось, что дети сами способны — причем на английском. По правде сказать, я и сейчас не уверен, была ли мне самому прочитана книга вся целиком. Отдельные главы — читались мне тогда многократно, согласно заявкам, а против каких-то я был предубежден и слушать сам не хотел. Наверное, из-за рисунков.

Да, рисунки... Их обсуждали мы с бабушкой больше всего. Не обсуждать никак не могли.

Сейчас я их нашел в интернете, и сразу стало мне вспоминаться.

Все правильно: именно те. Черно-белые плюс цветные вклейки. Мне словно рассказали мой сон — старый, забытый.

Только сейчас узнал, кто автор иллюстраций — Алиса Порет.

А ведь это сюрприз.

Тут самое место сказать многозначительно: «Гм».

Алиса Порет — это имя не пустой звук для меня.

Удивительно. Ребенком я рассматривал рисунки, оказывается, Алисы Порет, вживаясь в мир ее образов, а спустя годы, когда имя Алисы Порет стало для меня что-

то значить, просто не знал, в чей мир образов ребенком вживался. Вот и думаю сейчас: не оттуда ли, не от Алисы ли Порет, поздний мой интерес к Хармсу и школе Филонова? Знаменитое издание «Калевалы», проиллюстрированное филоновцами, и в частности Алисой Порет («Academia», 1933), я сумел приобрести в конце перестройки, а в середине 90-х в одной ведомственной библиотеке спас от утилизации практически списанную (по какому-то дикому циркуляру) просветительскую брошюру (1932), украшенную рисунками художницы в духе аналитической школы. Наслаждаясь этими изображениями с подписями вроде «Консервная банка борется за новый быт» или «Вот какой удивительный путь проделали рыбы внутренности, головы и кости», я совершенно не думал о медвежонке, который всегда хотел меда и полновластно владел моим воображением, когда я еще и читать не умел. В «Винни Пухе», впрочем, Алиса Ивановна от филоновского метода уже отошла.

Рассматриваю в интернете ее картинки и вспоминаю смутное ощущение таинственности и тревоги, сопутствующее моему вхождению в Чудесный Лес. Не уверен, что истории о Винни Пухе и всех остальных мне казались веселыми. Вот и на картинках редко встретишь намек на улыбку. Ладно бы ослик Иа, но и все остальные не улыбаются, включая Пуха. Что на лице Винни Пуха? (У него же лицо?) То мысль, то испуг, то тревога. А еще героям часто угрожает опасность. Пух, преследуемый пчелами, вниз головой падает с дерева. Поросяенок висит на веревке. Ослик тонет. А Кристофер Робин живет в дереве, у которого на рисунке нос и глаза.

Узнал Слонопотама! Да он именно тот, из моего раннего детства. Страшноват. Он в условном облаке, обозначающем сон Винни Пуха. Такой же мог бы присниться и мне. А может быть, он и снился, да только не помню. Но еще страшней сам Винни Пух, когда у него вместо головы — горшок вроде скафандра.

Вспомнил, что историю про Слонопотама я слушал множество раз, и просил еще и еще. Да уж не травма ли детская моя этот Слонопотам? Должен признаться, взрослым я стал замечать, что обычное слово «гиппопотам» произношу ну не то что бы запинаясь, а с каким-то легким сомнением, словно не до конца в нем уверен. Уж не тот ли Слонопотам, похожий на слона с гиппопотамовой пастью, поселился в моем подсознании, как детский страх, чтобы напоминать о себе каждый раз, когда мысль обращается к обычному гиппопотаму?

Углубляясь в свое подсознание, хочу признаться, доктор, что мне всегда несколько мешал Кристофер Робин. Я готов был себя отождествлять с кем угодно, но только не с ним. Вполне себе человек в этом царстве игрушечных животных, он мне казался совсем не отсюда. Я предпочитал истории без него. Это же мой был все-таки мир, и я ревновал его к этому миру.

Говорят, они вместе с Пухом ходили на Северный полюс?

Как-то так. А действительно. А лежал бы я, действительно, на кушетке и спросил бы меня аналитик, подобно тому, как спрашивают иногда на встрече с читателями: «Какая из книг повлияла на вас больше всего?» — вот и стал бы я, как сейчас...

Что касается читателей, раньше я им говорил: «Не существует такой единственной книги», — и называл несколько из общего ряда — условно говоря, «Идиота», или «Дублинцев», или «Пену дней», и сам понимал, что вру. А потом докумекал, что ближе к истине будут детские книги. Ведь все влияния в детстве. Детских много. А эту забыл, потому что была она на заре моей жизни и забылась вместе с зарей.

А что до кушетки, я бы, вспомнив, крикнул с кушетки (мог бы упасть): «Ну конечно же, "Винни Пух и все остальные"!..»

Владислав Отрошенко, прозаик, г.Москва

«Однажды пили с ним вечером вино на террасе, я говорю, хочешь "Чиполлино" почитаю?..»

1. Мне было лет восемь — болел ангиной, лежал с высокой температурой. И вдруг отец подсел к кровати, открыл книгу в синем коленкоровом переплете с рельефным профилем остроносого лица и начал: «Как только ударил в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот Братского монастыря...» Не знаю, как и почему ему пришло в голову почитать мне (в качестве средства от жара, что ли?) повесть «Вий», но помню, что я *нечувствительно*, как сказал бы сам Николай Васильевич, переместился сначала в мир вийевских образов, потом сновидческих... Потом «Вий» стал наваждением. Перечитывал его без конца. Фильм (он как раз только появился, когда мне было восемь) смотрел по пять сеансов за день, где бы он ни шел, — так, что билетерши в новочеркасских кинотеатрах «Ударник», «Победа» и «Комсомолец» тревожно спрашивали: мальчик, где твои родители, а? Фильм этот — непревзойденный (и непревзойдимый) шедевр. Тот, в котором играют Леонид Куравлев и Наталья Варлей. «Вий» же — самая недооцененная повесть мировой литературы. Я об этом говорил не раз. Это не фольклорный ужастик. Это повесть о том, что человек в божьем мире и даже в самой «божьей церкви» (с)может остаться один на один с силами ада и никто (и ничто) его не спасет — ни молитвы, ни иконы, ни добрые христиане, в данном случае православные хуторяне, которые верно служат не Богу, а сотнику. Конечно, в детстве я об этих особенностях «Вия» вовсе не думал и думать не мог — просто находился под сильнейшим гипнозом гоголевской повести.

2. Старший сын Максим до того любил книжку «Чиполлино» (будь она неладна), что я и теперь, спустя десятилетия, могу после сна любой глубины пересказать ее наизусть. Книжка, между прочим, хранится на даче. Та самая, которую я ему читал вслух стопитцот раз — уголки страниц до дыр истерты. Однажды пили с ним вечером вино на террасе, я говорю, хочешь «Чиполлино» почитаю? В шутку сказал. А он допил бокал, закрыл бутылку пробкой и говорит так серьезно с радостным удивлением — давай. Младший сын Матвей любил «Сказки дядюшки Римуса» Харриса, которые и мне в детстве нравились. У внука Вовчика широкий и изменчивый круг любви, уследить невозможно — то Винни-Пух у него в чести; то про Алёшу Пововича ему подавай, то про Юрия Гагарина; то сам он что-нибудь сочиняет. Внук Сашка любит сказки — но такие, чтобы ты их сам сию минуту выдумывал на ходу. Внучке Насе нравятся книжки про принцесс. Внук Даниил еще совсем маленький: можно ему просто что-нибудь говорить — бу-бу-бу, делая вид, что читаешь, всему радуется.

Павел Санаев, прозаик, кинорежиссер, г.Москва

«Это не просто книги, а перфокарты»

Можно ли вообще сказать, что какие-то книги повлияли на меня в детстве? Как они могли повлиять? Сделать меня лучше? Развить фантазию? Чему-то научить в жизни? Читать я научился рано — в пять лет. У меня было несколько любимых детских книг, из которых больше всего запомнились трилогия про Незнайку и фантастическая повесть Анатолия Мошковского «Пятеро в Звездолёте». С этими книгами я впервые

открыл для себя возможность в любой момент погружаться в мир увлекательных приключений и никогда не скучать. О какой скуке может идти речь, когда ты отправляешься на Луну вместе с Незнайкой? Пару раз в это же время я пытался читать короткие рассказы Чехова, чтобы выглядеть в глазах взрослых «умным мальчиком», но было скучно. Запомнился рассказ про гайку, которую открутил на грузило деревенский мужичок, но, конечно, Незнайка был в разы увлекательнее. А потом, на семилетие, мне подарили Детскую энциклопедию, и эти толстые желтые тома стали моей самой любимой книгой на все детство. Очень интересно было узнавать, как устроен окружающий мир, и два тома из десяти я за несколько лет основательно истрепал — второй «Астрономия и Геология» и пятый «Наука и Техника». Удивительно, что к томам «История» и «Литература и Искусство» я тогда даже не притрагивался, и окружающие всерьез подозревали во мне будущего технаря. Я не только не спорил, но сам утверждал, что стану инженером-ракетчиком — буду строить звездолеты, чтобы какие-нибудь «пятеро» полетели к планетам, о которых я читал во втором томе. С книжным багажом из «Незнайки» и двух томов Детской энциклопедии я вошел в подростковый период, и на тринадцатилетие мне подарили Библиотеку Приключений для детей и юношества — два десятка разноцветных томов с великими приключенческими романами: «Копи царя Соломона», «Лунный камень». «Робинзон Крузо», «Последний из могикиан», «Всадник без головы»... Я читал эти крышесносные книги запоем, каждую по два-три раза в течение года. Как это повлияло? С тех пор я пишу без грамматических ошибок, читаю со скоростью три-четыре страницы в минуту, люблю американское кино и стремлюсь снимать приключенческие боевики.

После остросюжетных романов школьная программа по литературе показалась невообразимо скучной. Проблемы Ионыча и Базарова были такими далекими и неинтересными, что почти всю классику я пролистывал по диагонали. Хотя Башмачкина было жалко. Мне бы очень хотелось сказать вам, что я вдумчиво впитывал великую русскую литературу и она делала меня мудрее и чутче, но, увы — ничего подобного не происходило.

В семнадцать лет я открыл для себя «Мастера и Маргариту», и это до сих пор моя любимая книга. Не могу сказать, что она повлияла на меня или что-то открыла в жизни. Больше того, я считаю идеологический посыл этой книги вредным. Дьявол дает покой? Помилуйте, это мастер вечных мук по определению — какой покой можно от него ожидать? Но как же эта книга круто написана! Я не знаю прозы более лихой, талантливой и изобретательной. С точки зрения текста для меня есть «Мастер и Маргарита» и все остальные книги. Это случилось в семнадцать лет, и так остается до сих пор.

После знакомства с «Мастером и Маргаритой» чтение вытеснил хэви метал, и в институте меня заставляли читать под угрозой перевода с очного на заочный за несданные экзамены. В то же время начались юношеские проблемы с вопросами «кто я?», «как жить?», «как любить?» и «что вообще делать», и вдруг выяснилось, что в классических книгах, от которых я до тех пор воротил невежественное рыло, есть ответы почти на все жизненные вопросы. «Обыкновенная история», «Обломов», «Братья Карамазовы», «Отец Горио», «Гобсек», «Госпожа Бовари», «Жан-Кристоф»... Избранные произведения классической литературы — это не просто книги, а перфокарты, которые в двадцать лет необходимо загрузить в голову, чтобы понимать человеческие отношения на базовом уровне. Больше всего я благодарен ВГИКу за то, что эти перфокарты в меня загрузили почти насильно.

Я не случайно сказал, что в классике есть ответы *почти* на все жизненные вопросы. Некоторые вопросы оставались без ответа, и книгу, которой, на мой взгляд, недоставало для понимания жизни, я решил написать сам. Это роман «Хроники раздолбая», первая часть которого уже вышла, а вторая только пишется.

Юрий Серебрянский, прозаик, г.Прага

«Дух пожизненного путешествия из меня уже не выбить»

1. Книгой детства безоговорочно назову замечательную повесть «Там, вдали за рекой» Юрия Коринца. Есть ощущение, что до сих пор она оказывает немалое влияние на ход моей жизни. Лучше ничего в детстве не читал, хотя читал почти все и запоем. Так вышло, что и Кассиль, и Луи Буссенар, и Сабатини подчеркнули тот дух пожизненного путешествия, который из меня уже ничем не выбить и который так здорово передал Юрий Коринец. Первое время я был главным героем, тем мальчиком, чей дядя всегда в отъезде, в поисках то бивня мамонта, то врагов. Но, видимо, с самого начала я все же мечтал стать дядей. И вот я — дядя! До бивня, правда, еще далеко.

2. За детей говорить пока не буду, но уже готовый ребёнок читает «Незнайку» (первые три канонические части), временно пользуясь им вместо других священных писаний.

Александр Снегирёв, прозаик, г.Москва

Бесконечная переписка с Толстым

Я хочу рассказать не просто о главной книге моего детства — о том, как я научился читать и писать. Было мне четыре года, стояла зима, и мама раздобыла для меня теплые шерстяные штанишки. Они были ношенные и достались мне от другого, выросшего мальчика. Все бы ничего, но штаны имели красный цвет. Я, разумеется, категорически отказался их надевать. Я был твердо уверен, что мужчина не может носить красные штаны. Лишних денег у родителей не было, и они стали биться над тем, чтобы сломить мое сопротивление.

На следующий день после очередной неудачной попытки натянуть на меня красный предмет туалета папа достал с полки книгу и показал мне картинку. Точнее, иллюстрацию, потому что, как позже выяснилось, книга была взрослой. На странице был изображен солдат в синем кителе и красных шароварах. Теперь я знаю, что это был зуав — марокканский стрелок. В девятнадцатом веке зуавы входили в состав французской армии.

Я мигом натянул только что ненавистные штаны и так их полюбил, что весной перед родителями встала новая задача — как надеть на меня что-нибудь более подходящее сезону.

На этом история, однако, только начинается. Папа решил развить успех и разыграть карту красных штанов еще раз. Спустя пару дней он спросил меня — нет ли чего необычного в моем ящике с игрушками. Был у меня такой самодельный деревянный ящик для инструментов, которыми в те времена пользовались слесари. В этом ящике у меня хранился паровозик без одного колеса, крокодил без лапы, машинка с отломанной дверцей и еще какой-то хлам. Я порылся в своих сокровищах и с удивлением обнаружил сложенный треугольником лист бумаги, на котором было что-то написано.

Не понимая ни слова, я понимал самое главное — передо мной настоящее письмо. И я попросил папу помочь мне разобраться. Папа тоже удивился письму, развернул его, прочел и сообщил, что мне пишет не кто иной, как автор той самой

книги с солдатом в красных штанах. А книга посвящена обороне города Севастополя и называется «Севастопольские рассказы».

И вот я начал учить алфавит, чтобы сначала прочитать самому то первое письмо и удостовериться, что папа все пересказал точно, а затем — чтобы написать моему новому другу, поручику артиллерии, графу Льву Толстому.

Папа научил меня разбирать чужие и выводить собственные буквы, научил складывать бумагу треугольником, как это делали в Великую Отечественную, и у нас с Толстым завязалась переписка. В моих многочисленных переездах те письма не сохранились, но я помню, что Толстой делился со мной тяготами и радостями жизни в осажденном городе, а я давал ему советы, как лучше устроить оборону, как отбивать атаки турок, англичан, французов и тех самых марокканских зуавов, красные штаны которых мне так полюбились.

С тех пор прошло тридцать лет, но меня не покидает странное чувство. Порой мне кажется, что где-то существует город Севастополь, где поручик артиллерии Толстой отбивает атаки англичан, французов, турок и марроканских зуавов, а в минуты затишья пишет мне коротенькие письма папиным почерком, складывает треугольником на манер солдат ВОВ и незаметно подсовывает в слесарский ящик с игрушками. И я точно знаю, что так будет всегда. Зуавы в красных шароварах всегда будут лезть на бастионы, залпы орудий Толстого всегда будут сметать их, а на следующий день они встанут из могил, чтобы пойти на новый штурм и снова умереть. И я точно знаю, что этой бой будет бесконечным, Севастополь никогда не будет взят, а моя переписка с графом-артиллеристом никогда не прервется.

Алексей Торк, прозаик, г. Душанбе

«У моих детей все в порядке с наследственностью — также любят "Ходжу Насреддина"»

1. Книг таких две. Конечно же, «Ходжа Насреддин» Соловьёва. А до него — «Как погасло солнце» Владлена Бахнова. Книга ужасно смешная, но тревожная. И с двенадцатилетнего возраста, когда и сам стал тревожным, я уже с трудом перечитывал ее. Финал, в котором слепнет выписанный с блестящим юмором злодей и диктатор Дино Динами, до сих пор перед глазами. Эта книга впервые сообщила мне, что смех, слезы, смешное и страшное — гармонически связанные понятия.

Диалогия «Ходжа Насреддин» — потрясающе добрая. В детстве это считывается особенно пронзительно. То же самое с возрастом я обнаружил в «Преступлении и наказании». Как и Достоевский, Соловьёв всех своих злодеев прямо или неуволимо пожалел и попытался понять. Единственный образцово неприятный персонаж у Соловьёва — утопленный ростовщик Джафар. Интересно, что в «Преступлении и наказании» единственный такой человек — коллега Джафара по ремеслу, старуха-процентщица. А это ведь ее топором зарубили.

2. У моих детей все в порядке с наследственностью — также любят «Ходжу Насреддина» Соловьёва. Я рад и горд, что они выбирают книги, где выражено говорится о больших поступках, о справедливости. Лет в десять моя дочь серьезно испугала нас, заливаясь слезами весь вечер. Оказалось — после долгих выяснений — что прочла «Овод». Не принимают мои дети книг безразличных, внутренне холодных. Поэтому, скажем, не любят космические саги, подавляющую часть фэнтези. Случаются и некоторые загадки. Сын, Петя, с пяти до восьми лет не расставался с книгой «Армянская кулинария». И отказывался пояснять свой выбор, как мы ни вытягивали ответ. Было очень интересно: почему — кулинария? Может, дело в том, что — армянская? Так и не узнали...

Александр Хургин, прозаик, Германия

«Рассказывали они о другой жизни. Совершенно точно мне не доступной»

1. Если говорить о раннем детстве, то моих, вот именно моих, книг в доме было немного. Книг и вообще было не то чтобы очень: этажерка, правда, не маленькая, в углу и книжная полка на стенке. Еще был шкаф, не книжный, а обычный, и в нем там, где у людей лежат рубашки, полотенца и прочие необходимые вещи, стояли большие тяжелые тома медицинской литературы родителей. Но свои первые настоящие (а не сказки и стишки) книги я помню очень хорошо. Да, собственно, они и сегодня со мной, стоят в книжном шкафу сына не востребовавшие. Это четыре тома «Библиотеки приключений», выпускавшейся «Детгизом» в пятидесятых годах: «Остров сокровищ» и «Чёрная стрела» (в одной книжке), «Робинзон Крузо», «Дети капитана Гранта» и «Квентин Дорвард». Получил я их в подарок от московской тетки, работавшей в банке и имевшей какой-то доступ к подписным изданиям. Лет, думаю, в восемь или в девять. От «Робинзона Крузо» обалдел сразу же и прочел его подряд раза три. То же самое было с «Островом сокровищ». «Дети капитана Гранта» и «Квентин Дорвард» пошли труднее, но когда пошли, читал их бесконечно. А потом в доме появились «Три мушкетёра» — и я погиб. До сих пор не понимаю, как они сделаны, хотя до сих пор нет-нет да и открою наугад, и прочту страниц двадцать.

Почему меня, глубоко советского ребенка, так впечатлили эти книги, а не какой-нибудь «Чук и Гек» с «Тимуром и его командой»? Думаю, потому, что рассказывали они о другой жизни. Совсем другой. Совершенно точно мне не доступной. И не потому, что время не то, а потому что не то — все. И все. И мне не светило стать ни Джимом Хокинсом, ни капитаном Грантом, ни Билли Бонсом, ни Д'Артаньяном. И никаких путешествий, никаких островов с подвесками мне не светило. Не знаю почему, но жизнь на жилколонии завода горно-шахтного оборудования ясно давала это понять с детства.

2. А здесь ответа у меня нет. Несмотря на то что моему сыну читали каждый день перед сном с восьми месяцев, книг он почти не читает. Я не могу сказать, что он не читает вообще. В сети что-то читает постоянно. На двух языках — точно. Но что? О чем? С какой целью? Мне это неизвестно. В двенадцать лет они не очень-то делятся с родителями своими пристрастиями. Все равно ведь не поймут, динозавры.

Глеб Шульняков, прозаик, г.Москва

«А потом наступил кошмар моей жизни...»

1. У меня есть не столько книга детства, сколько книги, которые я по тем или иным, не всегда книжным, причинам запомнил. В первую очередь книжка «Денискины рассказы»: я настолько любил ее, что одного мальчика на пятидневке, которого звали Денис, на полном серьезе считал героем этой книги и тихо восхищался им, он и по характеру напоминал Дениску. А вот «Семь подземных королей», например, я запомнил по другой причине: я читал ее во время процедур в глазной больнице Гельмгольца, куда меня возила мама, я с детства близорук. Книга казалась мне скучной, но деваться было некуда, и я читал, а на носу у меня медсестры меняли очки, в этом заключалась процедура. «Карлсона» я читал сто пятьдесят тысяч раз, причем

третья часть была любимой, особенно манипуляции с челюстью дядюшки Юлиуса. Был еще Незнайка, из всех книг я больше всего любил «Незнайку на Луне», она, конечно, переключалась с системой социалистического воспитания, но капиталистов было почему-то жалко, особенно начинающего предпринимателя Пончика. Потом были рассказы Виктора Голявкина, замечательного взрослого прозаика, как впоследствии оказалось. «Веселая семейка» Носова. А потом пошли бесконечные романы из «Библиотеки приключений», и я надолго пропал в прериях, саваннах, копиях царя Соломона и кругосветках Жюль Верна. Была такая серия книг, считалась дефицитной, и надо было стоять в очереди в библиотеке, чтобы получить книгу из этой серии на руки. Где-то параллельно шли энциклопедии: желтая детская и взрослая «Жизнь животных» Брема, старое издание сороковых годов с картинками, переложенными папиросной бумагой, которая была в домашней библиотеке. Бианки, Даррелл — это когда я завел «домашних питомцев». А потом наступил кошмар моей жизни, мама села со мной учить наизусть первую главу «Евгения Онегина», и я ее выучил.

2. На этот вопрос я попросил ответить моего сына Петю, ему 8 лет, и вот что он написал:

«Мои любимые книги — это «Все о малыше Николя», автор Гасини Сампе, и «Денискины рассказы» Виктора Д. Книга про Николя очень смешная, этот мальчик учится во Франции, он маленький хулиган — как я и как мой папа в детстве. Эту книгу я выбрал, потому что можно узнать много нового: например, что есть река Сена. А теперь перейдем к Денису. В книге про Дениса много глав и это +. Я люблю главу "Девочка на шаре", она чуть-чуть скучная, но там есть веселые моменты, когда папа Дениса предлагает выпить газировки или смутузить две порции мороженого. Ну что, на сегодня хватит. Петя Шулпяков»

Александр Эбаноидзе, прозаик, г.Москва

«С годами, побывав в названных странах, я узнавал там всё...»

1. Детство — лучшая пора для чтения. Такая свежесть восприятия и степень сопереживания недоступны в зрелом возрасте. До сих пор помню ощущение слепящего аравийского зноя и раскаленного песка в складках чалмы и на зубах при чтении «Тысячи и одной ночи». Мокрая от дождя брусчатка под ногами и сыроватый воздух Балтии, пахнущий флоксами и геранью, — это сказки Братьев Гримм. От русских сказок веяло ландышевой свежестью и тающим вдали колокольным перезвоном, а грузинские сказки пахли дубовой давяльней, пропитанной виноградным соком и заваленной снопами кукурузной соломы.

Но особенно ярко запечатлелся киргизский «Манас». Его чувственный мир — войлочную духоту юрты, кисло-сладкий дух жеребят и кумыса, ветер среднегорья, колышущий маки на лугах Алла-Тоо, — все это укрупняла *грандиозность* героев эпоса и происходящих в нем событий. «Манас» — книга моего детства. Ни один другой эпос не произвел на меня такого впечатления.

С годами, побывав в названных странах, я узнавал там всё — звуки, запахи, вкус еды, ритм и уклад жизни. Такое волшебство доступно только безымянному народному слову и лучшим из писателей (здесь уместно сослаться на запись Хемингуэя о «Казаках» Толстого).

2. Любимой книгой моего сына Игоря, если не в детстве, то в отрочестве, был «Моби Дик» Мелвилла.

По моим представлениям, мои внуки менее начитанны и литературны, но их список любимых книг порадовал меня: у старшего, Ильи — «Айвенго» Вальтера Скотта, «Похищенный» Стивенсона и «Жизнь Дэвида Копперфильда» Диккенса, у среднего, Феди — «Холодный дом» Диккенса, у младшего, Ванечки, — «Мифы Древней Греции».

Санджар Янышев, поэт, переводчик, г.Москва

«Книга — это все же судьба. Как пришла, куда ушла?..»

1. Книги были, наверно, типические для того времени и интеллигентской среды (выбор осуществляла мама и — изредка — ее подруги), хотя нарочито создаваемый властями дефицит тоже сказывался. Из западных образцов на советский рынок попадали только идеологически правоверные (коммунист Джанни Родари) или, на худой конец, «нейтральные» (Астрид Линдгрэн) авторы. Помню изумительное издание «Пеппи» — подарок самаркандской тети Риммы — с иллюстрациями Льва Токмакова.

Но это уже 1982 год. Примерно тогда же, в начале 80-х, к нам стали прилетать выписанные по большому благу (муж родной тетки, дядя Гриша, был партийный работник) разноцветные тома «Библиотеки мировой литературы для детей», каждая посылка — событие месяца. Пятьдесят событий. Самое крупное, зачитанное до прозрачности папиросной бумаги событие — «Три мушкетера».

Дворецкий Габриэль Беттередж из «Лунного камня» истрепал на своем веку шесть новеньких «Робинзонов Крузо» — я истрепал трех «Трех мушкетеров», наиболее ароматным из которых (о этот офсетно-мелованный дурман!) был неприметный темно-серый том из «Библиотеки приключений» (опять спасибо дяде Грише!). «Лунный камень», кстати, я впервые читал как раз в «Библиотеке приключений», как и романы «Копи царя Соломона» Хаггарда. Да что говорить, все двадцать томов «БП» были с благодарностью прочитаны, а некоторые, такие как «Остров сокровищ» и «Записки о Шерлоке Холмсе», — перепереперечитаны.

То — 80-е. А в 70-х — «Веселая семейка» Николая Носова (подарок двоюродной сестры Наргис) и Виктор Драгунский — ташкентское издательство «Укитувчи» с русско-узбекским словником после каждого рассказа, видимо, для изучающих русский язык в узбекских школах. Книга звалась «Поют колёса тра-та-та» и включала лучшие из «Денискиных рассказов».

Самая ТАИНСТВЕННАЯ, полная страшных приключений и какого-то радиоактивного волшебства книга *о долгом возвращении домой* — «Хоббит, или Туда и обратно» в переводе Н. Рахмановой и с рисунками М. Беломлинского, наделившего героя внешностью любимейшего актера Евгения Леонова. Книгу помню ушами: мама перед сном читала по главе, пока не дочитала, и это была одна из первых острых потерь. Жуткое до озноба (и потому особо памятное) место книги — загадки Голлума, величавшего себя «мояпрелес-с-сть». Недавно обнаружил в лавке букиниста на Маросейке то самое издание повести, конечно, купил, и вот уже полгода жду: кто мне ее почитает.

...А самая обожаемая из прочитанных самостоятельно: три сказочные повести, попавшие в один переплет по географическому принципу. Но и — по кайфу. Ян Эххольм: «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.».

ЭгнерТурбьерн: «Люди и разбойники из Кардамона», Туве Янссон: «Шляпа волшебника».

Чуть позже — или тогда же? — Сельма Лагерлёф: «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»; пропитанный полынью и хвоей голубой фолиант в белой суперобложке, чудо полиграфии! В общем, любовь к скандинавским странам у советского книгоиздания была долгой и счастливой.

...Нет, книга — это все же *судьба*. Как пришла, куда ушла? Почему являлась именно тебе (у соседского мальчика Илюши из такой же точно интеллигентной семьи — набор все-е-ем другой; можно меняться, но это сродни обмену родителями и адресами). Великая Тайна, короче.

Отдельно скажу об аудиосказках. Не совсем книжка, больше театр: чтение на ночь с разбивкой на голоса. Плюс музыка. Первый опыт синкретизма. Почти кино — но лучше, потому как проецирует действие не на внешний экран, а на внутреннюю мембрану: поработай-ка всем сердцем, всем животом. Главный сказочник — Николай Владимирович Литвинов. Он и Кот-в-сапогах, он и кот без сапог, он и доблестный ветеринар Корнея Чуковского и ведущий «Радионяни».

И вот она — галерея пластинок, десятилетиями восстанавливаемая по крохам.

«Рикки-Тикки-Тави»: инсценировка О. Герасимова, музыка Г. Савельева, в роли Рикки-Тикки — Всеволод Шиловский. Поклон!

«Слонёнок-турист», «У Слонёнка — День рождения». Автор — Давид Самойлов, спрятавший стихи за причудливым раешником: только рифмы иногда выдают ненавязчивую версификацию. Опыт свободы содержания внутри колеблемой, как треножник, формы. Композитор Борис Чайковский. Поклон, поклон.

«Айболит и Пента». В главной роли на сей раз — Ростислав Плятт. Музыка совсем недавно ушедшего Александра Флярковского. Песня о дельфинах в исполнении дельфинов. Низкий поклон...

И ни одной осечки, все по-честному, без каникулярной тюзовской халтуры. Как сказал Райкин (Аркадий) в шварцевской «Золушке»: «Мы сделали из этой сказки спектакль, понятный даже самому-самому... взрослому слушателю».

Еще утвержу. Лучшим подарком была не книга, а пластинка.

2. Своим детям желаешь лучшего, поэтому тщательно подбираешь им все то, чему резонировала когда-то твоя собственная мембрана. Маршак, Чуковский, Хармс, а также — была не была! — Агния Барто, которой за одно только имя нужно поставить памятник. Так и обозначить во всех электронных навигаторах: Памятник Имени.

Что-то вывезено из Ташкента, скажем, Лагерлёф, утратившая по дороге суперобложку и хвойно-полынный аромат (а казалось — навеки!). Что-то приобретено уже в Москве. Случаются неожиданные открытия. Например, «Пожар» Самуила Яковлевича Маршака: не в той, что помнишь наизусть, а в первой редакции 1923 года (репринт) — где Огонь говорит человеческим голосом — от этого он особенно страшен; а пожарные («в медных касках лучезарных») едут не на машине, а на дрогах, запряженных лошадьми.

Главное «взрослое» открытие — сказки Сергея Козлова: про Ёжика и Медвежонка, про Львёнка и Черепаху... Не было у меня в детстве Козлова, увы. Только рисованные экранизации. И если история Львёнка и Черепахи вполне исчерпывается мультиком Инессы Ковалевской со знаменитой песенкой Геннадия Гладкова, то непрочитанная сага о Ёжике и Медвежонке фильмом Ю. Норштейна — пусть и гениальным — никак не восполняется. *Потому что!* — как говорят женщины. *Потому что потому!!* — как уточняла мне мама. «Всё кончается на У» — подсказывает первая редакция, год 1976—1977-й.

Кстати, недавно на книжной ярмарке увидел точное переиздание ТОЙ САМОЙ «Пеппи», явно рассчитанное на отцов вроде меня: росших в 70—80-е и рожавших в 2000-е. Напоследок объявление: куплю (дорого!) синенькое издание «Трёх повестей о Малыше и Карлсоне»: М., «Детская литература», перевод Л. Лунгиной, иллюстрации Илун Вилланд.

Гузель Яхина, прозаик, г.Казань

Про книжные шкафы

Сложно выделить какую-то одну, самую любимую или важную, книгу моего детства. Их было много, любимых и важных. Одна из таких — тургеневская «Муму». Она показала, что над книгами можно плакать по-настоящему, всерьез.

Для дочери моей самой важной книгой до сих пор остается «Евгений Онегин». Она прочла его в десять лет — сама, вопреки моим опасениям, что текст будет труден или непонятен. И с тех пор перечитывает снова и снова. Все началось с мимолетного разговора о сюжете романа (зацепило — про любовь!). Переросло в прослушивание аудиокниги, затем — в прочтение, поход на одноименную оперу, просмотр советского фильма 1958 года, повторное прочтение... И многие разговоры на совершенно разные темы у нас теперь часто заканчиваются: «А-а, это совсем как в "Онегине"»...

А вот попробуй-ка объяснить современному подростку, что такое книжный шкаф!

И казалось бы — свой ребенок, умный, читающий. Смотрит на тебя внимательно и недоуменно: книжный шкаф — выходящий из обихода предмет мебели. Раньше книги хранили в шкафах, теперь — в читалках и планшетах. Что здесь непонятного?

Чувствуешь себя на экзамене. Волнуешься, выкусываешь заусенец. Да нет, все понятно, конечно. И все же... Приказываешь себе успокоиться. Подбираешь слова, пытаешься рассказать.

Шкаф — это зеркало хозяина.

Раньше так считали, по крайней мере. Приходишь в гости к новому приятелю, первым делом — к шкафу: ну-ка, любезный, предъявите, из чего вы состоите и в каких пропорциях. Ага, русская классика, взятая в равных долях с классикой зарубежной, немного философов (ого — Кьеркегор! где достали?), целая полка Стругацких, Вознесенский (ой, и у меня такой же!), Хемингуэй (надо же, моя любимая — «Старик и море»), внушительный отряд словарей, репродукции Эрмитажа, подшивка «Юности»... Что ж, с этим человеком водиться можно.

Потому что шкаф — это маркер «свой-чужой».

И важно не только, *какие* книги стоят на полке, а еще и *как* стоят. Если в лакированном, пахнущем полиролью серванте, обрамляя его сверкающие хрусталем зеркальные внутренности, — сразу понимаешь: человек *не наш*. И если книги заперты за стеклянные дверцы, как экспонаты на выставке, — тоже: *не наш*. И если аккуратно выстроены по цвету и размеру корешков — *не наш*. Книги должны стоять открыто, вольно, вперемежку. Тесниться, не влезать на полки. И шкаф должен быть правильным — большим, лучше старым, еле ощутимо пахнущим пылью. Видишь такой и сразу понимаешь: *наш* человек, *наш*!

Конечно, шкаф — еще и предмет семейной гордости.

Папа никому не разрешает стирать пыль с букинистической полки — сам, только сам! — дореволюционный Лермонтов, старый семейный Коран, томик Гёте в готическом шрифте... Мама любовно выравнивает корешки редких собраний — Жюль Верн, Дюма, Драйзер и даже Набоков (связи, милая моя! связи решают все!) — и тайком переставляет их на самые видные места, на уровне глаз.

И шкаф превращается в поле битвы.

Папа бранится страшно, расставляет книги опять строго по алфавиту. А когда через пару недель мама, с сияющими от хищного восторга глазами, притаскивает три томика Брэма в лаковых суперобложках (все-таки — сумела *урвать!*), они вновь втискиваются где-то между Тарковским и Твардовским, поближе к центру...

Шкафы — разные.

Домашний шкаф — это очень серьезно. Шкаф-спутник, шкаф-наставник. Вся твоя жизнь расположилась на нем: от детских книжек на нижних полках до древних греков и немецких философов где-то под потолком. Этот шкаф — навсегда. Он был до твоего рождения и будет после твоего ухода. Всю жизнь ты будешь приходить к нему, как приходят мама и папа, бабушка и дедушка. Как будут приходить твои дети. Так думалось нам когда-то.

То ли дело — шкаф на даче, самодельный, скособоченный, с кирпичом вместо одной ножки. До отказа набитый всяческой книжной всячиной, сосланной из дома за недостаточную серьезность и оттого втрое притягательной. Шкаф-озорник, шкаф-сообщник. Перед ним можно не стесняться — и в пятнадцатый раз взять любимого, залистанного до дыр Эдгара По, подшивку «Искателя» или залитое чаем и закапанное вареньем детективное дерьмецо в мягкой обложке. Шкаф только скрипнет по-свойски: не бойся, родителям не выдам.

Совсем иное — шкаф у дедушки. Величественен, даже монументален. Шкаф-памятник, шкаф-мемориал. Выстроенные в плотные ряды полные собрания сочинений Маркса и Энгельса, Ленина и Брежнева, Чернышевского и Горького. Толстые корешки благородных оттенков, золотые буквки посверкивают неумолимо: скоро ты вырастешь и должен будешь прочитать нас — всех, до последней страницы!..

Когда-то мы были страной книжных шкафов. Без телефона или телевизора в те давние времена обходились легко. Без шкафа — никогда. Но даже сами мы не понимали, как это важно — иметь его в доме.

Потому что шкаф — это свобода выбора.

Именно здесь, у его подножия, ты принимал первое в жизни серьезное решение: какую книгу взять. И эта привычка — выбирать самому — росла вместе с тобой. Каждый раз ты стоял внизу, немного волнуясь и окидывая жадным взором убегающие под потолок имена на корешках: кто позовет тебя сегодня?

Шкаф — это всегда обещание.

Сложная эмоция: ожидание радости, предвосхищение удовольствия, восторг близкого открытия...

Замолкаешь, не умея подобрать слова. Словно пытаешься пересказать музыку, на пальцах объяснить незнакомый вкус. В глазах ребенка — терпение, вежливое внимание. Чувствуешь себя черепахой, которая видела еще динозавров, бесконечно старой и сентиментальной. Говоришь: ладно, пойдем лучше почитаем — что-нибудь хорошее.

Дмитрий Шеваров

Приключения книжного мальчика

Два сюжета из будущей книги

Василёк и почтовое яблоко

Очень важная точка

Вы не слышали о Вёдрышках?.. Так и знал, что не слышали. Что ж, не бросаются Вёдрышки в глаза. Из космоса, говорят, все видать, но и оттуда городок наш — как масленок на поляне, прикрывшийся опавшей хвоей. Попробуй, отыщи.

Недавно мы с дедушкой купили в книжном магазине географическую карту, принесли домой, развернули, и оказалось, что на стол она не входит. Крайний Север и Дальний Восток никак не помещаются. Пришлось положить карту на пол. Долго мы ползали по карте, пока нашли наш город. Легче найти голубую прожилку — реку Вёдрышко. На правом ее берегу и будет точка по имени Вёдрышки.

Раньше не жалели чернил на такую важную точку и на старинных картах наш город отмечали куда более жирной точкой, чем сейчас. Вёдрышки упоминаются в древних летописях. Перед нашествием Мамая пятнадцать князей из Вёдрышек поспешили на помощь Дмитрию Донскому. «И приидоша князи Вёдрышкинские, крепцы сущее и мужествени на брань, с воинствы своими...» Все они героически сражались и погибли в Куликовской битве.

А название города — оно от старорусского «вёдро» пошло и означает, что у нас тут всегда хорошая погода. За последние века климат сильно нарушился, и погожих дней стало с гулькин нос. Название города как-то насмешливо стало звучать. Уж какое тут *вёдро*, когда то дождь льет, то метель метет, то тучи мраку нагоняют. Да и слово само как-то вышло из оборота, превратилось в *ведро*, посудину для воды.

Однажды археологи целое лето что-то копали на берегу, и с тех пор пошла гулять то ли быль, то ли небыличка о происхождении Вёдрышек. Так она всем понравилась, что если в наш город заглядывают туристы, то им непременно рассказывают эту быль-небыличку и ссылаются на науку.

А история такая. В давние времена как раз в наших местах через речку переправлялся великий князь со своей ратью. Ехал князь на коне, погруженный в думы и был «лицом красен, очима светел и грозен взором».

Князь первым пустился вброд, но кто-то отвлек его криком: «Ишь ты!»

Великий князь удивленно вскинул брови, а храбрый княжеский конь испуганно запрядал ушами и остановился.

— Улетело! Туда! Так-о-ое! — зашумели ратники и замахали руками в сторону леса.
— Какое такое? — грозно спросил князь.

Ратники не успели ничего ответить. За темным еловым лесом раздался могучий плух, шипение, как будто из огромной кринки молоко на раскаленную печь сбежало. А потом все стихло. Сейчас ученые предполагают: то, что пролетело и упало в болото, было небольшим метеоритом.

Великий князь расстроился, что не увидел метеорита, и обронил в речку золотое ведро, прицепленное к седлу. От этого князь еще больше опечалился, но приказал следовать дальше, а для поисков ведра оставил боярина Афанасия и своего поваренка Олешку.

Ведро-то было непростое — подарок византийского императора.

Три дня и три ночи не смыкали глаз Афанасий и Олешка, искали золотое ведро. На четвертый день сон все-таки свалил их. Проснувшись, они собрались было догонять своего князя, да вспомнили его наказ: без ведра не возвращаться. Они и не вернулись. Устроились жить на берегу реки.

С избушки поваренка Олешки и боярина Афанасия пошли расти Вёдрышки. А ведро так и кануло в воду.

Когда летом солнце садится в ту сторону, куда уехал князь, золотой луч падает на речку. И тогда кажется, что княжеское ведро катится по тихим волнам и вот-вот его прибьет к берегу. Слышно даже, как тонкая ручка позвякивает. Но не дается ведро, только дразнит.

Метеорит сгинул в болоте, ведро утонуло. Зато есть город Вёдрышки. Стоит себе, щурится низкими окнами. И он-то никуда не денется. Некуда ему деваться, да и здесь хорошо.

Тридцать три окошка и чудесный коврик

Зимними вечерами очень интересно гулять и считать окна. Мы каждый вечер ходим с бабушкой и считаем. Я уже выучился считать до двадцати. Скоро выучусь и до ста — если только на нашей улице наберется столько окон.

Но мы уже решили с бабушкой: когда закончатся окна, мы возьмемся за звезды. Их нам надолго хватит. Может быть, до самой осени. А осенью я в первый класс пойду.

Ну а пока мы идем с бабушкой по улице, глядим по сторонам и считаем окна. Свет из окошек падает нам под валенки, и так приятно выходить из темноты на сверкающую полосу — будто на пушистый белый коврик ступаешь.

Снег скрипит, звезды сияют, и от этого скрипа и сияния на душе ясно и празднично. Улочка наша заставлена сугробами как белыми сундуками. И кажется, что в этих сундуках — подарки к Рождеству. И что удивительно: чем меньше, беднее дом, тем больше стоящий рядом с ним белоснежный сундук.

Все окна светятся по-своему. Где шторы красные, там и свет — будто маков цвет. Где зелененькие — там окошко светится как первый березовый листок по весне. А где шторы желтые — там будто лето.

За всеми окнами слышна жизнь, потому что в избах натоплено и форточки открыты. Вот из одного окошка доносится: «Го-о-ол!..» — там дядя Василий хоккей смотрит.

Из окошка тети Груши слышится «хлоп-хлоп» и тоненький девчоночий голосок. Это первоклассница Маша напевает и в ладоши хлопает:

Хоровод, хоровод,
Пляшет маленький народ...

Машутка на каникулы приехала, вот и поет от радости.

Из окна стрелочника Тимошкина доносится веселый стукоток швейной машинки — будто паровозик бежит по рельсам. У Тимошкиных пятеро детей, и все растут страшно быстро. Их маме приходится все время шить да удлинять, штопать да перешивать.

Вот и пересчитали мы с бабушкой все-все огоньки на нашей улице. Жаль только, что некоторые дома стоят темные, печальные. Но есть и такой дом, который только притворяется неживым. Это дом нашей соседки бабы Стеши. Она свет вечером не включает — электричество экономит. Сидит в темноте, радио слушает.

Впрочем, свет бабе Стеше с улицы прибывает: там ярко месяц сверкает, Млечный Путь светленьким дымком струится. Звезды то разгораются, то притухают. И кажется, что одни звезды старенькие, они вздыхают: «О-хо-хонюшки...», а другие, яркие, бойкие, как Машутка, тоненько поют: «Ой, лю-ли, лю-ли...» Ну прямо живые!

Мы идем-идем, и вдруг я примечаю теплое, как топленое молоко, окошко, а в нем — огоньки елочной гирлянды. «Наше, наше окно!» — кричу я радостно. Наверное так кричат моряки, которые целый год были в кругосветном путешествии и вот, наконец-то, увидели на горизонте полоску родной земли.

Бабушка тоже рада: «Кто нечаянно завидит свет в своем доме — тому счастье будет».

Вот мы и входим в дом — счастливые-счастливые. У меня просто щеки горят от счастья.

Я сообщаю дедушке, что насчитал сегодня тридцать три окна!

Пока я тащу из шубейки веревочку с варежками, чтобы положить их на печку, дедушка стучает друг о дружку сброшенные мной валенки.

А потом мы долго пьем чай, и дедушка рассказывает, как лихо наши выиграли в хоккей.

Бабушка укладывает меня спать, гасит лампу и возвращается к дедушке на кухню. Темноты я не боюсь, не маленький. Да и не страшно вовсе — вон на елке мерцает серебряный дождик, перемигиваются стеклянные игрушки.

Мне снова хочется увидеть звезды. Босиком подбегаю к окну, но там началась метель и звезд не видать. Зато видно, что на дворе, на снегу, как забытый коврик, лежит свет из нашего кухонного окошка.

Засыпая, слышу, как метель сердито шуршит по бревенчатым стенам. Мне кажется: это я лечу куда-то на чудесном коврике, сотканном из снега и света.

Шляптя-тряптя

Когда накануне первого сентября я примерил школьную форму, бабушка, всплеснув руками, заплакала и позвала дедушку: «Коля, погляди... Совсем большой...»

Бабушка так жалостно смотрела на меня, что и мне захотелось плакать. Не хочу быть большим. Я еще и маленьким-то был всего ничего.

И форма мне не понравилась. Нет, я не девчонка какая-нибудь, чтобы капризничать из-за одежды. Цвет мне даже нравится — серый, почти маскировочный. Но ведь совершенно нет карманов, ни одного. Мы с бабушкой все обыскали и не нашли.

У пиджака не было не только карманов, но и хлястика. Рукава у пиджака были длинноваты, а брюки великоваты в поясе, и мне приходилось придерживать их.

«Коля, это что?..» — грустно и как-то обреченно спросила бабушка, указывая на меня.

Дедушка по своему обыкновению не терял бодрости:

— Шляптя-тряптя! Промажнулись малость, взяли на вырост. Ты, Тася, не расстраивайся, к Новому году парень подрастет и будет в самый раз.

Он улыбнулся мне и подмигнул. Я тоже улыбнулся, взмахнув рукавами, как Петрушка.

Бабушке было не до смеха.

— Ну, здесь я подошью, здесь убавлю, но карманы-то я где возьму? Носовой платок ребенку положить некуда. А хлястик? Куда ты смотрел в магазине? Тебе же брак подсунули. Ничего нельзя поручить! Какой-нибудь номер да выкинешь...

Бабушка отвернула полу моего пиджачка: «Что-то написано... Дайте-ка мне очки...»

К подкладке оказалась пришита тряпочка, на которой мы прочитали: «Вёдрыш-кинская швейная фабрика им. Светлого Будущего».

Вечером бабушка сняла со швейной машинки фанерный футляр и принялась шить мне хлястик, пришивать карманы и подшивать брюки.

Швейная машинка меня завораживает. На ее черном литом основании красуется гордый сказочный лев с угрожающе поднятой левой лапой. Он высунул язык, грозно смотрит в даль, нетерпеливо бьет хвостом, и грива его развеивается от ветра. Видно, царь зверей хочет броситься в погоню за антилопой или зеброй, но вот уже сто лет ему приходится караулить швейную машинку.

Я люблю разглядывать льва и причудливые виньетки вокруг него. Крутится стальное колесо, а иголка, ныряя в ткань, оставляет ровную строчку стежков. Стучит машинка, как скорый поезд, и под этот стремительный стукоток бабушка рассказывает:

— Эта машинка нас от смерти спасла в двадцатом году. Папа мой умер, нам нечего было покушать. Однажды дома никого не было, а я от голода потеряла сознание и упала в погреб. Слава богу, что брат Алеша прибежал и меня вытащил. Так вот на этой машинке мама шила для соседей, знакомых, и они давали ей что-то из продуктов. Спасительница наша...

Бабушка ласково гладит швейную машинку по выгнутой, как у кошки, спине, на которой угадываются полустершиеся золотые буквы ZINGER.

Сашка Мурашкин

Первого сентября учительница Юль-Николавна взяла меня за руку и повела в школу. Я оглянулся: за нами сороконожкой тянулся весь наш класс. Девятнадцать мальчишек и двадцать пять девочек. Банты плыли над нами, как маленькие облака.

По тому, как крепко меня держала учительница, я почувствовал, что вот-вот начнется строгая и неумолимая жизнь. Сердце колотилось под рубашкой, оно не привыкло к строгостям, ему хотелось бежать. Но предательские ноги послушно шаркали в новых ботинках.

Предчувствия меня не обманули. Юль-Николавна оказалась воплощением суровости. Она не разрешала на уроке петь песни, кидаться желудями и есть бабушкины пирожки. Она даже не давала толком поковырять в носу. И все время стыдила: стыдно врать, стыдно обижать девочек, стыдно прятаться за спину товарища, стыдно огорчать дедушку и бабушку...

А вот ребята мне понравились. В дошкольном детстве я думал, что школьники — ужасно серьезные люди. Они не улыбаются и не смеются. Они только грустно рисуют палочки в тетрадках.

Наши ребята оказались очень веселыми, а самым веселым мне показался Саша Мурашкин. Неловкий и мешковатый, Сашка умудряется так потешно выходить к доске, что Юлия Николаевна старается спрашивать его с места. Все Сашкино круглое лицо усыпано веснушками, как подсолнух — семечками. А улыбка у него такая, про какую обычно дразнятся: «Рот до ушей — хоть завязочки пришей». Но мы не дразнимся. Мы лишь иногда зовем его Мурашкой, но ведь это звучит совсем не обидно, правда?

Серёжка Евстигнеев — самый сильный из нас и самый ловкий. Ему ничего не стоит забраться по пожарной лестнице на крышу трехэтажного дома, чтобы спасти

повисшего на карнизе котенка. Он просто акробат. А еще Серёжка умеет шевелить ушами не вверх-вниз, а как слон — взад-вперед. Он называет этот фокус: «финт ушами».

Через десять дней после первого сентября мы все перезнакомились и передружились, и чувствуем себя в школе не хуже, чем дома. На перемене мы с мальчишками уже не жмемся по стенкам, а играем в войну. Так было и в прошлую пятницу, когда Сашка Мурашкин сбросил свой серый пиджачок, нацепил, как флаг, на швабру, до той поры мирно стоявшую в углу, и мы с криком «ура-а-а» понеслись по коридору, изображая взятие рейхстага.

Ворвавшись в класс, где было открыто одно окно, рядовой Мурашкин победно выставил флаг на улицу. Внезапно прозвенел звонок, Саша хотел затащить швабру обратно, но пиджак соскользнул с древка и, порхая, улетел с третьего этажа на улицу.

Сашка очевидно решил, что терять ему больше нечего: он сбросил ботинки и с криком «получайте, гады!..» отправил их в окно вслед за пиджаком. Командующий нашим фронтом генерал Евстигнеев испуганно вытаращился на Сашку и совсем не по-генеральски схватился за голову: «Ты что, Мурашка?!»

Все только ахнули, но тут зашла Юль-Николавна, попросила прикрыть окно, и мы стали писать диктант.

«Зимой много снега, — громко и медленно диктует Юль-Николавна, прохаживаясь у доски. — Дети рады...»

На этих словах Сашка горько всхлипнул. Юль-Николавна даже побледнела от неожиданности, она враз увидела, что Сашка почему-то без пиджака, а на ногах у него только серые дырявые носки.

Юль-Николавна подошла к Саше, стала его утешать и тормозить, но он только плакал, а слов не говорил. Наконец ребята объяснили, что Сашкины вещи выпали в окно.

Юль-Николавна как была, в легонькой белой блузке, бросилась из класса, а мы все бросились к окну.

Мы увидели, что внизу стоит какой-то дяденька и вылавливает из глубокой лужи Сашкин ботинок. Другой ботинок и пиджачок он уже подобрал.

Очень вовремя вылетела на крыльцо Юль-Николавна. Чайкой кинулась она к дяденьке. Тот с перепугу выпустил из рук добычу, и Сашкин ботинок шлепнулся обратно в лужу.

Сашка к тому времени плакать перестал и вместе со всеми уткнулся носом в окно. Алеша Сёмочкин пихнул его в бок: «А вот была бы у нас другая учительша, не такая торопкая, — твои шмотки бы слямзили, и мамаша бы тебя пришибла...»

Я вспомнил Сашкину мать — худошавую женщину с жилистыми мужскими руками и понял, что Алешка прав — досталось бы Саше.

Тут вернулась с поля боя Юль-Николавна — запыхавшаяся, раскрасневшаяся, она несла в руках Сашкины вещички, с которых капала вода. Мы хором закричали «ура!», расселись по своим местам, а Сашка виновато и благодарно уткнулся Юль-Николавне в блузку.

«Ну, хватит-хватит, — сказала Юль-Николавна, почувствовав, что Сашка вновь готов зареветь, — иди, положи свое хозяйство обсохнуть...»

На Сашкином лице воссияла улыбка до ушей, а Юль-Николавна села на стул и чуть дрожащими от волнения руками приняласьправлять выбившиеся заколки в свой куksик.

Вдруг медленно открылась дверь и перед нами появилась директор:

— Что у вас происходит?

— Диктант, — гордо сказала Юль-Николавна и, обращаясь к нам, продиктовала: «У Лиды лыжи. Аня и Яша возят снег. Дружно работают ребята...»

Первый клоун на деревне

Все есть в Вёдрышках — и кино, и пожарная каланча, и киоск с мороженым, и детский парк с каруселью, и пристань с теплоходами, и даже кукольный театр. Есть даже две бани!

Только одной важной вещи в Вёдрышках не хватает — цирка. Летом на две недели приезжает цирк-шапито, да и то не всякий год.

Но в ожидании цирка мы не теряем время даром. Почти каждый день представления открываются в нашем 1 «а». Ни с того, ни с сего смешинка вдруг начинает гулять по классу, захватывая всех-всех и даже учительницу Юль-Николавну. После одного из представлений директор с ужасом воскликнула: «Столько клоунов, как в этом классе, я никогда не видела!»

И почему нам так нравится быть смешными? Наверное, это оттого, что мы всем классом очень любим Юрия Никулина, хотя видим его только в кино. Никулин как-то незаметно внушил нам, что хорошему человеку не страшно быть немножечко смешным. А иногда это просто необходимо, чтобы спасти положение.

Недавно наступил час и моей персональной славы. Я к ней не стремился, но обстоятельства, как волна, выбросили меня на сцену.

А дело было так. Забыл я дома мешок со сменкой и, пока бежал в школу, заляпался в рыжей глине. Я же не виноват, что строители все подходы к школе перекопали. Ботинки от глины стали тяжелыми, и я еле доковылял до нашего класса. Звонок прозвенел, а я стою в дверях огорченный, что не успел проскочить к своей парте.

Юль-Николавна смотрит на меня с отвращением, как будто я не ученик ее, а комок грязи, неизвестно как закатившийся в класс. И все ребята смотрят на меня как на чужого. Мне тоже захотелось посмотреть на себя — и чего это во мне такого удивительно страшного — но зеркала в классе не было. Тем временем Юль-Николавна зачем-то разворачивает газету «Красный Север» и стелет ее на свой учительский стол. Потом вдруг хватается за меня, как пушинку, и ставит на «Красный Север». Лицо у меня вспыхивает от бесцеремонности, с которой меня водрузили на пьедестал. Я уже догадываюсь, что это не пьедестал почета.

— Полюбуйтесь на этого... — возмущенная Юль-Николавна не сразу находит то слово, которого я заслуживаю.

Дождаясь приговора, я сквозь набегающие слезы разглядываю свои глиняные ботинки и заголовки на спортивной странице «Красного Севера»: «Спартак расстается с кубком», «А штанга все тяжелеет»... Учительница продолжает греметь.

— Полюбуйтесь на него — первый клоун на деревне! Вылитый Никулин!

И в этот момент происходит то, чего не ожидали ни я, ни учительница. При слове «Никулин» девочки начинают шептаться, а мальчишки одобрительно гудят.

Я потихоньку поднимаю голову и вижу сияющие глаза нашего класса. Ребята смотрят на меня, как на артиста, который выполнил какой-то опасный трюк и благополучно спустился из-под купола на арену.

Все происходит как во сне. Ребята хлопают в ладоши, смеются. Я начинаю кланяться во все стороны. Топчусь и кланяюсь: мол, очень вам признателен за такой теплый прием.

Юль-Николавна тоже вдруг начинает улыбаться; она стаскивает меня со стола и отправляет мыть ботинки.

В тот день я твердо решил, что когда подрасту, то обязательно пойду всерьез учиться на клоуна. Нет, не просто на клоуна, а именно на Никулина.

Когда я закончил начальную школу и поехал к папе, маме и сестренке на Урал, то в чемодане, среди самых заветных вещей, я вез открытку с Никулиным из серии «Актеры советского кино».

Очевидно, какое-то веселое облако еще сопровождало меня. Когда в четвертом классе нам задали сочинение о будущей профессии, я написал о том, что хочу быть клоуном.

Всегда тихая и грустная Капа — наша учительница литературы Капитолина Михайловна, — возвращая мне тетрадь, посмотрела на меня сочувственно. Она только поправила мне ошибки, но вслух ничего не сказала, догадываясь, какие шишки могут повалиться на несчастного клоуна после уроков.

В новой моей школе клоунов не любили. Тут считалось, что быть смешным — это значит быть слабым и жалким. Худшего прозвища, чем «клоун», здесь невозможно было и представить. Поэтому в душе я был очень благодарен Капе: она никому не выдала моей мечты. Меня и без того лупили почти каждый день за то, что я новенький, в очках, говорю на «о» и не играю в «чику» на деньги.

Когда до бабушки с маминим письмом дошла новость о моих клоунских планах на жизнь, бабушка огорченно написала мне: *«Димуся, почему ты выбрал профессию клоуна? Ну мне прямо неприятно. Это, конечно, тоже профессия, но ты ведь умный мальчик, начитан и вдруг ничего получше не мог придумать. И нам ничего не пишешь. О твоих делах и жизни узнаем от мамы. Все, дорогой, пиши нам. Целую, твоя бабушка».*

Так я оставил мечту о манеже. Мне часто было страшно от того, что кому-то я могу показаться смешным. В восьмом классе, чтобы не отстать по росту от девочки, которая мне нравилась, я подкладывал в ботинки сложенные во много раз газеты и надевал отцовскую шляпу. Но за девочкой я все равно не угнался, и она еще долго смотрела на меня сверху вниз.

А чтобы подрасти, надо было всего-то навсего заняться спортом, побольше висеть на турнике. Но мне было не до спорта, я писал стихи и мечтал о профессии капитана речного теплохода или, в крайнем случае, археолога.

Но когда на экране возникал Юрий Никулин, мне снова казалось, что не может быть выше призвания, чем быть Балбесом с большой буквы, дарить людям радость и добрый смех.

Заячье утро

Вечером мы с дедушкой поспорили, какой будет завтра день. Дедушка говорил, что день выйдет пасмурный. А я спорил: день непременно должен быть солнечный, потому что пасмурных деньков за осень было ох как много, а солнечных — ну всего ничего. На это дедушка сказал, что он слышал прогноз по радио, а прогнозы погоды составляют ученые на основании снимков из космоса. С наукой не поспоришь.

Но я не сдавался и позвал на помощь бабушку. Прибежал к ней на кухню и выпалил: «Ну скажи дедушке, что завтра будет солнце! Ты ведь сама говорила, что устала от плохой погоды...»

Бабушка вздохнула: «Я устала от ваших споров. А погода — как Бог даст, такая и будет».

Я решил больше не спорить. Встану, думаю, завтра первым и проверю, кто прав.

На другой день, только проснувшись, я подбежал к окну и ткнул носом в холодное стекло. А окно замерзло, затянулось инеем, и было непонятно — есть на дворе солнце или нет,

Тогда я забрался на подоконник и высунулся в форточку. Воздух веселый, молодцеватый от новенького морозца, и главное — солнце! Прямо на моих глазах оно пробилось сквозь снеговые тучи и покатилося по крышам, как горячий бабушкин блинчик.

Мне сразу захотелось кому-то помахать рукой, но во двор никто из ребят еще не вышел. Только пес Шарик ходил у забора и нюхал свежий снег.

Бабушка прогнала меня от форточки.

— А где деда-то? — спросил я.

— За капустой отправила.

Я хотел обидеться, что дедушка ушел без меня, но почему-то сегодня не получалось обидеться. Уж очень светло и празднично в доме. С кухни пахнет оладушками. Я поинтересовался у бабушки: «А какой сегодня праздник?» Она удивилась: «Да вроде никакого нет. А ты глянь у деда в численнике...»

Я подошел к отрывному календарю, который висел у дедушкиного стола, и увидел, что число там серенькое, будничное.

— Нету праздника, — сообщил я бабушке.

— Ну вот и примечай будни, а праздники-то сами придут. Ешь вот оладки, пока не остыли.

Мне очень хотелось позавтракать, и я положил себе на тарелку две оладки. Я ел оладьи и поглядывал в окно: на месте ли солнце? Очень уж мне хотелось, чтобы оно не пряталось и дождалось дедушки.

Вдруг солнечный заяц с блестящим барабаном в руках впрыгнул с улицы на кухню и по стеночке прошмыгнул в комнату. Я оставил завтрак и тоже выбежал из кухни.

Вот заяц попрыгал по широким сосновым половицам, потом заскочил на старый сундук, уселся на его обитую медью крышку и так звонко-звонко забарабанил, что я подумал: ну, сейчас бабушка прибежит и спросит: «Кто это мой сундук ломает?» Но тут заяц махнул под потолок и притворился, что он никакой не заяц, а просто освещенная солнцем паутинка в углу.

В это время показался еще один заяц! Он был уже не с барабаном, а с мушкетерской шпагой. Этой ужасно длинной и тонкой шпагой заяц-мушкетер пронзил тюлевую занавеску, стремглав пробежал по корешкам книг в застекленном шкафу, полюбовался посудой в бабушкином серванте и, высветив девушку-пастушку на белоснежной тарелке, остался у ее ног.

Третий заяц был словно из теста. Он неуклюже шлепнулся с подоконника и лениво проковылял за печку, где всегда сумрачно и тенисто, как в еловом лесу. Тут из-под бабушкиной кровати показались тыквы — толстые, оранжевые, очень симпатичные. Заяц притворился одной из тыкв и разрешил мне похлопать себя по брюху.

Пока я бегал за солнечными зайцами, вернулся дедушка. Он затащил в коридор рогожку с капустой. Запахло снегом. Я с разгона уткнулся в дедовы серые штаны, недавно сшитые бабушкой для хозяйственных работ: «Ты видел?! Там — солнце!..» — и потащил его к окну. «Видел, видел, знаю! — отбивался, смеясь, дедушка. — Что ж, и на старушку бывает проруха. И наука, бывает, ошибается...»

«Ура!» — закричал я, а солнечные зайцы запрыгали, закружились, замелькали вокруг нас.

Как это здорово, что наука иногда ошибается.

Почтовое яблоко

Пока дедушка собирается, я скатываюсь по перилам с нашего второго этажа, вылетаю во двор. Солнце сверкает на заиндеветой траве. Упавшие листья обзавелись белой морозной опушкой и лежат торжественно, как ордена.

Напротив наших окон, за штакетником — маленький сад с единственной яблоней. Я вспомнил, как в конце лета на ней созрело всего лишь одно яблоко. Всем двором ходили вокруг и сторожили, чтобы никто раньше времени не сорвал. В конце августа ветка с яблоком опустилась и мы, дети, уже могли дотянуться до него. И вот тогда, в один из вечеров, взрослые после недолгих прений решили, что яблоко пора сорвать.

Моей бабушке доверили поделить яблоко поровну, мы торжественно отнесли

его в дом, и бабушка поделила его столовым ножиком на пять долек: Мишке, Маринке, Ире, Илонке и мне. Терпко-холодная, кисловатая долька.

И вот сейчас в траве я увидел огромное яблоко, чуть присыпанное снегом. Откуда оно взялось? Я поднял его — тугое, зеленое, налитое ночным морозом. Понюхал: пахнет Ледовитым океаном.

В карман пальто яблоко не лезет; я вернулся в подъезд, открыл деревянную дверцу нашего почтового ящика и положил туда яблоко. «Посиди-ка тут...» — сказал я и захлопнул дверцу.

Иван Баобабыч

Дедушка вышел во двор, огляделся и мечтательно продекламировал: «Нам тихий свой привет шлет осень мирная!..»

— Привет-привет! — заторопил я его и потянул за руку. Дедушкина рука была теплая, большая, моя спряталась в ней.

«Скорей, скорей!» — торопил я. Мы шли привычной дорогой, но привычного ничего не было. Старая улица наша будто раздвинулась. У колонки билась в ослепительные ведра ледяная вода, и брызги летели, как салют.

Мы пошли дворами, где все сараи были усыпаны листьями, на скамейках и заборах грелись сонные коты и кошки.

Бодро прошагав несколько переулков и один пустырь, мы увидели Ивана Баобабыча. Так в Вёдрышках зовут самый старый дуб.

Он такой неохватный, что и десять таких мальчиков, как я, его бы не охватили. Возможно, его охватили бы десять дедушек.

Верхушки Ивана Баобабыча я никогда не видел, она высоко в небе, там, где летают самолеты, и я удивляюсь: отчего на дуб не повесят красный фонарик, чтобы воздушные лайнеры не столкнулись с дубом?

Дедушка говорит, что большие самолеты, вроде ИЛ-62 или ТУ-144, в наш город не летают. Летают только кукурузники, АН-2, а они местные. Наши летчики про Ивана Баобабыча с детства прекрасно знают и облетают его за три версты.

Мы принялись собирать желуди. Дедушка быстро устал и присел на корень дуба, как на скамейку, а я не мог остановиться. У меня были полные карманы, и когда я наклонялся, желуди сыпались обратно на землю. Тогда я стал таскать желуди к дедушке и набивать ими глубокие карманы его пальто. В одном месте я собрал все-все желуди и даже полюбовался: как чисто получилось.

Поддубный Василёк

Обходя вокруг дуба, я вдруг увидел что-то похожее на картофельный мешок в кепке. Но это был не мешок, а человек, который сидел, прислонившись спиной к дубу, и грелся на солнце, надвинув на глаза кепку.

Я зашуршал листьями, облезлая кепка чуть приподнялась, и я увидел кирпичное лицо, заросшее щетиной. Потом обнаружились голубые глаза — будто на кирпиче два василька расцвели.

Не то, чтобы я испугался, но от неожиданности попятился и, запнувшись, упал. Можно было подумать, что свалился большой желудь. Но дедушка так не подумал; он бросился ко мне на помощь.

Тем временем поддубный человек тоже поднялся, отряхивая свои мешковатые штаны и заношенный ватник, сильно и горько пахнущий слежавшимся табаком. Глаза-васильки спрятались в щелки и погасли. «Вот, разморило на остатнем пригреве...» — виновато сказал поддубный дяденька.

Он опасно уставился на дедушку, на его пальто с карманами, округлившимися от желудей.

Я вспомнил, что давно, до революции, жил такой богатырь по фамилии Поддубный. Он выступал в цирке и, наверное, был добрым. А этот поддубный — кто его знает?

— Пойдем домой, — тихонько шепнул я дедушке.

— Люди добрые, погодите чуток! — окликнул нас поддубный. — Я вас узнал!

Я прижался к дедушке, прицеливаясь укусить поддубного, если он вздумает драться.

Поддубный посмотрел на меня, как смотрят на маленькую, но все-таки довольно опасную собаку, и отошел чуть в сторону.

Дедушка твердо сказал:

— Не имею чести быть с вами знакомым.

— Сорок седьмой год, станция Крыжополь, — напомнил поддубный.

Дедушка задумался:

— Хм... Крыжополь... Это где было разбойное нападение на кассира?

— Кассир! — усмехнулся поддубный, обнаружив зияющую нехватку передних зубов. — Не на кассира, на тебя там было разбойное нападение! Тяжелый ты был парень, еле доволот до фельдшерицы. Вот, говорю, выкинули парня с поезда, расшибся. А ты уж вроде и не дышишь. Ну, сейчас вижу, что слава богу живой...

Ничего себе, подумал я, вот это приключения, а дедушка ничего подобного мне не рассказывал.

— Васильков?... — спросил дедушка растерянно.

— Миру — мир! — обрадовался поддубный. — Василёк я, как был Василёк, так и остался.

Дедушка вдруг обнял поддубного Василька. Тот стал хлопать дедушку по спине, будто хотел выбить пыль из дедушкиного пальто. Так они стояли под Иваном Баобабычем и радостно поколачивали друг друга, а я стоял под ними и думал о том, как хорошо, что поддубный оказался Васильком.

— Ты иди, еще пособирай, — попросил меня дедушка.

Желуди мне надоели, их некуда было уже пихать, и я решил устроить салют из листьев. Я подкидывал их, они кувыркались надо мной, янтарно светясь.

Потом мы вместе пошли к дому. Дедушка помахивал сумкой, а Василёк мял кепку и шуршал ботинками по листьям. Я заметил, что один ботинок у него просит каши, как сказала бы бабушка.

Мы подошли к нашей калитке.

«Ты молодец, Николай, что свинью держишь...» — вздохнул Василёк.

— Какую свинью? — удивился дедушка.

— Ну, а желудей для чего набрали?

— Димка с ними играет.

— А я чего-то про свинью подумал.

— Ты, Васильков, не стесняйся, пойдем к нам. С женой познакомлю...

Василёк испуганно замотал головой. «Вот тут, на лавочке, еще причаляю, а к тебе — ни-ни...»

Они сели на лавке у ворот.

Я почувствовал, что Василёк не такой, как другие. Он среди взрослых — ну как неприкаянный. Мне захотелось что-то подарить человеку, которого час назад я боялся, а сейчас почему-то все больше любил. Вспомнилось яблоко, оставленное в почтовом ящике.

Я побежал в подъезд, открыл ящик. Там лежали газеты и письмо, за ними спряталось яблоко. Я схватил его и вернулся к калитке.

На лавке сидел один дедушка.

— А где дядя Василёк? — спросил я и тут сам увидел, что Васильков понуро уходит по опавшей тополиной листве. Я оглянулся на дедушку. В его глазах я прочитал: «Ну, что ж ты стоишь, беги...»

Я догнал Василька и протянул ему яблоко.

— Это мне?.. — спросил он и его глаза снова стали васильковыми, как там, у дуба.

Мне захотелось придать своему простенькому подарку хоть какую-то важность и я сказал: «Это не простое яблоко...»

— Вижу-вижу, что золотое, — улыбнулся Василёк.

— Не золотое, а почтовое, — поправил я.

— А-а, вон оно как. Ай да мичуринцы...

Василёк взял у меня яблоко, понюхал мечтательно: «Э-эх, брат, к этому бы яблоку, да еще бы зубы...» Потом порывлся в карманах ватника, снял свою кепку, пробежал пальцами вдоль замусоленной подкладки. Это была глубокая кепка. Она пахла темным чуланом, куда давно никто не заглядывал.

— А-а, вот он, родной... Дай, Митька, твою мужественную руку.

Василек вложил мне в ладонь что-то маленькое, металлическое, с острыми крайчиками и тут же зажал это что-то в моем кулаке: «Не открывай пока, потерпи».

— Потерплю, — пообещал я.

Я подумал, что Василёк подарил мне солдатскую звездочку. Ту, самую, которую на фуражках носят. Дедушка мне тоже такие дарил. Но, может, это какая-то особенная звездочка? Я еще крепче, до боли, сжал пальцы.

— Ну, миру — мир? — сказал Василёк свое любимое присловье.

— Миру — мир! — бодро отрапортовал я и побежал к дедушке. Оглянувшись, я увидел, что понурая спина Василька скрылась из виду.

— Дядя Василёк еще придет к нам? — спросил я.

Дед вздохнул и пожал плечами.

— А кто он?

— Очень хороший человек.

— А у нас в школе, когда Сашка Мурашкин сказал, что хочет быть хорошим человеком, над ним смеялись. Хороший человек, говорят, не профессия.

— Я тоже раньше думал, что не профессия. А теперь думаю, что это самая важная профессия. Вот посуди сам: если бы не Васильков, я бы не сидел сейчас с тобой.

Мы немного помолчали.

Я и не заметил, как погода испортилась. Солнце спряталось, стало промозгло и сыро. Мы зашли во двор. Снег во дворе почти стаял. Серые вороны грузно сидели на почерневших ветках тополя, как рыбаки над лунками.

В сумеречном парадном я открыл ладонь: там лежал медный крестик. Старый, может быть, даже старинный. Посредине виднелась небольшая вмятинка, а на кончиках креста запеклись капельки зеленой эмали.

Дома я положил крестик в железную коробочку из-под монпансье, там у меня хранятся секретные вещи: гильза от пистолетного патрона, свинцовый шарик, пачка пистонов.

Если бы Василёк подарил мне звездочку, я бы всем ее показывал. А крестик не хочется никому показывать. Почему? Сам не знаю. Об этом мне что-то сейчас не думается, а думается лишь о том, какой удивительный был сегодня день, хоть и не праздник.

Твердое слово

Прошла неделя или две. Слякоть миновала. Ветер, подувший с архангельских земель, выдул сырость и подсыпал снега. Днем на час или два показывалось ленивое низкое солнце.

«Иди, полови солнце, — сказала бабушка, — всю осень сидишь с книжками да с бумажками. Весь цвет с лица потерял...»

Мороз был еще несильный, и я устроился ловить солнце на заборе — у меня там был штабной наблюдательный пункт. Оттуда видно далеко окрест. За речкой, за

оголившимися кустами и ветлами, вдруг обнаружилась деревенька, которую не видно было ни летом, ни осенью. Невесть как оказалась она посреди города, на островке, соединенном с Большой Землей хлипким мосточком. Вся округа шумит по-городскому — гудками, шелестом шин, стуками и бряками со строек, а там, на островке, идет тихая, тайная жизнь. Там даже днем безлюдно.

Вдруг меня кто-то окликнул. Я оглянулся: у калитки стоит Василёк. Он все в том же ватнике, только вместо кепки у него на голове солдатская шапка без кокарды. На ногах старые черные валенки.

Я обрадовался и помахал Васильку рукой. Он подошел к моему наблюдательному пункту, ласково похлопал меня по валенкам: «Миру — мир!» Потом Василёк оглянулся по сторонам и с неожиданной легкостью забрался на забор.

Взрослые редко сидят вот так на заборах, свесив ноги на улицу и весело поглядывая вокруг. Им некогда. И я страшно рад, что у Василька нашлось время посидеть со мной на заборе.

Я смотрю за островком, а Василёк, задрав голову, выглядывает что-то в небе.

— Гляди-ко — ангелы...

— Где? — не понял я и тоже стал смотреть в небо.

Высоко над нами — лишь белые голуби, выпущенные на прогулку Гришкой-голубятником. Кружатся себе стайкой, а крылья их отливают серебром.

Сам Гришка стоит под голубятней в одной застиранной тельняшке и довольно бормочет что-то себе под нос, наблюдая полет своих любимцев.

— Это ж голуби Гришкины... — сказал я.

— Ну да, голуби... — согласился Василек, — Ангелы просто так, без дела, летать не будут.

Я посмотрел на Васильку: что это он такое говорит? Может, и правду говорят про него, что он *тронутый*. Мне стало как-то не по себе.

А Василек продолжал рассуждать:

— Вообще-то, сугубо говоря, ангелов душа только видит. И то не всякая.

— А в бинокль? — спросил я, вспомнив про дедушкин полевой бинокль.

— Бинокль тут не поможет. И даже телескоп. Не приспособлены они ангелов зреть.

— А Гагарин?

— Ну, если только Гагарин...

Тут кто-то сипло загоготал от ворот: «Ха-ха, гляньте — глухарь с воробьем! Наш кореш гнездо на заборе свил!..»

Какие-то люди с кирпичными лицами смеются, а некоторые просто корчатся от смеха. При этом в их сумках и авоськах противно звякают пустые бутылки. «Эй, глухарь! Пойдем, сдадим да хряпнем!..» — сипло гудели они от калитки.

Василек смутился, глаза его погасли, будто их кто изнутри выключил. Он вздохнул: «Это за мной, надо идти... Дедушке кланяйся от меня... Миру — мир!»

Я кивнул.

Тут подъехала машина с углем, вывалила черную гору, и рабочие, гремя лопатами и покрикивая друг на друга, стали сыпать этот уголь в подвал. Шарику все это не нравилось и он отчаянно лаял.

Во двор вышел дедушка и позвал меня с собой на стадион. По дороге я рассказал дедушке про Васильку, про людей, которые позвали его с собой. Дедушка покачал головой: «Гибнет человек! Не может взять себя в руки. Ну никакой силы воли. Сколько же горя от этой водки!..»

Дедушка вдруг остановился посреди дороги, будто забыл что-то дома, а сейчас вспомнил. Но он не повернул назад, а сжал мне руку и с необычной для него горячностью потребовал: «Вот дай мне сейчас твердое слово, что когда вырастешь, никогда-никогда не будешь пить ни вина, ни водки!»

Завидев, что в глазах дедушки взблеснули непрощенные слезы и он с трудом с ними справляется, я поспешно закивал головой: мол, никогда-никогда ничего подобного даже пробовать не стану.

Мы пошли дальше, миновали синюю будку, где летом продавали билеты на футбол, и вышли к футбольному полю. Никто не кричал, не вскакивал с места, пустые трибуны молчали.

Мы по ступенькам поднялись на самый верх. Я спросил у дедушки:

— Когда я стану футболистом, ты будешь болеть за меня?

— Буду, конечно.

— Ты вот сюда приходи — я буду знать, что ты здесь.

— Обязательно приду.

На дорожке появился одинокий бегун.

— Давай поболеем за него, а то ему скучно, наверное, одному бегать, — предложил я и стал подбивать дедушку громко, вместе, хором крикнуть «ура».

— Не шуми, давай так поболеем, про себя. Посмотри, какая вокруг тишь, гладь, да Божья благодать.

И в самом деле — благодать. С трибуны хорошо виден весь город: наша школа с заснеженной по краям крышей, строительный кран где-то у вокзала, Утиный мостик с деревянными перилами, седые главы Софийского собора, маленькие дети с мамами на Пушкинском бульваре.

Опустившиеся сумерки и потихоньку затеплившиеся повсюду окна делали город особенно уютным и немного игрушечным. Вот зажглись и большие неоновые буквы на универмаге: «Миру — мир!»

А бегун сошел с круга и скрылся, так и не узнав, что мы за него болели.

Перелетные дрова

Утром дедушка приносит из сарая дрова, складывает их в ванной — они весь день отходят, оттаивают, и по дому разносится свежий лесной дух, как будто за окном у нас не город, а лес с подберезовиками. Как будто эти дрова только что покололи. На самом-то деле их привезли к нам во двор еще прошлым летом. И до самой осени мы с дедушкой каждый вечер пилили эти дрова, кололи, складывали в поленицу.

Дров нам хватит еще и на эту зиму. Теперь дедушка с бабушкой зовут их *перелетными* — они перелетели из старого года в новый.

Ближе к вечеру дедушка садится на сундук у колонки, открывает заслонку, а я прилепляюсь рядом. Обдирая кору для затопки с березовых дров, слушаю, как дедушка рассказывает мне про свое детство, про маму свою и отца. Деда он не знал. Ему отец был заодно и дедушкой — и по возрасту, и по особенной ласковости их отношений. Фрол Яковлевич — так звали дедушкиного отца — был седенький, очень похожий лицом на Николая Угодника. В деревне его звали «Бог-с-тобой», потому что этими словами он начинал и заключал всякий разговор.

— Если про меня на селе спрашивали, чей это паренек, то говорили: «Да это сыночек Бог-с-тобой»...

Коля был поздним ребенком в большой семье, чуть не самой бедной во всей деревне. Отец нанимался батрачить то к мельнику, то на пасеку, то пастушествовал, и везде хвостиком лепился к нему маленький Коля.

Когда после революции стали растаскивать барское имение, вся деревня перессорилась, деля чужое имущество и землю. Один Бог-с-тобой в этой перепалке не участвовал и ничего чужого себе не взял. Мать Коли погибла от тифа, отец лишь на пять дней пережил ее. Умирая, он позвал к себе Колю: «Коля, ангел мой...» И успел еще сказать брату: «Паша, не оставь Колю...», но у того своих семеро по лавкам сидело.

И понесло Колю, как щепку в мартовском ручье. Побирался, батрачил, бродяжничал, питался в лесу опятами, работал писарем в татарском селе...

Я прошу дедушку рассказать про ночное. И хотя я уже много раз слышал этот рассказ, он для меня самый желанный. В самом слове *ночное* мне слышатся таинственные шорохи, потрескивание костра, шепот мальчишек, вздохи стреноженных коней,

видится небо полное звезд. Я ужасно завидую этим босым мальчишкам, моим ровесникам, которые уходят в ночное одни, как большие, и никто не загоняет их домой, не укладывает спать, не пичкает рыбьим жиром....

— И про лошадок расскажи, про Соколика и Звездочку! — прошу я.

Дедушка блаженно глядит в разгорающуюся печку колонки:

— Бывало, только скажешь: «Соколик, ножку!» — и он ее поднимает. Ты подумай — какое умное животное! Однажды меня в поле одного оставили, а как вышло? Я спал в сторонке, а тут вдруг потемнело, наши ребята испугались, собрали своих лошадей и ускакали в деревню. В сутолоке да беготне меня не хватились. Гроза идет, дождь льет, а я знай себе сплю. Проснулся я, когда вода уж под меня подобралась, да молния где-то рядом ударила — аж земля содрогнулась. Вскочил я, а в поле темнота, ничего не видно. Вдруг — опять сильная молния, и в эту секунду я увидел своих лошадей! Сбились вместе, будто ждут меня. Я забрался на Соколика, взял за повод Звездочку и скорее домой...

Дедушка берет кочергу и подпихивает дрова от края печурки поглубже.

— Эх, и когда мы с тобой поедем ко мне в деревню, на родину? — спрашивает он, и сам тут же отвечает: — Подрасти, подрасти чуток, а то нас бабушка непустит.

Ледоход

В страшную, с воем на чердаке, воробьиную ночь пришел пьяненький Василёк и попросил у дедушки денег. «Вы нас напугали... Идите, идите и больше не приходите... ночью. Да, на здоровье... Что на реке? А-а, ну хорошо, хорошо...»

Хлопает дверь, звенит цепочка. Дед рассказывает бабушке: «Приходил Васильков... Нет, ничего не случилось... Говорит, лед пошел. Да-да, лед... Я ему дал три рубля, а что делать? Катится по наклонной плоскости...»

После уроков дед заходит за мной, и мы идем не домой, а к реке.

Мы приходим к деревянному мосту у кукольного театра. На мосту уже много людей, и все смотрят вниз. Что-то под мостом бьется, колотится, сваи вздрагивают от того, что кто-то с неистовой силой жмет на них, трется и получается несусветный скрип. Кажется, какое-то упрямое чудовище прорывается под мостом и не может прорваться.

Мы вспоминаем, что бабушка просила нас купить на обратном пути молока. За молоком у магазина стоит очередь. Мне кажется, что она всегда там стоит — в дождь, в снег, в любое время года. Мы встали последними в этой тихой, почти немой очереди. Только когда подъехала машина с молокозавода, по очереди прошел вздох: «Ну, привезли, дождались...» Старики и старушки заново расставляли друг друга по местам.

Рабочие, небрежно разгружавшие машину, уронили один пакет с молоком, и по асфальту растеклась белая лужица. Старухи что-то зашептали сухими губами. Мелкими шагами очередь теснилась, будто бы двигалась. На самом деле движения почти не было.

Уже в темноте мы принесли домой шесть заветных пакетов молока и две пачки творога. «Вот счастье», — сказала бабушка.

После ужина дедушка ушел к соседу смотреть футбол, а я взял букварь и стал готовить выразительное чтение.

«...Слова бывают разные: веселые и грустные, маленькие и большие.

Вот слово *Вася*. Оно небольшое. Ведь Васе всего пять лет. Вырастет Вася. Вырастет и его имя. Васю станут называть Василий. А потом — Василий Петрович.

Есть еще вежливые слова: *спасибо, пожалуйста, здравствуйте*.

Есть слова очень важные: *октябренок, пионер*.

Но самое важное, самое дорогое слово — *Родина*.

Вдруг в дверь пронзительно, без передышки, звонят. Я ближе всех к порогу и бегу

открывать. Наверное, это баба Клава с третьего этажа, она думает, что бабушка одна, плохо слышит и надо звонить изо всех сил...

В дверях стоит Василёк. Он неуклюже навалился левым плечом на звонок.

— Здравствуй, Митька. На вот, передай дедушке, — и подает мне аккуратно сложенную вдвое десятку.

«Он опять пьяный, и зачем дедушка дает ему деньги?», — думаю я. Василёк садится на ящик против дверей: «Попить бы. Прямо из-под крана можно...»

Я приношу ему кипяченой воды из кастрюли.

— Хорошая у вас вода, душевная...

Он неохотно отдает мне стакан и неуверенно спускается вниз.

Через окно я вижу, как Василёк стоит в задумчивости посреди двора, поправляет шапку, похожую на воронье гнездо, потом ищет глазами наше окно и машет мне рукой. Я ему не отвечаю. Василёк исчезает.

Я снова сажусь за книжку. «Вот слово *Вася*. Оно небольшое...»

«Почему же я не помахал ему рукой? Ведь он же хороший, — думаю я, — ну, что, трудно мне было махнуть ему? А вдруг бы он понял, что я зову его и опять бы пришел. Нет, хорошо, что я ему не помахал. Может, он и не мне махал, а бабе Клаве, допустим. Он у нее тоже просил деньги, а она его ругала...»

Потом приходит дед, я отдаю ему десятку. «Хорошо, положи мне в стол. Давай-ка собирать портфель...»

— А на ледоход мы завтра пойдем?

— Я думаю, на ледоход мы опоздали.

— Как, совсем?

— Да, все льдины уплыли.

Ночью мне приснилось, что я плыву на льдине. А на другой льдине — Василёк. Вот мы проплыли город.

Мы машем друг другу, а народ с берега машет нам. Василёк смеется и кричит мне: «Скажи-ка, Митька, какое самое дорогое, самое главное слово, а?!» «Родина!!» — кричу я ему и просыпаюсь оттого, что это слово кувyrкается у меня на губах.

— Что ты, сыночка? — дед стоит у моей раскладушки и ищет выключатель у настольной лампы, — что ты, что ты...

Золотинки

Утром, вытряхнувшись из подъезда, я спешу отбежать от него скорее, чтобы тепло не манило назад.

Оказавшись за калиткой, торможу на минуту. Мои военные глаза защитного цвета выхватывают из утренних сумерек дальние огни школы. Убедившись, что школа на месте и ничего ей за ночь не сделалось, я берусь за тугие ремни ранца и натягиваю их еще туже, представляя себя десантником перед открытым люком.

Глядя на мои маневры у дороги, дворник окликает: «Митька! Гляди, все тетрадки раструсишь!»

Я вдруг узнаю этого дворника: это же Василёк!

— Что вы тут делаете? — удивляюсь я.

— Да вот, я на вашей улице теперь дворником...

— Здорово! — радуюсь я.

— Но ты беги-беги. Вернешься с пятерками — тогда и поговорим.

Я убегая на ту сторону дороги. Раздраженно, по-весеннему, кричат вороны, пролетая сквозь тополя. Их гнезда чернеют в верхушках безобразными кляксами. Снег, подвыпавший ночью, выбелил берег, речку и Утиный мост последней белизной, стыдливо тонкой.

Оставляя черные следы на мосту, я собираю на перилах горсть свежего снега и леплю из него упругий комочек. Не зная, куда его запустить, гляжу по сторонам.

И тут я вижу невдалеке Марину Гречухину. Она свернула с бульвара на мост и идет по нетронутому следами краю. «Опять важничает...» — думаю я, и у меня в руке крепчает снежок, наливаясь ледяной тяжестью.

Вдруг какая-то нежность трогает сердце и разливается теплом по рукам и ногам.

Когда я очнулся, Маринино пальто в черно-зеленую клеточку поднималось в гору, к школе. Я открыл кулак со снежком, никакого снежка там не было, одна грязная вода.

Маленькая точка, в которую превратилась Марина Гречухина, смешалась на крыльце школы с другими юркими точками и скрылась в зевающих дверях.

Я вернулся к началу моста, туда, где мои следы и следы Марины встретились. Потом я зачем-то пошел в обратном от школы направлении по следам Марины. Я отличал их на нетронutom снегу бульвара, но в том месте, где бульвар прерывался разъезженной дорогой, я сбился. Покрутившись у дороги, пропустив мимо себя несколько автобусов, остро пахнувших бензином, я вернулся на мост.

Точки на крыльце школы больше не сновали, и дверь не зевала. Светлело, и в некоторых классах выключили электричество. Но фонари упрямо горели. Таяла белая налеп на столбах.

До конца первого урока оставалось минут десять, когда я подошел к двери нашего класса. В щелку дуло знакомым теплом. Видна была часть доски, какая-то зеленая лиана от цветка, глаз поэта Некрасова и кусочек плаката со словами: «...кратким — Русь!..» А мне так хотелось увидеть Марину. Я слушал шелестящее дыхание из щелочки и пытался угадать в нем дыхание Марины.

Я решил пойти домой и сказать, что меня отпустили с уроков как внезапно заболевшего.

Не дожидаясь звонка, я выскочил на улицу в расстегнутом пальто, с шарфом в одной руке и ранцем в другой. На берегу реки неспеша застегнулся и закрутил шарф вокруг шеи. Я и вправду почувствовал себя больным. У меня болел лоб и горели щеки.

Я посмотрелся в ранец, как в зеркало. Из черноты ранца глянула болезненно большая голова в шапке с проседью. «Что ты со мной делаешь?..» — горестно подумал я о Марине Гречухиной.

Со своего берега я еще раз посмотрел на тот берег, где оставалась школа, а в школе — Марина. Я представил, как меняхватила учительница и как Марина рассказала, что видела меня на мосту. «Наверное, он там спасал кого-то, а сам утонул...» — скажет Марина. Учительница замашет на нее руками, Марина заплачет.

«Надо отойти от берега, пока они не бросились меня спасать», — решил я и пошел домой. Под ногами был не снег, как ранним утром, а лед, похожий на пористый мрамор. Машины брызгались так, что брызги перелетали через меня, не задевая.

Навстречу шли румяные женщины с тазами, они закрывались ими как щитами. Рядом шли малыши, увязанные платками до самых глаз. Я вспомнил, что сегодня суббота, и повеселел.

В небе бежали тучи, но они не смогли закрыть весь голубой цвет, и он вырывался наружу то там, то сям.

Василёк колотил ломиком лед и все на том же месте, что и утром, будто он хотел продолбить дырку в Америку. Слоистый лед отваливался вкусными кирпичиками, мелкие осколки разлетались, голубея в дрожащем воздухе.

Василёк напевал, колотя ломиком в такт своей песне:

Севастопольский вальс (ломиком — бамс!), золотые деньки!..

Нам светили в пути не раз (ломиком — бац!!)

Ваших глаз огоньки...

Василек посмотрел на меня, хмыкнул, видно, обнаружив в моей внешности какую-то виноватость, но не стал прерывать песню.

Мы вернулись домой, в Севастополь родной!..

Где как прежде каштаны цветут...

(Ломиком — бац!!)

Я шмыгнул во двор и сразу — в подъезд. Я никого не боялся, но мне очень хотелось подольше пожить тем, что случилось в это утро.

Привыкая к полумраку, я постоял у большой батареи, положив ладони на спину радиатора. Живое крепкое тепло пошло по рукам, будто это был конь, а не батарея, крашенная грязно-синей краской.

На площадке первого этажа, кроме двух квартир, была дверь в парадное. Там было что-то вроде общей кладовки. Даже старики не помнили, чтобы парадным когда-нибудь пользовались по назначению.

Я решил, что домой пока не пойду, а до обеда устроюсь в парадном. И тепло, и тихо. Можно подумать спокойно обо всем на свете.

В парадное зимой никто не заглядывал. Здесь пахло антресолями, военным сукном, дачей и сухими грибами. В старинных буфетах скучали пустые банки для варенья, на сундуках громоздились раскладушки, велосипеды, вокруг лежали перевязанные пачки старых газет и журналов, в углах торчали удочки. На буфетах жили игрушки, ванька-встанька тарашился в пыльный сумрак.

Я сбросил ранец и пальто, устроился на сундуке между вставшим на дыбы велосипедом и старой детской коляской и стал думать. Было даже слишком тихо для беспокойных и необычных мыслей. Только два раза тишина нарушалась отрывистым хлопаньем фанерной двери в подъезде.

От мыслей я быстро утомился. Забрался с ногами на сундук, положил пальто между колес детской коляски и решил думать лежа. Я увидел себя больным, маленьким, слабым. Шел снег в косую линейку. Какие-то люди склонялись над этим мальчиком, и он отмечал про себя: это бабушка, а вот это дедушка. Дед стоял у большого книжного шкафа, уходившего в небо, и смотрел толстую энциклопедию, где есть статья про мою болезнь. Но появлялись желтые люди, они копошились в комнате, лезли дедушке под ноги и мешали ему искать нужную страницу. Потом целая армия этих людей бежала к мосту, где были следы Марины на чистом снегу, и армия хотела затоптать эти следы.

...Я проболел до конца третьей четверти, а когда пришел после каникул в школу, то обнаружилось, что всех пересадили. Мне показали новое место — четвертая парта в первом ряду.

«Ты проболел все новые темы, — сказала Юль-Николавна, — будешь теперь сидеть с Гречухиной. Она не даст тебе опуститься на дно коллектива».

За окном светило солнце. В Марининых глазах дрожали золотинки.

Мурашкина монета

Мы с Мишкой встречаем на стадионе Сашку Мурашкина. Он как всегда улыбается, рад-радешенек. Я тоже улыбнулся ему, но снисходительно. Мол, ты один, а я с приятелем. И вот он, какой, мой приятель — речистый, бойкий отличник, не то что ты, Мурашка, — рохля и двоечник.

Сашка рассказывает, что отец дал ему пятнадцать копеек на мороженое. Мы недоверчиво хмыкаем — знаем, что Мурашкин-старший пьет и денег дома вечно нет.

Но Сашка и правда достает из кармана пятнадчик. Мишка рассматривает Сашину монетку и вдруг сует мне ее в руку и говорит: «Бежим!..»

Куда? зачем? — не задумываюсь. Я так привык, что Мишка — командир и надо его слушаться.

И вот бегу изо всех сил, Мишка тоже. Оглядываюсь: Сашка стоит еще несколько секунд в изумлении, и доверчивая улыбка не оставляет его веснушчатое лицо. Он бросается за нами, но где там! — мы дружно улетаем по беговой дорожке. Я сжимаю в кулаке монетку. Сашка начинает нагонять нас, и в тот момент, когда он уже готов схватить меня, я размахиваюсь и запускаю монетку на трибуну.

Я вижу Сашкино лицо — покрасневшее и потрясенное. Он не лезет драться, а просто тяжело дышит и беспомощно смотрит в ту сторону, куда я кинул монету.

Я тоже тяжело дышу и смотрю на пустую трибуну. Если бы взглядом можно было притягивать монеты, то она бы вернулась ко мне на ладонь. Но ученые еще не придумали такого магнитного взгляда, и я растерянно шмыгаю носом.

Мишка осуждающе смотрит на меня, будто бы он тут ни при чем.

Саша вдруг заплакал — тихо, беззвучно.

Я полез на трибуну, за мной полез и Мишка. Порылись в бумажках и шелухе, что лежали повсюду под скамейками, — ничего.

Мы разошлись по домам.

На другой день все открылось. Возвращаясь из школы, я увидел, что дедушка стоит у калитки. Я с испугом заметил на его лице выражение решимости и презрения.

— Ты брал у Саши Мурашкина пятнадцать копеек? — спросил дедушка, и я услышал в этих словах kloкочущий ужас перед тем, что я натворил.

Я замямлил что-то, низко опустив голову.

Когда мы вошли в дом, дедушка ушел к бабушке в спальню и закрыл дверь. Я слышал, как он там вздыхал и сокрушался: «И это наш внук!..» Бабушка сомневалась: «Не может быть, чтобы он... Это все Мишкины проделки...» Дедушка был безутешен.

Я стоял у белой двери, уткнувшись лбом в холод косяка. «Проклятая Мурашкина монетка, — ругался я про себя, — всю жизнь мне испортила!..»

Вечером дедушка собрался и ушел, ничего не сказав нам с бабушкой. Мы сидели и ждали его. Бабушка проронила лишь несколько слов: «Что ты делаешь с дедом, у него же сердце слабое...»

Дедушка пришел к ночи. Сквозь сон я услышал, как хлопнула дверь в коридоре.

На другой день я отозвал Сашку и извинился. Помню свой удвоившийся стыд, когда Сашка добродушно и удивленно принял мои извинения.

— А я давно тебя простил... У тебя такой дедушка!..

Глаза мои вмиг набухли от слез, мне нестерпимо захотелось плакать — за все эти дни, когда я почему-то не плакал.

Утро Победы

Девятое мая. Окна чистые, будто их и нет — бабушка мыла под праздники. После ночного дождя все во дворе сияет, как медное, — первые листья, лужицы, огородная тачка...

Тишина странная для праздника. Только что, на Первомай, бухали и гремели оркестры, в репродукторах бурлила музыка, выкрикивали что-то громкоговорители, за деревянным забором кипела бумажными цветами и шариками улица, хотелось бежать скорее, броситься в это людское море и вместе со всеми вопить оглушительное «Ура-а-а-а!»

А сегодня так тихо, что слышно, как далеко на вокзале диспетчер ворчит по громкой связи на нерасторопного составителя поездов Евдокимова.

Бабушка распахивает окно на кухне, и становится слышно, как на липах тихонько лепечут новорожденные листочки. Дождевая вода стоит в желобке между створок. Майской свежестью веет в комнаты.

Бабушка еще с вечера собралась стряпать и просит меня слетать в пирожковую. Я наспех одеваюсь, вылетаю во двор и мчусь на всех парах по пустой улице. Запахавшись, я не могу произнести ни слова и лишь тяну к повару полиэтиленовый мешок для теста. Повар уж знает меня, он одобритительно кивает и шлепает мне в пакет килограммовый увалень дрожжевого теста — набухающий, живой и только кажущийся безвольным. Тесто боится холода, и его надо спрятать за пазуху, и быстрее бежать, придерживая трясучий мешочек, как вдруг выросшее не на месте брюхо.

Вбегаю в дом, дедушка объявляет: «У тебя, кажется, сегодня личный рекорд — девять минут тридцать три секунды!»

Я вручаю бабушке тесто и тороплюсь скорей во двор. Вчера утром пришли рабочие и стали ломать, разбирать деревянные мостки, которые вели от калитки к подъезду. Под старыми досками открылись несметные сокровища: монетки, пуговицы, колечки, оброненные когда-то в щелки между досками.

Рабочие заасфальтировали половину двора и оставили свой каток возле нашего дома. Вечером мы с Мишкой, Сашкой и Серёжкой по очереди восседали на черном пружинистом кресле водителя. От катка замечательно пахло горячим мотором, теплым асфальтом и машинным маслом.

Мы договорились, что каток будет нашим танком. Я выпросил у дедушки полевую сумку. Серёжка сидел на катке в настоящем шлеме танкиста.

Прибежал Сашка, перепоясанный старым солдатским ремнем. Мишка вышел как всегда важный и даже с папкой; там у меня, говорит, секретные штабные документы.

Полдня мы бились с врагом, до хрипоты наорались «ура» и тут решили: баста, Победа! Мы вдруг сразу поняли, что каток — это уже не танк, а паровоз, и он повезет нас домой. Мы все в орденах и медалях, у Мишки полная папка наградных документов.

Паровоз, блестя чернотой на боках и алой звездой на груди, несет нас в сорок пятый год. Клубы дыма победно рвутся из трубы — будто белые пуховые платки летят по окрестным деревням и полустанкам. Старушки крестят поезд торопливой жменькой, девочки в белых косыночках машут вербочками, а белобрысые мальчишки в восторге бегут по первой траве и кричат: «Дяденьки, возьмите нас с собой!..»

Мы всех-всех берем с собой.

Мы победили. Мы скоро будем дома. Там нас ждет бабушка с пирожками.

Бабушка в больнице

Я влетаю домой и с порога забрасываю дедушку вопросами: «Пирожки готовы?! Они с чем — с капустой или с мясом? Я больше с мясом люблю. А ты какие, деда, любишь?..»

Дедушка молчит, и пирожками отчего-то с кухни не пахнет, а пахнет чем-то сердечным — то ли корвалолом, то ли валокордином. Неужели бабушка еще не испекла моих любимых пирожков, ведь тесто я принес давным-давно!

— Ты бы лучше спросил, как бабушка себя чувствует, — тихо говорит дедушка и уходит к бабушке в спальню.

Через час приехала «скорая» и увезла бабушку в больницу.

На целых две недели мы с дедушкой остались одни.

По вечерам, чтобы как-то развеять грусть, мы бродим по городу. Мимо обувной фабрики и магазина, где совсем недавно я с бабушкой покупал толстый, с дырочками, сыр, мы с дедом шагаем на пристань.

Вот ресторан «Чайка», он на самом берегу, шикарный, горит огнями и за тюлем кто-то ухает и кричит, что ему горько, горько, горько. И все люди, сидящие за тюлем, начинают кричать, как им горько. «Свадьба», — объясняет дедушка, и мы проходим мимо, спускаемся по деревянным ступенькам к причалу.

На причале парень с девушкой стоят у перил и смотрят на что-то в воде. А в воде ничего нет — ни рыбы, ни неба, она будто замерзла, штиль. Только у дебаркадера лениво-лениво плещется.

Подошел тарахтящий катер, у него за капитанской рубкой открытая палуба под навесом, на палубе — две скамейки и голая лампочка. Лампочка качается и то тухнет, то светит. Может, это специальный морской сигнал.

Больше никому не надо на тот берег, мы плывем одни. В пятиэтажном доме, к

которому мы плывем, на самом верху включили свет, наверное, на кухне. Видно, как двое сели за стол. Свет отразился в черной воде и поплыл вместе с нами.

Дедушка надевает на меня какую-то кофту, и мы сходим на берег, поднимаемся по крутой тропинке. Ищем нужный дедушке двор, на нас лают собаки и ворчат необъятные сонные тетки.

Во дворах сидят доминошники, громко мешают костяшки: «Ну, давай, Палыч, по последней...» Под дымок и огонек сигарет доигрывают.

— Смотри-ка, как с реки сегодня тянет...

Открываются ворота, и во двор въезжает «газик», воинственно, еще на скорости, разворачивается и слепит фарами. В свете фар оседает миллион пылинок. Дедушка говорит о чем-то с водителем «газика», а потом берет меня за руку, и мы уходим.

Фары на минуту ослепили меня или усталость навалилась, но я иду как слепой котенок, спотыкаяюсь и чуть не падаю в пустоту. Дедушка подхватывает меня и я вижу, что впереди светится «Чайка», по реке проносится моторка и огни ресторана пляшут на воде, то рассыпаясь на лунные зайчики, то снова вытягиваясь в ровные дорожки.

Катер словно ждал нас. Капитан-перевозчик протянул: «А-а, дед с внучком... Бабка-то, небось, потеряла вас?..»

— Не, — говорю я и прижимаюсь к деду.

— Отчего «не»-то? — спрашивает перевозчик и высыпает в карман дедову мелочь: два пятнадцатика и двадцатчик.

— А оттого, что наша бабушка в больнице, — отвечает ему дед, и мы уходим на самую корму.

Катер тарыхтит, и мы как-то очень медленно плывем, мне даже кажется, что мы плывем не туда. «Вот завезет он нас на остров и убьет», — думаю я и гляжу на деда — сказать ему об этом или промолчать? Пока промолчу, дед и без того разволновался. Он вспомнил о бабушке, как лежит она там сейчас одна, в больнице. Да, он думает именно об этом, у него всегда по глазам видно, что он думает о бабушке.

Домой мы идем через центр. Так гораздо дальше, но так безопаснее. У первой школы мы сворачиваем на проспект, идем мимо кинотеатра «Искра», мимо блинной в подвальчике. Сюда мы пойдем завтра обедать. Бабушка наказала: «Завтрак-ужин дома, а пообедайте в городе». Вот дедушка и нашел эту блинную. Здесь дают блинчики и ячменный кофе.

...Кажется, я все-таки умудрился уснуть по дороге. Дедушка занес меня на руках на второй этаж, посадил на ящик у дверей. Пока он возился с замком, я уже снова спал. На другой день дедушка рассказал мне, как он в армии спал на ходу, и я понял, что настоящий мужчина должен уметь спать на ходу.

Музыка

Когда бабушка вернулась из больницы, оказалось, что ей прописали прогулки на свежем воздухе. Мы стали каждый вечер ходить в парк железнодорожников. Там как раз начинался танцевальный сезон.

В закатных лучах солнца музыканты долго рассаживались в раковине сцены, пробовали на вкус инструменты. Потом к микрофону выходил кто-то толстый в белом пиджаке и важно объявлял: «Вальс "На сопках Манчжурии"..."»

Белые платья, сперва одно, а потом много начинали кружиться в лад с музыкой, с притихшим субботним городом. Нам очень нравилось смотреть, как нарядные пары кружатся под музыку.

На невысоком постаменте сидел, уютно подбоченившись, Ленин. Он глядел на

киоск с мороженым, а молоденькая мороженщица смотрела из окошечка на танцующих. Ей тоже, наверное, хотелось танцевать. Она вполне могла бы кружиться в своем белом халатике и белой шапочке.

И бабушке, я чувствую, тоже хотелось бы немножко потанцевать.

Иногда приходил Василёк, он стоял за белой оградой парка, не решаясь войти. Как-то я побежал к нему, обогнул ограду, но на том, месте, где стоял Василёк, уже никого не было. Только табачное облачко висело еще в воздухе.

А музыка играла что-то грандиозное и грустное одновременно. Блестели трубы музыкантов. На танцверанде царил духовой оркестр под управлением незабвенного Марка Цыпкуса. Сколько имен и фамилий забылось, а вот хоть посреди ночи разбуди — Марк Давыдович тут как тут. И запах сирени. И мороженщица в белом халатике. И музыканты — все гладко выбритые, в ослепительно белых сорочках, черных брюках и начищенных до блеска ботинках.

Это только кажется, что они не гнались за высоким исполнительским мастерством. Нет, это были настоящие музыканты, хранившие в чистоте и свой инструмент, и свою душу. У многих из них были сложные судьбы — одни прошли войну, другие лагеря, третьи выпивали и их не брали в симфонические оркестры — но все они очень серьезно относились к деревянной веранде, наспех выкрашенной белой краской.

Марк Цыпкус жил в детстве на проходной вологодского хлебозавода. В одной половине сидел вахтер, а в другой жила семья инженера Цыпкуса. Маленький Марк привык к тому, что в доме пахнет горячим хлебом, а днем и ночью толпится веселый и добрый народ.

Когда через много лет Цыпкуса назначат директором Дворца культуры, он первым делом откроет два дешевых буфета с пончиками и булочками и созовет к себе всех окрестных жителей.

И вот каждый божий день: одни чинно идут в зал (роскошный — с ложами и балконами, как в Большом театре!) на фильм или концерт. Другие — в балетную студию, в клуб молодой семьи, в библиотеку, на занятия шахматистов, в фотокружок...

А мы, мальчишки-дошкольники, просто бегаем по всему деревянному дворцу, издали похожему на шлем Ильи Муромца, — по уютнейшим переходам, торжественным лестницам, таинственным кулисам. Мы то пробираемся за тяжелую плюшевую штору в большой зал, где идет репетиция народного театра, то в малый зал, где показывают мультики, то проникаем в будку киномеханика; то, открыв рты, глазеем на девочек-балерин, похожих на сказочных мотыльков; то в библиотеке смотрим картинки в книжках, а то просто бродим по скрипучему паркету в фойе под портретами актрис и актеров... И нигде нас не гонят, тем более не выставляют за дверь, хотя мы наверняка путаемся у всех под ногами.

А вечером мы наблюдаем чудесное превращение толстенького, взъерошенного и взмокшего от хлопот директора ДК — в стройного, с иголочки одетого (в белых перчатках!) дирижера духового оркестра. Марк Давыдович взмывает на открытую веранду в парке, преображаясь в грандиозного Герберта фон Караяна. Трепетная белая перчатка — как бабочка. И вот вздохнули кусты сирени, и «Дунайские волны» полетели над парком.

Нет на свете ничего светлее, чем белые платья в сумерках.

Тетрадка со стюардессой

Блаженное море блаженного детства...

О. Павел Флоренский

Ну какие могут быть приключения у книжного мальчика? Какие вообще могут быть приключения у мальчика, который боялся качаться на качелях, боялся воды, высоты, темноты и даже кошек (сам я этого не помню, но недавно нашел старую открытку, где мама пишет мне: «Милый Димусик! Ты все еще боишься кошек?..»)

И все-таки благодаря книжкам — приключения были. Воображаемые и самые настоящие.

Приключением была каждая новая книжка. Ее появление производит в доме целый переполох. Ее передают из рук в руки, ее кладут на самое чистое и почетное место, из-за нее иногда спорят за обедом, на нее все вместе любуются, а иногда ее даже нюхают. И я нюхаю. Ужасно нравится мне прохладный запах бумаги, клея, краски и еще чего-то загадочного.

Я пока не умею читать, но уже люблю книжные магазины, куда мы с дедушкой Колей навещаемся чуть не каждый день. Мы идем туда по деревянным мосткам, видим гусей в лужах, косцов на берегу реки, мохнатых лошадей-тяжеловозов.

Мой нос еще с трудом дотягивается до прилавка, но запах новеньких книг в магазине подписных изданий кажется мне самым прекрасным на свете.

Когда через много лет я увидел на картинке интерьер книжной лавки времен Пушкина, то сразу вспомнил вологодский магазин подписных изданий: шкафы до потолка, широкие деревянные прилавки.

Нынешним летом я был в Вологде и спрашивал старых знакомых про книжные магазины. Оказалось, что из памятных мне книжных уцелел один. Давно нет ни Дома книги (длинной почти в квартал!), ни «Военной книги», ни «Политкниги», ни букинистического. А про магазин подписных изданий и вовсе никто не помнит. Это более всего для меня удивительно: как же так, он был в самом центре города, в десяти шагах от памятника Ленину — и никто не помнит!

В 1960-х годах детские отделы в книжных магазинах были бедными. Красивые иллюстрированные издания расхватывали моментально. Поэтому новые детские книжки появлялись в нашем доме чаще всего с почты. Их присылал мне другой мой дедушка, мамин папа Леонид Иванович Рымаренко. Я звал его уральским дедушкой или Дедом с усами, поскольку вологодский дед никогда усов не носил.

Дед с усами — режиссер научно-популярного кино — почти все время был в экспедициях. Теперь по старым детским книжкам я узнаю о его маршрутах — на каждой есть дедушкина дарственная надпись.

«Димусе. Кировск. 9 марта 1968».

«Димуське от деда с усами. Симферополь. 23.09.1968».

«Дорогому внуку. Одесса. 15.10.1969».

«Дорогому Димусе в память совместного плавания на утлом корабле «Норд» в буйном Кубенском озере. 8—9 июля 1971. Дед с усами».

Дедушка без усов, дедушка Коля, в свою очередь ставил на спинке каждой книжки дату того дня, когда мы ее прочитали. В дедушкиных письмах маме и папе среди повседневных новостей часто упоминаются и детские книжки. Особенно зимой.

16 января 1966 г. Мороз у нас все крепчает, сегодня —35, и держит нас дома взаперти. Я сегодня из дома совсем не выходил, просидел целый день с Димой. Он очень любит, чтобы ему читали, может слушать без конца. То и дело заставляет меня читать ему, в особенности новые книжки. Вчера бабушка ему купила красивую книжку «Русские сказки», и вот ее-то мы сегодня читали, некоторые сказки по несколько раз...

17 января

Мы с Димой продолжаем сидеть дома. Сегодня мороз поменьше, —25. Ему уже дома надоело, хочется на улицу, но приходится пережидать холода. Сегодня прочитали с ним две книжки: С. Михалкова "Осел и бобер" и Зденека Миллера "Крот и ракета".

18 января

Сегодня у нас мороз поменьше, всего —18. Сегодня мы с ним прочитали такие книжки: "Храбрый утенок" Б. Житкова, "Круглый год" — С. Маршака и "Приключения Пифа".

14 февраля

У нас мороз пока не прекращается. Сегодня —27, да еще ветерок. Был в книжном магазине, купил Диме книжку "Три охотника" Носова. Мы с ним сразу залпом прочитали эту книгу.

15 февраля

Мороз сегодня немного полегче —17. Я зашел на почту и получил вашу бандероль. Книжка сказок Андерсена действительно хороша.

16 февраля

Вечером мы с Димой читали Чуковского, он любит слушать этого писателя и многое из прочитанного помнит.

19 февраля

У нас наступила теплая погода, холода куда-то переместились. Пробовал ставить пластинку с "Мойдодыром" с авторским чтением, но Диме не понравилось, каким дубовым голосом читает Чуковский, точно в барабан бьет. Сегодня я купил Диме и уже прочитал ему книжку "Трудный вечер" Н. Артюховой...

27 февраля

Утром у нас было холодно, температура — 24. До обеда мы на улицу не ходили, а после того как Дима поспал, бабушка с ним ходила гулять. Купил ему сегодня с красивыми картинками и рисунками книжку "Муха-Цокотуха". Рисунки очень хорошего художника В. Конашевича...

28 февраля

Днем я сегодня ходил в городскую баню, а бабушка с Димой гуляли на улице, а вечером мы с ним ходили в библиотеку менять книги...

* * *

Вологодские библиотеки моего детства иногда снятся мне.

Вот мне лет пять, и мы с дедушкой идем в синих зимних сумерках по тропинке между высоких сугробов. Еще издалека сияет веселыми огнями ДКЖ — Дворец культуры железнодорожников.

С торца — крыльцо библиотеки. У двери — веник. Дедушка обметает мне валенки, и мы входим в тесное тепло, в царство зачитанных, много чего повидавших книжек. Они пахнут не пылью, а печным дымом, леденцами, иногда даже щенками и кошками. У этих книжек лохматятся уголки, вываливаются страницы. Они наверняка участвовали в каких-то потасовках. Их корешки часто в заплатках, а на обложках красуются кляксы или пятна от мороженого.

У нас дома книг не меньше, чем в этой библиотеке, но таких бывалых нет, и я

набираю штук пять. Дедушка расписывается за них, и мы счастливые выходим на мороз.

Что стало с первой библиотекой моего детства? Нынешним летом я сел на вечерний поезд до Вологды.

Поезд пришел в утренних сумерках, но дорогу к Дворцу культуры железнодорожников я бы нашел даже с завязанными глазами. Громада дворца темнела в парке как корабль, налетевший на скалы. Ни огонька в окнах. Наверное, еще слишком рано. Но почему ни одной афиши у входа?..

Подошел к крыльцу, где еще в девяностых годах была библиотека, — ступеньки заросли крапивой, дверь намертво заколочена. Дворец заброшен уже несколько лет. И не глухая же деревня, а центр областного города! И была здесь не только библиотека, а два кинозала, десятки кружков, духовой оркестр, одна из лучших в стране детских балетных студий, знаменитый фотоклуб, хоровые коллективы...

«Никогда не возвращайтесь в прежние места...»

* * *

Раньше любовь к книге не нуждалась в объяснениях. Сегодня — это чудачество. Я и сам не думал об этом, любил и все. Но все же интересно: откуда — сила, тайна, постоянство, неизбывность этой любви?..

Первое стихотворение, которое произвело на меня сильное впечатление:

Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника...

(Перевод Чуковского, а не Маршака.)

Я все понимал буквально и весьма опечалился гибелью сорока невинных человек. И еще я подумал: если это стихи для детей, то что же такое стихи для взрослых?!

* * *

Честно говоря, я и сказки не любил. Чтение любой книжки начиналось с моего вопроса: «Это по правде или понарошку?» Мне очень хотелось, чтобы все в книжках было по правде, как в жизни. Если мама, папа или дедушка говорили мне, что это такая история, придуманная писателем, или народная сказка, то я был страшно разочарован: «Ска-а-зка... А я-то думал...» Почему-то я чувствовал себя обманутым.

При этом я вовсе не был правдолюбом, много и охотно врал. При необходимости готов был насочинять с три короба. Но от книжек я требовал правды и только правды.

Я уже ходил в школу, когда мама попыталась объяснить мне, что литература тем и прекрасна, что она создает свой мир. У Пушкина и Андерсена, у Шарля Перро и братьев Гримм — у всех свой неповторимый мир. Даже у писателя Бианки, который пишет про настоящих, а не придуманных зверьков, живущих в настоящем, а не сказочном лесу, — и у него свой особенный мир. И у каждого из этих миров своя, художественная правда.

Когда же мне, дошколенку, читал дедушка Коля, то он не пускался в объяснения, а просто откладывал сказки и разворачивал свежую газету, откуда выбирал те сообщения, которые считал доступным моему пониманию. Чаще всего это были забавные заметки, печатавшиеся столбиком под рубрикой «Это любопытно».

Иногда я слышал, как дедушка читает бабушке газету вслух. Это мог быть и очерк, и передовая статья, и отрывок из доклада. И это чтение не пролетало мимо моих ушей. Мне нравилось, что все эти жанры хорошо заканчиваются, чем выгодно отличаются от сказок и стихов, где могут быть жертвы.

Почему-то именно весной, как я заметил, доклады, как вода в половодье, затопляли всю газету от первой до последней полосы. Дедушка храбро нырял в это пугающее крошево букв. Он находил в тексте какие-то более или менее эмоциональные моменты и прочувствованно их зачитывал. Бабушка говорила, что дедушке полезно совершенствоваться в риторике, ведь ему приходилось несколько раз в год выступать на собрании ветеранов.

В результате партийно-советской риторикой я овладел раньше, чем прочитал букварь, а вскоре с головой ушел в сочинение докладов. Доклады же, как и стихи, требуют сочувствующей аудитории.

1 мая 1969 года я вышел во двор вместе со своим приятелем Мишкой. За несколько минут мы соорудили из ящиков трибуну, а затем я прочитал доклад для взрослых и детей, гулявших во дворе по случаю праздника и хорошей погоды.левой рукой я прижимал к ящику бумажку с докладом, чтобы она не улетела, а правой иногда помахивал, подражая ораторам в Кремлевском дворце съездов.

Первым делом я сообщил собравшимся, что *«1 мая — праздник всех трудящихся всего Советского мира. Этот праздник будет отмечаться и за рубежом: в Италии, Англии, Аврании, в Парижи...»* Мишка изо всех сил захлопал в ладоши. Малыши радостно запищали. Старичок Иван Матвеевич весело подмигнул мне: мол, так держать!

Покачивая ладошкой для того, чтобы вновь наступила тишина, я заглянул в бумажку и внезапно огорошил собравшихся крайне неприятным известием: «У нас появился второй враг, это Китай». Глаза старушек налились слезами, а Иван Матвеевич потемнел лицом и стянул с головы облезлую шапку. «А первый враг — Америка», — напомнил я и сердито помахал кулачком.

Тут я заметил, что все как-то осунулись и опечалились. Догадавшись, что переборщил, я поскорее перешел к положительным фактам из местной жизни. «У нас в Вологде, — радостно сообщил я, — будут строиться девяти- и шеснацителиэтажные дома...»

Старушки заулыбались. Иван Матвеевич надел шапку. Малышня закричала «Ура!» Я утонул в аплодисментах.

Бабушка, ставшая свидетелем моего триумфа, забрала у меня бумажку с докладом и отдала дедушке на вечное хранение.

Недавно я написал книжку о поэтах 1812 года — Батюшкове, Жуковском, Вяземском... Мне хотелось, чтобы получилась книжка для мальчишек. Я старался, чтобы она была бравая, веселая, чтобы в ней слышался сабель звон. Книжка вышла. И вот минувшей осенью меня как автора пригласили на презентацию. Проходила она на книжной ярмарке на ВДНХ. Дали мне микрофон — рассказывайте. Смотрю в зал: а там десять старушек сидят, один старичок и две девочки с косичками. Мне сразу вспомнился наш двор. Мне захотелось взмахнуть заготовленными листочками и сказать что-то вроде: «Ура, товарищи! Мы победили французов и взяли Париж!..»

* * *

Именно в то время, когда я только учился читать, произошли трагические события на острове Даманском. Почти вся наша застава на Даманском погибла в неравном бою с китайцами. Портреты погибших пограничников я вырезал из газеты. Поэтому больше всего я уважал истории про пограничников. Без конца перечитывал

«Что случилось на границе» Виталия Коржикова, «Шел по улице солдат» Сергея Баруздина и «Собаку Клык» болгарского писателя Бориса Ташева.

* * *

Летний вечер. Незнакомая старушка заглядывает во двор:

— У вас журнал «Огонек» дают почитать?

— У нас, у нас! — радостно откликаемся мы и бежим открывать дедушкину сарайку (в Вологде говорят не «сарай», а ласково — «сарайка»). Там летом открывалась дворовая библиотека, очевидно, единственная в своем роде в нашем городе. Она возникла в то утро, когда в поисках макулатуры для школы мы с Мишкой и Серёжкой позвонили в очередную квартиру. Нам открыл высокий парень, похожий на художника. Он доброжелательно поглядел на нас, а потом открыл сундук в коридоре, и мы ахнули. Сундук был полон удивительно красивых, ну просто новеньких, журналов. Каких тут только не было! «Советский Союз», «Искусство», «Архитектура», «Вокруг света», даже «Корея» и «Албания»... «И все это нам?» — завопили мы восхищенно. «Вам», — вздохнул художник. Мы схватили, кто сколько мог унести. И полетели вниз по лестнице. Но сразу, на ходу мы решили, что такую красоту невозможно отдать в макулатуру. У нас будет библиотека!

До нашего двора был целый квартал, и после двух-трех пробежек от художника и обратно мы запыхались и решили трубить общий сбор. Мишка побежал за ребятами с нашего двора, а Серёжка — за своим младшим братом Валеркой. В конце концов нас собралось человек двенадцать. Одни спускали журналы во двор, другие тащили их к забору, третьи сидели на заборе и передавали пачки на улицу, где четвертые принимали ценный груз, а пятые тащили его к нашему двору...

На другой день над нашей сарайкой появилась табличка «Библиотека им. А.Пушкина», рядом были сколочены стол и скамейка, а вечером не было отбоя от читателей. Вскоре нам пришлось завести настоящие формуляры — приходили не только соседи, но и почти незнакомые люди из окрестных дворов.

* * *

Предпочитая правду жизни любой сказочной фантазии, я с удовольствием рассматривал справочники и энциклопедии. Особенной моей любовью пользовалась детская энциклопедия в двух томах. В ней с деревенской обстоятельностью и дотошностью объяснялись многообразные понятия. Такая приземленность мне нравилась, и к некоторым статьям и картинкам я особенно часто возвращался.

А получил я этот царский подарок на день рождения от своей первой учительницы Юлии Николаевны Архиповой. Мне исполнилось восемь лет, книжками я был избалован и не очень удивился ее подарку. Сейчас же меня это поражает: ведь в нашем классе было сорок мальчиков и девочек! Даже если Юлия Николаевна дарила другим детям куда более скромные подарки, ее собственные дети должны были бы погибнуть от голода. Жить ей было бы не на что.

* * *

Однажды дедушка прочитал мне заметку из «Недели» о том, что в какой-то из южных стран охотники нашли в джунглях мальчика, воспитанного то ли волками, то ли медведями. Этого мальчика привезли в город и пытались приучить к человеческой жизни, но из этого ничего не получалось.

Я тут же вспомнил книгу про Маугли. Ее автор, английский писатель Редьярд Киплинг сразу вырос в моих глазах. Еще бы! Киплинг не придумал историю про мальчика, воспитанного волками, а взял ее из жизни!

История же из газеты про нового Маугли, моего ровесника, так взволновала меня, что я все время думал про него и каждый день заставлял дедушку искать в свежих газетах продолжение. Но продолжения не было и через неделю, и через месяц, и через полгода, и тогда мы с дедушкой решили написать в редакцию и узнать, что там слышно о судьбе нового Маугли. Если он привык к городской жизни, то я бы позвал его в гости. На велосипеде бы ему дал покататься. А потом мы забрались бы на колокольню, оттуда весь наш город — как на ладони.

Еще мне страшно хотелось услышать рассказы Маугли о его приключениях в джунглях. Это вам не Киплинг, это сам Маугли расскажет! Да и вообще интересно было бы иметь такого друга.

Ответ из редакции пришел очень быстро. До сих пор я зачем-то храню эту совсем пожелтевшую бумажку с отпечатанным на машинке письмом: «...Ты спрашиваешь о Маугли — к сожалению, ничего интересного сообщить тебе не можем. Он больной человек и по-прежнему находится под наблюдением врачей. А раз так, то, конечно же, его жаль. И писать о нем в газете, наверное, не стоит. Будь здоров».

Какое уж тут «будь здоров»! Я чуть не заболел от такого письма. Плакал, конечно. А пока плакал, вдруг впервые почувствовал, как милосердна сказка. Как она добра и к своим героям, и к читателям. Как много особенной, высшей правды в том, что она всегда заканчивается хорошо.

Вот и в конце той истории, которую рассказал Киплинг (и пересказал К.Чуковский), Маугли — благородный, отважный, ловкий, им восхищаются и люди, и звери. Невозможно представить его беспомощным, загнанным, в белой палате, среди врачей. Я сам, сам разрушил сказку!

* * *

Это странно, но сказки я очень полюбил в отрочестве, когда мама читала их моей младшей сестренке. Очевидно, в этой запоздалой любви сказывалось мое желание побыть еще маленьким. Я жадно слушал сказки, будто пытался наверстать упущенное.

Сейчас дивлюсь: и когда мама успевала нам читать! На ней ведь было и домашнее хозяйство, и работа, за которой приходилось засиживаться до двух часов ночи, и очереди в магазинах за самыми простыми продуктами. А еще мы с сестренкой часто болели, и тогда мама просто разрывалась между работой, кухней, аптеками и больницами. Но по вечерам, когда мама читала нам, было ощущение покоя, уюта и тихой радости.

При приглушенном свете торшера мамин голос будто ткал для нас узорный ковер, и на нем возникали наши любимые герои: Конёк-Горбунок и Дюймовочка, Маленький Принц и дети капитана Гранта, добрая девочка Лоскутик и озорной непоседа Эмиль из Лённеберги, Кай и Герда, лисенок Людвиг Шестнадцатый и Чипполино, Том Сойер и Гекльберри Финн, Джельсомино и Алиса, благочестивое семейство милых Муми-троллей...

* * *

Конечно, если бы в двенадцать лет я только слушал перед сном сказки и больше бы ничего не читал, это выглядело бы, говоря языком нынешних докторов, задержкой в развитии. Но в том-то и фокус, что сказки каким-то образом помогали мне быстро освоиться во «взрослой» литературе, и я стал читать все, что попадется мне под руку, быстро превращаясь в книгомана.

Чтобы как-то упорядочить мое чтение, мама предложила мне вести читательский дневник, и благодаря этому, сейчас (через тридцать четыре года!) я легко могу вспомнить круг своего чтения в 1974 году.

Читательские дневники вели в нашей семье не только мама, но и дедушка с усами и дедушка без усов, поэтому маме не пришлось убеждать меня в необходимости записывать по несколько слов о прочитанных книжках. Мне самому эта идея очень понравилась. Я почувствовал, что в этой личной тетрадке я буду свободен от школьных оценок и взрослых мнений.

В знак утверждения этой обретенной свободы на обложку своей тетрадки я приклеил картинку из аэрофлотовского буклета для интуристов — приветливая девушка в красном костюме и белых перчатках приглашает в полет на комфортабельном самолете Ан-24.

На первой же странице я нарисовал (вернее перевел под копирку) одного из битлов. Тут же приклеил вырезанную откуда-то цитату из Патриса Лумумбы: «Независимость завоевана нами в борьбе, в борьбе повседневной, упорной, трудной, в борьбе, где нас не останавливали ни лишения, ни страдания, ни огромные жертвы».

К откровенным отзывам о книжках я еще не был готов, поэтому просто записывал названия и автора. Под номером один в тетрадку была вписана книжка «Страна филателия» Б. Кисина. Тут же хозяин тетрадки не без гордости пометил, что его личная коллекция марок с животными насчитывает 426 марок.

После замечательной, надо думать, книжки о марках послушно следуют Борис Житков с «Морскими рассказами», Лев Толстой с «Детством», М. Ефетов с «Валдайскими колокольцами» и В. Клепов с «Тайной золотой долины». Житков, помню, понравился. «Детство» показалось тягостным; вряд ли я одолел его полностью. Последние две книжки вовсе скрылись в тумане, ничего о них, к стыду своему, не помню.

* * *

В зимние каникулы я увлекся героическими книжками. Тут и «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, и «Рассказы о неизвестных героях» С.Смирнова и книжка партизана Д.Медведева «По долинам и по взгорьям». В апреле я отправился в «Путешествие на "Кон-Тики"», а еще мама читала нам книгу легендарного В.Арсеньева «В дебрях Уссурийского края».

В чтении Арсеньева было особенное очарование, поскольку о Владимире Клавдиевиче и его приключениях мы с сестренкой слышали еще раньше — и от мамы, и от дедушки, и, главное, от дяди Саши Литвинова.

Дядя Саша — это кинорежиссер, создатель этнографического направления в отечественном научно-популярном кино Александр Аркадьевич Литвинов. В юности он учился на медицинском факультете Бакинского университета, но после случайной встречи с Яковом Протазановым и Иваном Мозжухиным бросил медицину и посвятил себя кино.

В 1928 году Александр Литвинов вместе с оператором П.Мершиным совершил первую в истории нашего кино экспедицию по уссурийской тайге с кинокамерой. А готовить эту экспедицию (от разработки маршрута до снаряжения) помогал сам Арсеньев. Результатом этого творческого сотрудничества стали два фильма, которые вошли в историю мирового кинематографа: «Лесные люди» и «По дебрям Уссурийского края». Вскоре Александр Литвинов отправляется в новую киноэкспедицию, на этот раз (опять же по совету Арсеньева) — на Камчатку. Путешествие заняло двадцать месяцев — то на лошадях, то на собаках, то на долбленых лодках. Материала хватило на четыре документальных и один художественный фильм. До 1941 года молодой режиссер успел организовать и провести семь больших и весьма рискованных экспедиций.

Мои дед и бабушка, кинорежиссеры Леонид Иванович Рымаренко и Вера

Елисеевна Волянская, подружилась с Литвиновым и его женой Ниной Платоновной во время войны, в работе над учебными фильмами для фронта. Долго были соседями по студийному дому в Свердловске. Дядя Саша был деликатнейшим, изумительно интеллигентным человеком. Представить его отважным путешественником в тайге, среди медведей и тигров было невозможно.

Мы очень любили этого доброго человека, который даже в кругу близких людей стремился задвинуться куда-нибудь в тень и тихонько там пыхать трубочкой. Вспоминается чье-то точное наблюдение: «Интеллигент — это тот, кто занимает мало места». Очевидно, эта деликатность, способность уйти в тень и помогла молодому режиссеру так снять осторожных и застенчивых удэгейцев, будто на них смотрит не объектив громоздкой кинокамеры, а какая-нибудь махонькая птичка с ветки.

По малости лет мы, конечно, совершенно не понимали, что имеем дело с выдающимся человеком. Вот и в моем читательском дневнике, на обратной стороне обложки, рядом с телефонами одноклассников написано просто: «дядя Саша и тетя Нина»...

Через три года после того, как мама читала нам по вечерам Арсеньева, я сидел в больнице рядом с умирающим дядей Сашей. Он уже не мог говорить, но смотрел на меня из-за нагромождения капельниц так ласково, что я с трудом удерживался от слёз. Что-то рассказывал ему про школу, про книжки, про фильм Куросавы «Дерсу Узала», который как раз тогда (в 1977 году) вышел на экраны. Роль Арсеньева там играл Юрий Соломин.

* * *

В весенние каникулы я взялся за Герберта Уэллса — «Человек-невидимка», «Война миров», «Когда спящий проснется». «Невидимкой» я просто бредил, повсюду мне мерещились следы присутствия этого загадочного и несчастного человека. По дороге в школу я оглядывался то на разные бесхозные предметы, то на свежие следы, казавшиеся мне странными. С деревьев падали снежные шапки. И это тоже казалось мне свидетельством присутствия в мире кого-то таинственного и невидимого. Даже дома, оставшись один, я вдруг чувствовал на себе чей-то взгляд и тогда боялся пошевелиться.

Недавно прочитал в статье психолога: «Ребенок по природе своей мистик» — и тут же вспомнил свои книжные страхи. Впрочем, Уэллс — это было не так страшно, как Конан Дойль с его «Собакой Баскервилей». Книгу о Шерлоке Холмсе и Ватсоне я случайно проглотил на каникулах после третьего класса, вытащив ее без спроса с верхней полки дедушкиного шкафа. Так увлекся, что читал с фонариком, когда дедушка с бабушкой уже спали. И все бы хорошо, но, прочитав про эту собаку с торфяного болота, я чуть не онемел от ужаса. Вновь, как в самом раннем детстве, я стал бояться темноты и собак. При этом не признавался в своих страхах взрослым, ведь мне уже было десять лет. Утром я не мог без содрогания смотреть на злополучный том из собрания классика английской литературы и спрятал его на место.

Последствия прививки страха оказались куда печальнее, чем этого можно было бы ожидать от книжки, которую без всяких последствий для психики прочитали многие поколения мальчишек и девчонок. Я навсегда возненавидел детективный жанр и в литературе, и в кино. Даже знаменитый фильм с Борисом Ливановым и Виталием Соломиным, который повторяют во все праздники, не вызывает у меня теплых чувств. Бесспорные достоинства этой экранизации навсегда скрыты от меня тенью собаки Баскервилей. Наверное, это глупо, но ничего с собой поделать не могу.

Понятно, что имея такой детский опыт, я никогда и ничем не пугал своих детей. И я убежден, что как нельзя детей пугать в жизни, так нельзя и в литературе. Мне

представляется большим несчастьем, что теперь в детской литературе узаконен жанр страшилок и ужасиков. В любом книжном магазине вам покажут целые полки этой предательской литературы. Почему предательской? Потому что за каждой победой страха над ребенком стоит вольное или невольное предательство взрослых. В наказание оставили одного в комнате без света; рассказали, прочитали или показали что-то страшное; припугнули, чтобы замолчал... Разве все это не предательство?

Вот почему «Собака Баскервией» не попала в мой читательский дневник, я ее туда не записал, очевидно, пытаюсь таким образом вытолкать ее из памяти.

Я убежден, что призвание детской литературы спасать от страхов, а не множить их. Из каждой сказки, из каждой книжки ребенок должен выходить радостным, утешенным и укрепленным этой радостью. Как говорится в оберегающей молитве (90-й псалом святого царя Давида «Живый в помощи...», текст которого с древних времен и по сию пору заботливые матери вкладывают в детскую одежду, если ребенок отправляется в дорогу): «Не убоишися от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тме преходящая... Не придет к тебе зло, и рана не приблизится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих...»

Когда речь идет о детях, литература становится областью столь же ответственной и деликатной, как медицина. И первым девизом тут должно быть: «Не навреди!»

* * *

Возможно, что самые заветные книги я не отметил в читательском дневнике. Очевидно, было ощущение, что такое не забудется. Что это событие какого-то другого порядка.

Есть книги, с которыми мы встречаемся, что-то переживаем вместе с ними, а потом расстаемся. А есть книги, которые остаются с нами жить. И не столько сама книга во плоти бумажных страниц и картонной обложки, и даже не содержание ее, а вот то облако надежд, любви, счастья, которым окутано время, когда мы читали эту книгу. В этом облаке — и мир самой книжки, и мы, тогдашние, и весь тогдашний мир, увиденный будто сквозь эти страницы, как сквозь прекрасное увеличительное стекло. Нам даже не надо ничего перечитывать, чтобы увидеть свое отражение в той книжке. Весь ее набор уже давно просыпался в нашу кровь и растворился, и мы сами уже отчасти книга, и наши голоса с возрастом начинают шелестеть, подражая страницам старых книг.

* * *

Летом после девятого класса я забрел в библиотеку и, покопавшись в картотечных ящиках, обнаружил сочинения Владимира Сергеевича Соловьева 1909 года издания. Неужели этот тот самый философ, заклеенный в учебниках словами «идеалист» и «мистик», таинственный чудака, длинноволосый, как нынешние хиппи? Ничего соловьевского я не читал и стал терпеливо ждать в читальном зале, когда откуда-то из недр библиотеки мне принесут заветные книжки.

И вот передо мной два старинных тома. Заглядываю в первый. «Истина есть сущее всеединое...» Скучно. А за открытым высоким окном — июнь, липы цветут, велосипеды звенят. И кто это меня поманил Соловьевым? Наверное, Блок.

Я уже хотел вернуть книги, но решил на всякий случай заглянуть и во второй том. «Дорогая Катя! Отвечаю тебе прямо: я люблю тебя, насколько способен любить»... «Дорогая моя, радость моя Катя, всю эту ночь хочу посвятить беседе с тобою»... «Дорогая моя Катя, собираюсь сегодня много говорить с тобою и сначала о самом важном»...

Катя Романова — 17-летняя кузина Владимира Соловьева, отличавшаяся «жут-

кой и губительной красотой». Они влюбились друг в друга летом 1871 года. Двадцать лет спустя в автобиографическом рассказе «На заре туманной юности...» Владимир Сергеевич вспомнит: «Мне было тогда 19 лет, это было в конце мая, я только что перешел на последний курс университета и ехал из Москвы в Харьков, где должен был иметь чрезвычайно важное объяснение с одною своею кузиною...»

Не знаю, сколько часов я просидел над этими письмами, так непохожими на то, что люди привыкли называть любовной перепиской. Но эта далекость от тривиальности и пленяла. Мне тут же захотелось быть таким же умственно пылким, всезнающим, с такими же мучительными и головокружительными идеалами, к которым я звал бы свою девушку. Она бы, конечно, не вполне меня понимала, но не смогла бы меня не полюбить за столь редкоземельные мысли и слова.

После скучных прописей научного атеизма было радостно найти у Соловьева подтверждение собственным догадкам: «Все великие мыслители были истинно и глубоко верующими... Атеистами были только пустые болтуны». Вообще, все что внушал Владимир Соловьев своей кузине, — все это было так необычно, странно и свежо, и высказано было с таким жаром, что кровь прилиwała к лицу. Особенно меня воодушевляло то, что Соловьев в ту пору, когда он писал письма очаровательной кузине, был практически моим ровесником.

Из письма Владимира Соловьева — Екатерине Романовой:

«...Если бы мы всегда были в полной темноте и ничего не знали о свете, то мы не жаловались бы на темноту и не искали бы света. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте, и какими средствами можно ее достигнуть...»

Ясно, что после Соловьева моя жизнь должна совершенно измениться. Как она изменится — я еще не понимал, но чувствовал твердую решимость кому-то заявить об этом. Время от времени, переполненный Соловьевым, я оглядывался на тенистый читальный зал в поисках той единственной, которая могла бы оценить мою решимость и найденные мной у Соловьева идеалы. Но позади меня сидели только два старичка-краеоведа и один замученный аспирант. В который раз я искренне недоумевал: отчего девушки обходят стороной такое укромное, прелестное во всех отношениях место, как библиотека.

Очнулся я только когда библиотекарь прикрыла окно и сказала, что читальный зал через пять минут закрывается.

Я вышел на улицу. Длинные тени от тополей тянулись через дорогу. Прохлада холодила виски. Я прижимал к груди тетрадку, полную выписок из Соловьева. Последнее, что я успел выписать, было чуть ли не самым ценным: «Что касается моего мнения о способности женщины понимать высшую истину, то без всякого сомнения — вполне способна... Но дело в том, что по своей пассивной природе она не может сама найти эту истину, а должна получить ее от мужчины. Это факт...».

Июньский вечер, как мне казалось, был лучшей порой для того, чтобы где-нибудь на скамейке поделить высшей истиной с какой-нибудь родной душой. Но где она, родная душа?

По улице Герцена девушки спешили на танцы в парк ДК железнодорожников. Им было весело и без высшей истины. Возможно, они даже не читали «Былое и думы». И не слышали о философе Соловьеве. Но им весело, потому что в парке уже играет музыка и работает киоск с лимонадом.

Нет, они совершенно не понимают, в чем их счастье. А счастье вот здесь, в этой тетрадке. Так я убеждал себя, когда шел домой.

Но сам уже этого счастья не чувствовал, а чувствовал только банальную досаду на то, что потерял целый день неизвестно на что, а мог бы пойти на пляж или в кино.

Проходя мимо решетки парка, я остановился и долго смотрел на кружащиеся в теплых сумерках пары. Где ты, родная душа? Так и быть, я не стал бы рассказывать тебе о самом главном, об истине, пусть мы бы говорили о пустяках, а потом бы пошли на танцы...

Осенью нас отправили на картошку в деревню Подгорную. Картошка там действительно росла между горами, а кое-где и прямо на склонах. Урожай был отменный, погода отвратительная. Каждый день простуда уносила из наших рядов лучших товарищей. Товарищи уезжали в город. В конце концов осталась чуть ли не треть от всего отряда. Логично было бы предположить, что битву за урожай продолжили самые здоровые — дюжие парни и девчата «кровь с молоком». Но на утренней поверке почему-то стояли в основном очкарики довольно дохлого вида и обвязанные бабушкиными платками бледные девочки.

Сейчас не все и догадаются, почему так происходило. А тогда все понимали: судьба перебирает людей, как совхозный агроном по фамилии Ком перебирает картошку. «Стандарт» в одну сторону, «нестандарт» — в другую. Нормальных молодых людей трезвого рассудка судьба отправляла обратно в город, а людей в чем-то странных, задумчивых идеалистов или восторженных фантазеров, она для чего-то оставляла в передовом совхозе «Красноуфимский». Очевидно, не только для того, чтобы они убрали двести гектаров картошки, заработали мозоли и хронический цистит, но и для чего-то другого.

Может быть, для того, чтобы они посмотрели на звезды — таких в городе не увидишь. Или для того, чтобы они полюбили на всю жизнь, или подружились — тоже на всю жизнь.

Мы возвращались с поля в кромешной тьме по размытой дороге. Чтобы не потеряться, надо было все время слышать друг друга, а значит, надо что-то рассказывать. И вот тут мне пришли на ум соловьевские мысли о трансцендентальном идеализме, о том, что наступит эра безусловной любви, и — главное! — о том, что девушки вполне способны понимать высшую истину... Я поспешил поделиться этими соображениями с нашей бригадой. Однокурсники, давно привыкнув к моей болтовне, дремали на ходу от усталости, а девушки-первокурсницы испуганно и сочувственно слушали меня, как слушают домашние бред несчастного больного, страдающего от высокой температуры.

* * *

Мне уже пошел шестой десяток, а любимые мои книжки до сих пор те, которые сочинил писатель, которого считают детским, — Юрий Коваль.

Когда я был маленьким, он еще только собирался писать свои книги, поэтому в те времена про Ковалю я ничего не слышал.

Первую его вещь я прочитал, когда мне было тридцать три года и у меня подрастали две дочери. Это была выдавшая виды книжка «Приключения Васи Куролесова», изданная в Удмуртии на грубой бумаге с вкраплениями опилок. Казалось, что это книга вышла прямоком из леса, минуя типографию. А подарил ее мне мой товарищ, бывалый человек Володя Захарин, объехавший с этой книжкой в рюкзаке полстраны.

От Васи Куролесова мы всей семьей пришли в такой восторг, что я отправился

в Дом книги на Новом Арбате, чтобы поискать там другие книжки Ковалю. Почему-то запомнилось, что на календаре было 10 октября 1994 года.

И вот поднимаюсь на второй этаж, подхожу к прилавку современной литературы. Обозреваю полки за спиной продавщицы. Ничего ковалиного не вижу. Что ж, думаю, этого следовало ожидать. Такие писатели на дороге не валяются. И все-таки спрашиваю на всякий случай: «А Юрий Коваль у вас есть?» — «Да вот же он». И точно — прямо под носом лежит книжка: «Юрий Коваль. Опасайтесь лысых и усатых». Чудеса!

Продавщица, заметив мою радость, доверительно шепнула: «Перед вами приходила Белла Ахмадулина и взяла три штуки». У меня от таких слов даже руки задрожали. «Дайте, — говорю, — и мне три штуки».

И я, конечно, не пожалел, что взял сразу три книжки. Дарил потом друзьям.

Осенью горестного для страны 1999 года я попал в больницу. В Москве взрывают дома. Настроение у всех чудовищное. Лежу себе в палате, онемев от скорби. Телевизор смотреть невозможно. Гляжу за окно, там желтый клен прижимает к стеклу свои солнечные ладони. И тут вдруг приезжает меня навестить мой редактор по «Комсомолке» Валерий Петрович Симонов и привозит мне в подарок книжку. Называется «АУА». Автор — Юрий Коваль.

Изучая книжку, читаю: «Составитель — Ю.Файт». Вспоминаю, что тот же составитель почти у всех книг Геннадия Шпаликова. Какой же молодец, этот Ю.Файт, думал я. К своему стыду, я не знал тогда, что Файт — прежде всего кинорежиссер, в его фильме «Марка страны Гонделупы» Юрий Коваль играет и поет, а фильм «Пограничный пес Алый» Файт снял по книге Ковалю.

Проходит десять лет, и жизнь «случайно» сводит меня с Юлием Андреевичем Файтом. Опять чудеса!

Но это еще не все странные, как говорил Пушкин, сближения. Недавно я прибирался на балконе и нашел пачку машинописных бумаг. Оказалось, что это стенограммы летучек в редакции «Комсомолки», которые мой коллега когда-то оставил в квартире, уезжая на новое место работы. Меня поселили на его место. Старые стенограммы мне сначала лень было выбросить, а потом жалко — все-таки история родной газеты. Потом меня тоже перевели на новое место. Я уехал, жена осталась собирать вещи. Она могла бы с легким сердцем бросить тяжелую пачку совершенно бесполезных бумаг, и я бы о них никогда не вспомнил, но Наташа аккуратно сложила их в пакет и привезла на новую квартиру.

И вот из вороха этих бумаг я беру несколько листков. «Магнитофонограмма летучки газеты «Комсомольская правда» от 09.12.1987 г.» Пробегаю глазами и вдруг вижу упоминание о... Васе Куролесове. Не бред ли это? Вникаю в суть обсуждения. Оказывается, 5 декабря 1987 года «Комсомолка» опубликовала фельетон, в котором заклемила позором автора диафильма «Приключения Васи Куролесова». Газета обвинила Юрия Ковалю в пошлости и халтуре. Причудливость ситуации была в том, что заметку подготовил международный отдел в обход отдела литературы по «сигналу» с... Кубы. Наши люди на Кубе посмотрели диафильм про Васю и посчитали, что образ советского человека в диафильме искажен.

На летучке дежурный похвалил остроумную заметку, и обсуждение потекло бы дальше, но тут встал тогдашний сотрудник школьного отдела (а ныне известный детский писатель) Борис Минаев и сказал, что заметка неправильная, стыдно так обходиться с такими талантливыми людьми, как Юрий Коваль.

Кто-то скажет: ну что особенного — кому-то не понравился диафильм, и он про это написал. Какие пустяки. Сегодня на такую заметку никто и не поморщится. Но надо вспомнить, каким тиражом выходили тогда центральные газеты и какие «оргвыводы» иногда делались из самых маленьких заметок!

Известно, что для Коваля разносная заметка в «Комсомолке» была неожиданным и очень тяжелым ударом. Узнал ли он о том, как бросился на его защиту Боря Минаев? Хочется думать, что узнал.

Вот уже почти двадцать лет, как уезжая из дома, всегда беру с собой Ковалю. Особенно удобно ложится в карман тоненький сборник «Когда-то я скотину пас» из старой библиотечки «Огонька».

У Ковалю есть все, что нужно человеку в пути: приветливость и любопытство, веселье сердечное и непоказное, застенчивое мужество. Ковалиными словами можно освещать дорогу.

Ах, если бы мы понимали, как это важно: вовремя сказать человеку, что он — гений. Можно и не кричать об этом громко, а сказать шепотом или написать в письме. Я не успел ни сказать, ни написать Юрию Иосифовичу. И этого не поправишь. Ужасно обидно... Но есть еще вот эти три точки. Они подразумевают невыразимую надежду.

«Где человеку кажется, что все кончено, — у Бога только начинается».

Теперь я могу узнать прозу Ковалю по одному... нет, не предложению — по одному слову. А может, и по одной букве. Буква — это же капля. Чтобы отличить родниковую воду от водопроводной, достаточно лизнуть одну каплю. А иногда и лизать не обязательно. Понюхаешь, и все ясно.

У прозы Ковалю — вкус и запах счастья.

И самая вкусная капля — последняя. Последняя фраза.

Вот — наугад! — несколько последних предложений из разных рассказов Ковалю.

«Земляничкой от него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом».

«Иду я по траве босиком — лето наступило».

«Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец».

«Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний...»

«А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка».

«Как раз к самовару поспеем».

«В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками».

Есть люди, которые категорически не вписываются ни в свою профессию, ни в свое ремесло, ни в свое время. Не то чтобы они больше всего этого и выше. Нет, просто они несут в себе что-то совершенно отдельное. Ведь есть отдельно стоящие дубы и сосны. Они растут одиноко на взгорке или опушке, будто выбежали из леса. Чаще всего именно такие выросшие на просторе деревья бывают особенно красивыми.

В начале осени в Москве на Савёловском вокзале селятся дрозды. Потом на смену им прилетают скворцы. Из-за одного скворца я даже на электричку опоздал. Но электричка не последняя, еще будет, решил я, а скворцы улетят. Меня толкали то в бок, то в спину, но я не обижался, потому что видел, как у скворца булькает и топорщится горлышко. Ему-то еще труднее — вокруг шум, гам, репродуктор... И тут я почему-то вспомнил о Юрии Ковале.

Да, братец скворец, некому о тебе написать так, как Коваль написал о клесте. Так и улетишь на юг никем не воспетый по-человечески.

У Юрия Ковалю есть рассказ «Капитан Клюквин». Там клёст, купленный на Птичьем рынке за три рубля, выучился на пару с автором играть на гитаре пятый этюд Джулиани! Не знаю — удивит ли это кого? Мы как-то разучились удивляться. И если завтра на Савёловский вокзал прилетят, к примеру, магеллановы гуси — не уверен, что москвичи этому удивятся.

* * *

Помните, как удивительно засыпать после того, как закрылась любимая книга и мама погасила свет?.. Даже в темноте я вижу, где эта книжка лежит — тихая, неподвижная. Я слышу, как в подушке что-то потукивает —наверное, мое сердце. Или это там, под обложкой книги, кто-то глухо топочет, будто взбирается куда-то по чердачной лестнице... Там самое удивительное только и начинается.

Но я знаю, что вот усну и могу проспать (ведь у нас зимние каникулы) до десяти часов, а мои любимые герои не разбегутся. Они терпеливо подождут меня на своем невидимом чердаке, дождутся, пока я проснусь, умоюсь и все такое. У них там, в книжке, свое время, очень мне понятное. Там один и тот же листок календаря может так долго висеть, что весь затреплется или пожелтеет. Так бывает и у нас, когда мы уезжаем всей семьей в отпуск, а приезжаем — в доме душно, глухо, пыль на телевизоре, а на календаре еще тридцатое июня, хотя уже давно август.

Но дома-то мы быстро обрываем календарь. И очень грустно бывает расставаться с целой кипой календарных листочков. Неужели они, такие маленькие, обозначали такие долгие летние дни и даже белые ночи?

В книжке никто не может оборвать самые прекрасные дни. Вот в «Детстве Никиты» — там всегда может быть 11 мая. Отличный день. Если бы мне подарили настоящую лодку и в честь меня подняли настоящий флаг, я бы никогда не расстался с этим днем. И Никита, кажется, тоже никому не дает оборвать листок с 11 мая. Как я ни открою книжку — он все возится со своей лодкой. Только зимой он сидит с Лилей за столом и клеит гирлянды на елку, мечтая про себя похитить эту симпатичную девчонку, а потом спасти ее.

Или вот другая девчонка — Пеппи Длинныйчулок — она хочет стать морской разбойницей и сама может похитить кого угодно — так вот у нее всегда на дворе ноябрь. Но что делать, если человек родился в этом сумрачном месяце. Не май, конечно. Но рядом с Пеппи и ноябрь можно прожить довольно весело.

Григорий Кружков

Крабр!

Я строю из пылинок дом

Я строю из пылинок дом —
Дом этот строится с трудом.
Ведь это не берлога,
Пылинок надо много.

Тружусь не покладая рук —
Большое строится не вдруг.
Ещё одна заминка.
Ещё одна пылинка.

Ежевечерние ежи

Когда погаснет
Свет в саду,
Я в сад таинственный
Сойду.
Как будто никого в нём нет —
Лишь тишина
И лунный свет.

Но вижу вдруг:
Из-под куста,
Как будто досчитав до ста,
Выходит ёж,
За ним — второй,
И по траве бегут сырой.

С ежами я давно дружу,
Я им морковку выношу,

Я приношу им молока
И даже глажу их —
слегка.

Ежевечерние ежи!
Они прохладны и свежи
В саду,
Среди цветов ночных...

Ты можешь сам
Погладить их.

Ёж
на ночной цветок
похож,

И роза колетса,
Как ёж.

Не понимаю я чеснок

Не понимаю я чеснок:
Зачем он жжётся?
Наверно, этим от врагов
Он бережётся?

Но кто не любит чеснока,
Его не тронет.
А кто не может разлюбить,
Тот ест и стонет.

Зверёчек и звоночек

Зверёчек
очень спать любил.
Звоночек
по утрам звонил.

Звонил,
но разбудить не мог
Того, кто спал
без задних ног.

И жили счастливо
они
Все ночи —
и немножко дни.

Весенний щебет

О чём щебечет воробьях
Весной на веточке нагой?
Хочу я чьипсов,
чьипсов,
чьипсов!
Купи мне чьипсов, дорогой!

Безвыходное положение

Однажды зайцу
Вспрыгнуло на ум,
Что очень вкусный фрукт —
Изюм.

Он искал
У Деда
На гряде.

Увы! Изюма
Не было
нигде.

Вздыхнул бедняга,
Почесал головку:
— Нет выхода! —
Придётся
Есть морковку!

Крокодил и дантист

У Крокодила	И съел его без соли —
Зуб	Поморщившись
Заныл,	От боли!
Пошёл к дантисту	
Крокодил.	Съел —
	И заплакал
Как вдруг	Крокодил:
У Крокодила	«Болит —
Под ложечкой	Вот тут,
Заныло.	Где надавил!»
И не подумав,	Но врач его не слушал —
Сгоряча	Ведь он врача-то
Он пасть разинул	Скушал.
На врача —	

Жираф в кино

Один Жираф,
большой, как шкаф,
пришёл смотреть
кино «Тарзан».

— Месьё Жираф,
платите штраф,
вы заслоняете
экран.

Сказал Жираф:
— Я был неправ,
я сяду в самый
дальний ряд.
Но только не
берите штраф, —
ведь я, увы,
не столь богат!

Кот пропал

Куда запропастился Кот?
Он был здесь только что —
Вот-вот!

Спроси у мамы иль у папы,
Или у той
ползущей
шляпы.

Грифель и картофель

Грифелю сказал Картофель:
— Нарисуйте меня в профиль.

Или, может быть, анфас, —
Чтоб лицом смотрел на вас.

Молвит Грифель, чуть не плача:
— Я бы рад, но вот задача:

Как нарисовать анфас,
Если нет ни губ, ни глаз?

Нарисую лучше в профиль,
Уважаемый картофель.

Крабр!

Ой, какой смешной
с клешнёй!
Поиграй-ка с малышнёй!

Посмотрите —
это Краб.
Невелик,
но очень храб...

Невелик,
но очень храбр!
Пусть теперь зовётся —
Крабр!

Юрий Петкевич

Голубь в Казейках

Повесть

1

Когда я гулял, маленький, на речке, пришел дядя Бэдя и сказал, что приехала моя мама. А я гулял с Любоской и не захотел идти к маме, дядя Бэдя ушел, а потом его послали второй раз, и я второй раз не хотел идти. Дядя Бэдя долго меня уговаривал, потом из-за гумна показалась бабушка. Я нехотя поплелся за дядей и бабушкой, когда мы пришли к дому, у крыльца горько рыдала моя мама. Она приехала одна, без папы; целый день ехала из Красного Котельщика в Палонечку, думала обо мне всю дорогу; везла большую сумку подарков, радуясь, что скоро увидит меня; сильно соскучилась, но когда приехала, а я не захотел идти к ней, разрыдалась. Собрались соседи, утешая ее, и когда меня подтолкнули к маме, она так рыдала, что я за всю свою жизнь не видел больше, чтобы еще кто так рыдал. И потом мама еще не раз из-за меня рыдала — и чем дальше, все с большим отчаянием, но тогда я впервые увидел ее слезы. Она еще была молодая, в платье с яркими цветами и с ярко на помаженными губами, когда все было впереди и когда так все было хорошо.

— Ты что, забыл свою маму? — спросила у меня бабушка. — Неужели ты не помнишь, как жил с папой и мамой в Красном Котельщике и как тебя на Первое мая привезли в Палонечку?

Я вспомнил на каждом столбе в Красном Котельщике красный флаг. Движение автобусов из-за демонстрации отменили, и на вокзал пришлось добираться пешком. Я часто болел; мама одела меня, как зимой, в шубу и перепоясала ремнем, чтобы не поддувало. Я не мог повернуться и в ясный весенний день, когда уже зазеленели деревья, перегрелся на всю припекавшем солнце. У меня в глазах потемнело от грохота проходящих по улице оркестров. Я поспешил сесть на лавочку, а сестра Аля сказала: *какой ты слабенький!*

В поезде мама глаз с меня не спускала, следила: не расстегнулся ли я, а я парился в бесчисленных одежках — и может поэтому без конца болел, когда потного прохватывало на сквозняке. Но назавтра, только переночевав у бабушки, я выздоровел. Так уже случалось не один раз, когда меня больного привозили в Палонечку, и на это нельзя было не обратить внимания. После обеда меня отпустили гулять в сад. Окно на кухне раскрыли; невольно я все слышал, о чем говорили в доме, и наконец понял, что меня решили оставить у бабушки; поэтому мама и рассказывает ей, как я болел. Когда я осознал это, цветущий сад помрачнел. Мне страшно было остаться с бабушкой, которая ходила всегда в черном платье и в черном платке. Все вокруг

* Рубрика выходит при поддержке фонда «Русский мир».

обмерло, притаилось; ни одна веточка не колыхнется, ни один лепесточек не залепетал. Я готов был разрыдаться и побрел куда глаза глядят. За огородом лужок в одуванчиках, дальше речка. А тут еще в чистом небе появилась туча и надвинулась на солнце. Яркие краски на земле померкли; из тучи посыпались тяжелые холодные капли. Солнце никак не могло выбраться из-за ее края, но вот на другом берегу, у самого леса, вспыхнула узкая длинная полоса. Она понеслась навстречу, за ней сразу другая, тоже золотая, — и у меня голова закружилась после болезни. Мне показалось, что большой луг на другом берегу вместе с лучом солнца перенесся на нашу сторону, где деревня, на маленький лужок. Меня охватил восторг, я закричал и побежал к речке, но тут зовет мама — оглянувшись, я увидел, что она догоняет меня с шубой в руках. Я еще быстрее от шубы, впереди речка — и я упал на берегу на коленки. Мама подняла меня и стала натягивать шубу, а я оглядывался на жаб у берега. Высовываясь из воды, сидели они одна на другой и, надуваясь, издавали надрывающиеся скрежещущие звуки, которые, раздаваясь со всех сторон, сливались в непрерывающийся ни на минуту звенящий железный гул. Застегнув на шубе пуговицы, мама подняла меня на руки, хотя я и большой, чтобы на руки. Тут меня подхватил папа и отнес домой.

Ночью разболелись коленки. Не потому что я упал на них, а потому что упал на сырую землю. Я спал с мамой и всю ночь прижимался к ее животу коленками. Не мог заснуть, и мама не спала, но под утро я все же забылся и не услышал, как она поднялась. Меня не разбудили, чтобы попрощаться; наверное, мама боялась, что буду плакать, однако перед уходом не выдержала и поцеловала меня. Я проснулся, но не мог открыть глаза; затем поцеловала сестра — а у меня ресницы будто склеились. Но когда папа поцеловал, я наконец открыл глаза. И хотя я проснулся всего лишь на взмах ресниц, навсегда запомнил на лице у папы выкатившуюся на щеку слезу. Она просияла в брызнувших стрелами лучах восходящего солнца. Тут же я забылся, а когда проснулся, солнце уже высоко. Я сразу почувствовал, что один в доме. Соскочив с кровати, выбежал в сени, однако дверь не поддавалась; я подергал ее и вернулся на кухню. Мне стало жутко взаперти; я открыл окно, взобрался на подоконник и спрыгнул на землю. Я думал, — бабушка на огороде, но ее там не оказалось. Невольно я огляделся: на небе ни облачка, в воздухе ни дуновения — только птички мелькают и порхают бабочки; солнце начинало припекать — песочек на дорожке нагрелся. Первый раз в жизни я шел босиком — раньше мама не позволяла, а теперь меня оставили у бабушки. Я готов был зареветь в такое прекрасное утро — тут ноги мои, как вчера, побежали на лужок, затем по лужку в одуванчиках вниз к речке. Но мама уже не догоняла с шубой. В одной маечке и трусиках было очень хорошо и легко под горячим солнцем. И я, оставшись один, когда едва не заплакал, вдруг рассмеялся.

В речке плавали рыбки; затаив дыхание, я наблюдал за ними, потом отвлекся на птичек над водой. Следя за ними, перенесся в небо, где появились барашками облака. Они отражались в речке, и я опять к рыбкам. От меня падала тень на воду — и рыбки собрались в моей голове. И тут, хотя я так далеко отбежал от дома, услышал в необыкновенной тишине, как скрипнула у нас во дворе калитка. Не успел оглянуться, — рыбки метнулись в разные стороны — не потому что тень от меня вздрогнула на воде, а потому что скрипнула калитка. И я услышал откуда-то из очень далека пение.

Оглянувшись, увидел на дороге из церкви бабушку и побежал к ней, но бежать в гору тяжело, и я скоро запыхался. Пока добрал до гумна, бабушка спустилась с горки и скрылась за домами, а я побежал по двору навстречу и у крыльца наткнулся на дядю Бэдю. Я не ожидал его увидеть и спрятался за забором. Дядя не мог взобраться на крыльцо и чтобы не упасть, ухватился за перила, и в тот момент, когда появилась бабушка, перила не выдержали, надломились, и дядя Бэдя упал на ступеньки. Я нашел в заборе щелку между досками, хотя боялся, что дядя, какой ни был пьяный, почувствует мой взгляд и увидит меня, но я не знал, куда деть глаза.

Бабушка бросилась к своему Бэде, будто он все еще ребенок, но не то что

поднять, даже сдвинуть с места не смогла. Тогда она вынесла из дома подушку и подсунула ее сыну под голову. Хотя на него наваливался мертвецкий сон, дядя Бэдя открыл глаза, и только их открыл — сразу же на меня. Он что-то заворочал заплетающимся языком, но разобрать нельзя было. И как он почувствовал мой взгляд, так и я почувствовал, что дядя хотел сказать. Дышал он тяжело и часто, и вот сейчас из-под его сердца вырвался тоненький, жалобный стон — и я понял, что дядя Бэдя извинился передо мной.

Бабушка заметила, куда он смотрит, и наконец увидела меня за забором. Она вынесла из дома мою одежду и сандали. Я бы и сам оделся, но бабушка куда-то очень спешила. Она застегнула на мне пуговички, затем взяла за руку и вывела за калитку. Дядя выругался вслед, не стесняясь самых отборных грязных выражений, хотя только что ни одного слова выговорить не мог; будто это не он, а кто-то другой подхватился со ступенек, но не успел я оглянуться, как дядя Бэдя снова упал на подушку.

Солнце все сильнее пекло. Еще совсем недавно, буквально несколько дней назад, из набухших, долго прозябавших почек едва начали проклеиваться листочки — и вот сегодня березы за домом зашумели на ветерке. Когда он затихал, прорывалось издали пение. Я поднялся с бабушкой на горку, за ней еще одна гора, с церковью, но отсюда была видна только луковка с крестом. Я уже захотел есть и понял: мы куда-то идем, в какое-то такое место, где бабушка накормит меня. Тут я заметил на ней не черное, как обычно, платье, а цветастое, как у мамы. Но все равно у бабушки было другое цветастое платье. Цветы на нем были маленькие, когда у мамы большие и яркие, пылающие. А у бабушки их будто высушили, они будто вылиняли, но на фоне черной ночи, и только в яркий день проглядывала сквозь эти цветики глубокая пронзительная синь, которая потухала, едва солнце спрячется за тучку.

Мы спустились к роднику, а когда опять начали подниматься, все сильнее доносилось из церкви пение. На слепящем солнце на ее белые стены больно было смотреть. Из одних дверей люди уже выходили, а у других столпились, стремясь войти внутрь. Бабушку пропустили вперед. Прежде чем войти, она взяла меня на руки. Народу в церкви — не протолкнуться; бабушку все дальше пропускали, и она куда-то несла меня, только очень медленно. В той стороне, куда она меня несла, заплакал маленький ребенок, потом другой. И я не мог понять, куда бабушка несет меня. Бабушка была маленькая, немногим выше меня, и я на руках у нее видел перед собой одни только спины и затылки, затем, положив голову на плечо бабушке, уставился в потолок. Откуда-то сверху на меня слетали какие-то черные ворсинки. Бабушка продвигалась дальше, и я наконец увидел под потолком поющих на хорах женщин. Они пели всем нутром своим — и это с их платьев слетали черные ворсинки, вспыхивая искрами в лучах солнца из распахнутых окон. Я не сводил глаз с поющих женщин, когда бабушка шагнула к священнику с золотой чашей. Он поднес к моему рту золотую ложечку, и я будто во сне проглотил какой-то комочек.

После церкви мы не к роднику повернули, а в другую сторону, и я обрадовался, что не домой идем, где пьяный дядя поломал на крыльце перила и заснул на ступеньках. Вдруг надвинулась на солнце вчерашняя черная туча, и загрохотал гром. Бабушка потащила меня в какую-то калитку; не успели подняться на крыльцо, как забарабанило по крыше. Я думал, мы забежали на это крыльцо спрятаться от грозы, но тут вышел из сеней дядя Бэдя и подмигнул мне.

— Ты уже здесь? — удивился я. — Проспался?

На кухне сутилась бабушкина старшая сестра — баба Люса. Она сгорбилась крюком и не могла шагу ступить без палочки.

— Бэдя, давай за стол! — позвала она. — А где Любоска?

Под столом заверещало что-то железное; я не мог понять, чего такое, пока не выкатилась к печи юла и за ней выползла маленькая девочка. Глядя на нее, все растерялись; не могли привыкнуть к ее ангельской красоте; в доме сделалось так тихо,

что услышали, как дождь сбивает цвет с яблонь. Дядя Бэдя поспешил разлить вино и, показывая на девочку, опять подмигнул мне и так улыбнулся, как еще не улыбался, и я забыл, как он поломал, пьяный, на крыльце перила. Бабушка села за стол и взяла меня на колени. Рядом висело на стене зеркало. Я посмотрел в зеркало и не узнал себя. Я попробовал улыбнуться, как улыбался дядя Бэдя, но у меня не получилось. Мне стало стыдно, что я у бабушки на коленях, а дядя вырвал из рук у Любоски юлу.

— Догоняй!

Любоска бросилась за дядей Бэдей, а тот не отдает.

— Будто ребенок! — не выдержала баба Люса. — Садись, Бэдя, за стол! Куда ты?

— В Казейки! — захохотал дядя Бэдя, выбегая на крыльцо.

Вот так впервые я от дяди услышал про Казейки, а Любоска заплакала. И я не сдержался от слез, но не вытирал их, чтобы бабушка не заметила, — и бабушка не сразу заметила; она и подумать не могла, что я на коленях у нее заплачу, а я, может, и заплакал — потому что на коленях.

Бабушка опустила меня на пол.

— Поплачь вместе с Любоской!

Сначала я подумал, бабушка смеется надо мной, а потом пригляделся — вовсе она не смеется. Я поспешил за Любоской из дома и во дворе поднял голову. Радуга сияла далеко за лесом. Дядя Бэдя побежал с юлой к радуге. Любоска — за дядей, упала и опять расплакалась. Я бросился к Любоске и, не зная, как ее утешить, опустился рядом на корточки.

Сколько я посидел в мокрой траве, но, когда, вернувшись с бабушкой домой, лег спать, у меня опять разболелись колени. Я прижимал их к бабушкиному животу, как вчера — к маминому; бабушка, как и мама, спрашивала, где болит, и целовала там, где я показывал. А дядя Бэдя храпел в другой комнате. Вдруг он вскочил и неслышно оделся, но я, когда невыносимо ныли колени, услышал. Дядя не включал электричества, однако чиркнул спичкой, затем другой. Сквозь щель в перегородке они вспыхивали в кромешном мраке, как молнии, и бабушка, конечно, заметила. Потом дядя выскользнул из дома. Бабушка по-прежнему целовала мне колени, но когда дядя Бэдя стал заводить мотоцикл, открыла окно.

— Куда ты?

Я сразу же догадался, что он — в Казейки! Переметнувшись в мыслях за дядей, помчавшимся на мотоцикле в жуткую темень, я затрепетал и попросил бабушку включить электрический свет, но она зажгла свечку — и еще страшнее стало; я забыл про колени, и когда все-таки заснул, приснилось, будто что-то гудит на речке. Дорога с горки на горку, вдруг она круто оборвалась оврагом. Сбежав вниз, я упал в ромашки. Здесь другая дорога, и я набрел на церковку. Над ней гудели пчелы в липах. Загремел гром, а когда под липами неба не видно — жутко, и я вздрогнул от голоса за спиной. Оглянувшись, увидел бабушку; в жару она повязала пуховый платок, который съехал ей на глаза, но она не поправляла его. Она разговаривала сама с собой и, как я ее, так и она меня не сразу заметила. Когда опять загрохотал гром, бабушка подняла голову — и та у нее закружилась. Бабушка взмахнула руками — будто у нее не руки, а крылья; затем, перекрестившись, вошла в церковь, и я — следом; мне страшно стало одному под гудящими липами в грозу.

Все ослепительней молнии, после каждой с замиранием ждешь грома, а он все ближе и сокрушительней; наконец трахнул такой удар, что церквушка сотряслась и сама собой приоткрылась в иконостасе дверка. За ней на стене в алтаре задребезжал рукомойник, как раз батюшка мыл руки — вдруг, будто ночью, потемнело, и ливень гробанул по железной крыше. Тут же с потолка полилось, и бабушка по-детски пронзительно заплакала. Священник загремел тазиками, подставляя их под звенящие струи, затем бросился к бабушке — и та что-то в слезах горячо зашептала ему. Вдруг она оглянулась; так получилось, будто я подслушиваю; пуховый ее платок развязался

и соскользнул с плеч, и, когда тучу прогнало и ударило в окна солнце, я наконец увидел, что это не бабушка в телогрейке и сапогах, а какая-то девочка. Тут и батюшка посмотрел на меня вслед за своей дочкой (конечно, это была его дочка); он посмотрел с таким выражением на лице, которое описать невозможно, и когда он так на меня посмотрел, я, смутившись, выскочил из церкви.

Надо уже домой, и, когда все в природе радовалось, с ветерком будто кто-то шепнул, что бабушка умерла. Я поспешил по мокрому после грозы лугу, где играли дети. Я сразу догадался, что все они — поповские. Но вот один мальчик сбросил телогрейку и сапоги, за ним другие дети побежали босиком по лужам и заулюлюкали от восторга. А я, как старик, побрел за самой маленькой девочкой в светившейся от дыр кофте, которая ей вместо платья. Длинные рукава болтались, и ноги в подоле запутались, как в мешке. Малышка не успевала за всеми и бежала последняя, на каждом шагу падала, но снова поднималась. А вот и поповский дом; один за другим ребята в калитку, где их встретила на крыльце матушка с грудным ребенком на руках. Дальше деревня; тут я понял, что попал в Казейки. Улочка спускалась вниз, и я сбежал по обрыву к речке. Там, где она петляла, в паводок прорвался напрямую поток — в него упала верба, и течение здесь бурлило со страшной силой. Верба раскачивалась в бурных волнах — то пропадая под водой, то выныривая; и я, пробравшись по ее стволу на середину речки, схватившись за сучья, взлетел в небо — и проснулся.

Солнце уже высоко; заглянув за перегородку, я увидел на диване дядю Бэду. Он сладко спал, будто никуда и не гонял на мотоцикле ночью. Когда я подкрался к нему на цыпочках, лицо у дяди разъехалося от улыбки; я так и не узнал: это он во сне улыбался или же проснулся от моего взгляда. Я выскочил в сени, затем, спустившись по ступенькам на крыльце, побежал на речку. За огородом в паводок намыло песка. Хотя вчера прошел дождь, но солнце всю пекло — и песок под ногами рассыпался сухой. Идти босиком по горячему песку невозможно больно. Я сел на корточках на берегу, не мог забыть собравшегося комом у сердца сна, в котором кто-то шепнул мне на ухо, что умерла бабушка, и когда она позвала меня, решил — почудилось. Слишком явными были во сне и ветер, и шепот; я даже почувствовал, как чьи-то губы зашевелились у моего уха. Подойдя ближе, бабушка еще раз позвала меня, и я вскочил, но уже поздно — она увидела, что я опять на коленях на берегу, однако не стала ругать, взяла меня на руки и понесла домой.

Во дворе дядя Бэда выкатывал из сарая мотоцикл.

— Поехали в Казейки! — подмигнул, а я, когда бабушка несла меня на руках, забыл, что она во сне умерла, и только сейчас, через много лет, вспомнил.

2

Вагон так накренился, что стаканы с чаем на подстаканниках поехали по столику, когда поезд на полном ходу поворачивал по изогнувшимся дугой путям. В окно стало попадать солнце; наконец, оно — прямо в глаза. Еня вынула зеркальце и принялась пускать зайчики, а я вспомнил ту самую раннюю пору детства в Красном Котельшике, когда едва начал себя сознавать. Старшая сестра, как придет после школы, сразу же за уроки; сидела, согнувшись над учебниками, — волосы падали на глаза, а на глазах очки. Но когда яркое солнце — в окна, Аля брала зеркало и пускала зайчики, а я ловил их, бегал по комнате и смеялся.

— Ты хочешь, — сказал я Ене, — чтобы я побежал за поездом и ловил твои зайчики?

— Да, — и она захихикала.

Солнце опускалось к закату, но светило еще ярко. И когда мы бежали глазами за зайчиками, время так же быстро бежало. Вечером, после работы, выбрались люди отдохнуть на травке возле железной дороги, расположились, чтобы выпить; встреча-

лись и влюбленные парочки. Но все больше гуляли с детьми. На открытых местах и освещенных солнцем стенах домов зайчика не разглядишь, а только в тени. Солнце садилось все ниже, тени от деревьев и домов удлинялись — и все больше было места, куда можно пускать зайчики. Дети махали вслед руками, но мы не знали: нам ли? Поезд шел очень быстро, и мы не успевали увидеть, замечают ли дети промелькнувший зайчик и догадываются ли, что он специально им посылается, а не просто так. Но чем дальше мы ехали — все меньше детей, а все больше тех, что с бутылками, и я заметил, как один пьяница встрепенулся, поймав на себе зайчик.

— Перестань, — сказал я Ене. — Схватит сейчас кирпич и бросит в окно.

— Не успеет.

— Бросит не в наше окно, так в другое.

— Можно подумать, — заметила она, — что везде под ногами кирпичи.

— Хватит и маленького камушка.

За окном мелькали деревянные полуразвалившиеся дачки, огородики, садики, и — чем дальше мы ехали — людей у железной дороги все меньше, скоро их вообще не стало — некому пускать зайчики; да и солнце все ниже, скоро оно село в надвигающуюся с запада мрачную тучу.

Мы начали стелить постели; я — на верхней полке, а Еня — внизу. Все попутчики улеглись. В вагоне страшная жара. Мужчины разделись до трусов и даже простынями не прикрылись. Я запрыгнул на верхнюю полку — в лицо хлещет из раскрытого окна, захлопнул его — нечем дышать, опять открыл и опять захлопнул. От мыслей отяжелела голова; наконец я сдался и заснул. Неудивительно, что в страшной духоте приснилось, как я выбрался из вагона вздохнуть — вышел словно на крыльцо из дома, сел за столик и начал этот рассказ. Подо мной стучат колеса, навстречу свистит ветер — я положил кирпичи на бумаги на столе, чтобы их не сдуло. Еще на столе зеркало — смотрю на себя и пишу.

Мы проезжали через какой-то город, где зажглись фонари. Один за другим мелькали столбы вдоль железной дороги, и тени от столбов перечеркивали лист бумаги, на котором я писал. Я писал, но краем глаза увидел церковь на церкви и под небо деревья — как в детстве; когда маленький — все же деревья под небо. Я сразу вспомнил, что видел не раз во сне этот город с церквями, и все больше после заката, когда стремительно темнеет. Кажется, не одному мне снятся эти церкви на церкви и деревья под небо, и кто видел их — поймет меня. Поезд громыхал мимо, а я глаз не мог оторвать, и никакими словами нельзя описать то, что увидел. Наконец поезд остановился на станции. Я сошел с «крыльца» сразу на перрон и поспешил, не раздумывая, назад, к церквям, но поезд тронулся. И я опять к своему «крыльцу», тут передо мной какие-то люди, их много, и пока я вокруг обегал — мой вагон уже далеко. Из всех сил бегу, не могу догнать, хотя кажется — вот-вот, но поезд все дальше и быстрее, а я уже не могу быстрее. Тут сестра выскочила из вагона ко мне на перрон и воскликнула: *какой ты слабенький!..* «Откуда Аля взялась?» — удивился я, когда ехал с Еней; не успел так подумать, как из вагона выпрыгнула мама. «Зачем же она оставила в поезде все наши вещи?» — я чуть не заплакал и проснулся.

Я сразу вспомнил, как мама одела меня на Первое мая в шубу, и мы всей семьей поспешили на вокзал в Красном Котельщике, чтобы ехать в Палонечку. Я перегрелся на припекавшем солнце и, когда у меня в глазах потемнело, присел на лавочку. *Какой ты слабенький*, — заметила Аля; и вот сейчас, спустя много лет, во сне повторила. Едва проснувшись, я сразу вспомнил тот далекий, с грохотом оркестров, праздничный день, когда меня повезли в шубе в Палонечку...

И все же невыносимо душно. Я открыл окно и тут же захлопнул.

— Ты не спишь? — поднялась Еня. — Не заболел?

— Я писал во сне рассказ, — вздохнул я.

— Не вздыхай, — заметила Еня. — Если бы этого, о чем пишешь, не произошло, мы не ехали бы сейчас к твоей маме в Казейки!

Невольно я опять вспомнил детство; когда дядя Бэдя выкатывал из ворот мотоцикл и бабушка спрашивала его: куда ты? — дядя отвечал: в Казейки, а я, маленький, услышав про Казейки, убежал домой и прятался под кровать; дядя Бэдя надо мной смеялся — и потом, куда бы ни ехал, звал меня с собой, уверяя, что он — в Казейки, и хохотал, глядя, как я убегаю; мог ли я тогда подумать, что буду жить в Казейках?

— И еще... — начал я. — На всякий случай, — осторожно добавил. — Если тебе, Еня, станет плохо, когда приедем в Казейки; не сразу, а через некоторое время; сначала тебе будет очень хорошо, как и мне; но если все-таки поплохееет, — не молчи...

— Ты меня пугаешь.

— Я не говорю, что обязательно так будет, — поправился я. — Это скорее не тебе, а мне поплохееет. Однако после того что произошло со мной в прошлый раз по приезде в Казейки — и о чем писал сейчас во сне рассказ, после этого — уже не поплохееет. Но рассказать об этом невозможно, как невозможно рассказать, почему мне может стать плохо.

Поезд остановился на какой-то станции. Мы поспешили из душного вагона вздохнуть. Теплой летней ночью будто бы сладким запахом ладана повеяло. Вдоль железной дороги — гравийка, за ней — свалка; сразу я не мог понять, что там дальше за свалкой, и когда осознал, что это церковь, даже не одна, а их много на горе, мне стало страшно. Купола разбиты, и кресты сброшены. На стенах выросли березы. Дальше обрыв, на краю наклонилась над озером самая последняя, самая тоненькая березонька и отчаянно шелестела, когда в лесу над церквями ни один листочек не затрепетал. Озеро покрыто было завораживающей взгляд сверкавшей под луной ряской, но тут я встрепенулсь вслед за Еней, услышав нечеловеческий какой-то вздох что ли; нет, не вздох, а выдох. Кто-то шел, но не по гравийке, а по свалке. Ноги его утопали в чем-то пепельном, уже сотлевшем, куда несчастный проваливался вместе с костылем; в другой руке у него гармошка. И это она вздохнула-выдохнула, когда инвалид волочил ее за собой. А вокруг одни столбы, заборы, за ними крыши, везде горы мусора, и полыхали вдали костры. Затем по гравийке проехал грузовик, поднялось облако пыли — тут же песок на зубах.

Мы поднялись в вагон, и я, вспомнив, как во сне пробежал за поездом, долго не мог отдышаться. Я задумался, а Еня заметила и озабоченно, как мама, пристально поглядела на меня.

— Я не только писал во сне рассказ, а еще и все это увидел, — показал на развалины церквей за окном. — Но я увидел их еще до того, как их взорвали. Или же во сне увидел их воскресшими, — вдруг догадался.

Но Еня думала сейчас о другом.

— Как же так получилось, — спросила она, — что ты со своей мамой оказался в Казейках?

3

Когда пришло время идти в школу, меня обратно отвезли в Красный Котельщик, — и на первом же уроке я расплакался. Меня посадили за одну парту с девочкой; я долго сдерживался — но когда начал всхлипывать, в классе заборачивались. Молоденькая учительница, сразу после пединститута, растерявшись, не знала, как меня утешить; я был где-то далеко — и она, конечно, не знала, где я, а я еще пуще разрыдался. В это время моя мама затаилась в коридоре под дверью и услышав, как я заревел, ворвалась в класс. На глазах у всех она начала меня целовать, а я застыдился

ее поцелуев, вытер слезы и когда мама наконец ушла, так вздохнул, что и девочка рядом тихонько, чтобы я не услышал, вздохнула, но я услышал.

Больше на уроках я не плакал, и мама под дверью не стояла. Казалось, я смирился; высунув над тетрадкой язык, выводил крючки и палочки — однако, едва выпадет минутка, смотрел не на девочку, а в окно на улицу. С деревьев слетели листья, заморосили бесконечные осенние дожди, и я, возвращаясь из школы, промок и заболел. Меня опять начали таскать по врачам, но я никак не мог выздороветь, пока не отвезли к бабушке в Палонечку. Потом каникулы, затем опять меня в школу, где я снова заболел; вот так и возили туда-сюда, а когда подрост — сам стал ездить. Мама так и не осознала, почему я в Палонечке выздоравливаю, а папа, конечно, все понимал, и Аля понимала. Но она уже стала думать о женихах, а мама Але не разрешала о них думать, пока не поступит в институт, — и вот сестра наконец поступила и уехала в Хлюдожск. Мама сосредоточилась на мне одном, а я к этому времени повзрослел и затаился в своих мечтах. Теперь, когда пишу этот рассказ, я так не смог бы, а тогда все перетерпел, но сейчас мне самого себя жалко. После окончания школы надо было куда-то поступать, и я выбрал сельскохозяйственный техникум в Друе, лишь бы поближе к Палонечке. Мама ни о чем не догадывалась, а папа все понимал, хотя и он не до конца меня понимал, но когда после окончания техникума я наперекор маме устроился на работу в Палонечке и остался с бабушкой, тогда папа понял до конца и сам заболел.

Иногда бабушка отправляла меня навестить папу и маму. А я в Палонечке чувствовал себя так, что не чувствовал себя, и забывал о том, что со мной происходило в Красном Котельщике, однако когда приезжал к родителям, через несколько дней мне становилось как-то странно нехорошо — так нехорошо, что кажется можно умереть. Но только садился обратно в поезд, через несколько станций это ужасное состояние проходило, меня отпускало — становилось легко, как мне всегда тогда было. Я возвращался в Палонечку и напрочь забывал, что со мной произошло, и, когда опять нужно навестить родителей, ехал к ним совершенно здоровый, не предполагая, что через несколько дней снова буду мучиться, не понимая — что со мной. Мама тоже ничего не могла понять и плакала. Много лет пролетело с тех пор, как умер папа, но страшно по-настоящему стало, когда умерла бабушка. Без нее очень тяжелая, другая началась жизнь, и может было бы легче, если бы я полюбил маму, как бабушку, и я люблю маму, но я не могу ее так полюбить, как бабушку.

Однажды в Палонечку приехала сестра, и я об этом рассказал Але; она ахнула — с ней то же самое происходит в Красном Котельщике. И точно так же делается, что кажется можно умереть. Она поэтому и вырвалась от мамы в Хлюдожск, где после окончания института вышла замуж — лишь бы не возвращаться в Красный Котельщик. Из этого брака без любви, конечно, ничего не получилось, зато сестра заимела в большом городе хорошую работу и обзавелась собственным жильем. Когда умер папа, Аля, жалея оставшуюся одну маму, предложила ей продать квартиру в Красном Котельщике и перебраться в Хлюдожск. Аля даже посоветовалась со мной, и я обрадовался, что не надо будет больше ездить в Красный Котельщик. И я даже сам, когда квартиру продали, помогал маме переезжать. В Хлюдожске у мамы — ни одного знакомого; ей выйти некуда, кроме как в магазин; когда Аля уходила на работу, мама не знала, чем заняться, и все время думала обо мне в Палонечке, где я после смерти бабушки остался с дядей Бэдей.

Если бы дяде в то время, когда он гонял ночами на мотоцикле в Казейки, показали уродину, которую он привел домой сразу после похорон бабушки, никому бы дядя не поверил, смеялся бы до слез, хохотал до упаду, но за беспробудной пьянкой так опустил, что и эту Нюсю едва уговорил. Приведя ее, дядя Бэдя забил досками проход из большой комнаты в бабушкину каморку, где стояла моя кровать. Затем принес от соседей щенка, а потом сучку — и через несколько лет весь двор в собачьих

будках. Кроме моего папы у дяди Бэди было еще четверо братьев; приезжая в Палонечку, домой они не заходили; однажды столкнувшись в калитке с Нюсей, боялись еще раз ее увидеть. Они обзавелись в городах квартирами, и дядя Бэдя надеялся, что ему отдадут дом, но братья разговаривать с ним не хотели. Если бы не Бэдя, бабушка еще бы жила, а так он каждый день издевался над ней, выпрашивая денег на водку, — и какое материнское сердце все это выдержит? Разве можно это простить, и поэтому никто из дядьев от наследства не отказывался. Чтобы не травить душу, они спешили мимо родного дома сразу на кладбище, навещали бабушку и в тот же день уезжали. А дядя Бэдя «претендовал» на весь дом и еще сильнее запил — не мог у нотариуса оформить даже свою часть. Уже много лет как у него украли паспорт, но дядя каждый день пьяный, а пьяный в милицию не пойдешь — так прошли годы; он не мог устроиться на работу и жил на Нюсину пенсию, как раньше жил на бабушкину... Впрочем, это все неинтересно — и не об этом я пишу.

Однажды мне приснилась девочка в пуховом платке — держит на руках младенца; где-то я видел ее, но не могу вспомнить. Мы сидели на кухне, и когда дядя Бэдя закурил, она вышла — и я за ней в бабушкину каморку. Девочка положила младенца в кровать, и я понял, что этот ребенок мой. А из щелей в перегородке — из кухни, где курил дядя Бэдя, — струился в лучах солнца едкий дым от самокрутки. Я проснулся, а запах дыма остался; вскоре приехала в Палонечку Аля и, ужаснувшись, как я живу с дядей Бэдей и его Нюсей, спросила: *есть ли у тебя девушка? И что — ты ее сюда приведешь, когда женишься?* И Аля обвела рукой вокруг. Как раз из щелей в перегородке повалил дым, а перегородка фанерная — за ней дядя Бэдя всякими словами на свою несчастную Нюсю, и Аля заткнула уши. Девушки у меня не было, но после того как приснилась девочка с ребенком, я задумался. И я пошел с Алей смотреть продававшиеся в Палонечке дома, но выйдя из нашего, бабушкиного дома, трудно войти в любой другой; мы так и не зашли ни в один — не лежала душа, и свернули на речку. Я решил показать свое любимое место, а теперь знаю: никому, даже самой дорогой единственной сестре, не надо его показывать.

Начиная с раннего детства, часто мне снилось, как что-то гудит, и я иду туда, где гудит, а перед тем как впервые попал в Казейки, приснилось: иду; нет, это не я иду, а меня кто-то ведет по дороге куда-то вниз. По обе стороны липы под небо — листвы не видно, а один цвет, в нем гудят пчелы — и идти под ними, гудящими, страшно, а еще дальше что-то бурлит. Впереди брезжит свет; мы выходим на поляну, а дорога опускается к церковке. Ее стены выкрашены облупившейся голубой масляной краской. Мы заходим внутрь — на таких же облупившихся стенах бумажные иконки на канцелярских кнопках. Но и здесь слышно, как бурлит; выйдя из церковки, идем дальше — хибарка священника на обрыве, а внизу речка...

И вот — буквально на следующий день после этого сна я забрел, куда еще не забредал, и услышал, как что-то гудит, а дальше — как во сне... Разве что — никто меня не вел, а я сам шел. Но и это не совсем так: всю жизнь нас кто-то ведет, а нам, каждому, только кажется, что это я сам. И я вот так попал в Казейки — будто это не я сам, а меня кто-то привел. За церквушкой сразу же поповский дом — во дворе не сосчитать детей. Дорога поворачивает — открывается синяя даль. И я напролом, по кустам, туда... И я полюбил это место — часто стал приходить сюда, чтобы посмотреть с обрыва. А когда умерла бабушка, еще чаще стал приходить и когда возвращался, думал, что она не умерла.

Надо бы об этом рассказать Але, но теперь, когда приснилась девочка с моим ребенком, я о другом думал. За годы обрыв зарос хвойником — уже не видно далеко, лишь в одном месте проблеск; не знаю: увидела ли Аля в нем то, что я видел, но когда возвращались, она оглянулась. Мы повернули в Казейки, и на улочке, где у лип остались одни стволы с гнездами аистов, не Аля, а я сам спросил: не продаются ли здесь дома, и нам тут же показали: вот! И я загорелся, дом этот находился рядом с моим

любимым местом, и я о деньгах не думал, разговаривая с хозяевами, сколько они запросили — сразу же согласился.

Когда дом покупали, Аля еще раз приезжала — и тут же обратно в Хлюдожск, а мне ни слова, что собирается приобрести новую мебель. Прежде надо было освободить квартиру; Аля наняла машину — погрузили на нее мамину обстановку из Красного Котельщика, а сама мама села в кабину показывать шоферу дорогу в Казейки. Это моему папе родные места, а маме здесь все чужое, незнакомое, но думая обо мне, она не думала о себе... И вот — останавливается у нового дома какая-то громадная будка — из кабины вылезает мама; шофер раскрывает в будке ворота — и пришлось мне собирать людей, чтобы разгрузить машину. И когда мамини шкафы, кровати, столы и стулья и прочие всякие там комоды расставили по комнатам, когда распаковали коробки, наполненные всем тем, чего мама накопила за жизнь, — вплоть до жестяных банок из-под халвы, набитых пуговицами, и когда мама разложила это все по своим местам, как когда-то в Красном Котельщике, даже не забыла фарфорового оленя, которому я в детстве отбил рога, ловя по стенам Алины зайчики, — вот тогда мне стало точно так, как когда-то в Красном Котельщике, но и тогда так не было, как сделалось теперь.

Едва я начал собираться на речку, мама все плащи достала из шкафов, словно собираясь их все натянуть на меня один на другой. Приближаясь к краю жизни, — вместо того, чтобы позаботиться о душе своей, — мама думала обо мне, когда надо помолиться, но она обходила стороной церковь, и можно представить, какие возникают мысли на краю без веры, — поэтому становилось невыносимо тяжело, лишь только мама начинала думать обо мне. Как я ни отмахивался, мама успела натянуть на меня плащ, и я побежал в нем на речку, когда солнце пекло невероятно. И вот тут надо мной будто черная туча нависла, едва я осознал, что Красный Котельщик, откуда всю жизнь убежал, оказался в моем любимом сокровенном месте, соизмеримым с сердцем моим. Как же так произошло, задумался я, и у меня волосы зашевелились от мыслей, от которых можно с ума сойти. А вокруг сияла красота неопишуемая. На каждом шагу я останавливался и оглядывался. Никогда раньше я так отчетливо и явно не видел брызжущую с неба благодать, отражающуюся вместе с солнечными лучами на каждом листочке. Сейчас, когда мне стало так плохо, когда я мог с ума сойти, сквозь сгустившийся в душе мрак я рассмотрел то, чего раньше не мог увидеть. Я гладил руками траву, цветы, касался этой благодати, но чувствовал себя так, будто нахожусь в аду. А нет муки невыносимей видеть рай из ада. Надо спастись, куда-то уехать, как раньше я уезжал из Красного Котельщика; а ехать некуда, кроме как к Але в Хлюдожск.

4

Две мамы везли девочек на колясках, а девочки пели. Повалил мокрый снег лохмотьями. Я заговорил с мамами: *какая хорошая погода!* — и девочки приумолкли. И я пожалел, что заговорил с их мамами. За ночь навалило снега, его не успели убрать — и на тротуарах под ногами снег превратился в лед. Рабочий в оранжевой куртке катил тележку с песком; в ней сидел другой рабочий и рассыпал по ледяному тротуару песок. С одной стороны разъезженная до черного асфальта улица, а с другой — снег. Понятно, что он не удержится, растает, но он такой чистый, слепит глаза — и желтый песок на тележке и горсти его на ледяном тротуаре кажутся еще желтее, а оранжевые куртки горят.

На этом ледяном тротуаре стоит девушка, раздает рекламные листочки — и мне протянула.

— Чего ерундой занимаешься? — сказал я ей, и она тут же согласилась — никому эти листочки не нужны.

— А что мне делать?

— Пошли со мной!

И она пошла со мной. Я нашел в кармане конфетку, протянул ей — и эта девушка конфетке обрадовалась. Но со мной недолго прошла, сворачивает в какой-то подъезд.

— Мне сюда, — показывает. — Листочки отдать.

А я уже подумал, что она со мной пошла.

— Как тебя звать?

— Еня.

Как осторожно я ни ступал, все равно поскользнулся и упал в лужу. И когда вечером вернулся домой — то есть к Але, сестра как-то так на меня посмотрела, что и я *так* на нее посмотрел.

— Чего ты? — спросила Аля.

— Этой ночью мне приснилось, — начал я, — будто я на Радоницу в Палонечке на кладбище. Много-много людей — среди них Любоска с ребенком на руках. Она подошла и, глядя на меня — точно так, как и ты сейчас, попросила: *подержи ребенка*. А потом куда-то подевалась; все люди разошлись — и я остался один на кладбище с ребенком на руках. К чему это? — спрашиваю Алю.

— Хочется какой-то другой жизни, — вырвалось у нее.

А у меня вырвалось:

— Только там! — И я показал вверх.

Мы поужинали, задумавшись о том, что — там? — однако улегшись в постель, я вспомнил, как ходил сегодня устраиваться на работу, но упал в лужу — и меня не взяли в грязной куртке. С мыслью, как устроиться на работу, я забылся — и приснилось, будто заработал много денег. И я один в новом доме в Казейках — ночью застучали в дверь, открываю — у крыльца толпа. Кромешный мрак вокруг, но собирается гроза — и при вспышках молний озаряются лица людей; я таких лиц еще не видел, когда протянули мне грудного ребенка со словами: *его сейчас покормить надо!*

Тут же проснувшись, я не смог больше заснуть. Я лежал в темноте с открытыми глазами и боялся: если засну — опять мне принесут ребенка. Хотя можно только обрадоваться этим снам; я и радовался, и тревожился — в них была тайна, которую не разгадать, и это всегда страшно. Все же я заснул, глубоко забылся — и вскочил, когда давно рассвело и Аля уже ушла на работу. Я поставил на газ чайник и вспомнил, что познакомился вчера с девушкой. Не всякая девушка вот так запросто даст на улице первому встречному свой номер телефона, а Еня мне дала, и я решил пригласить ее в кино. Я позвонил Ене; не успел начать, как она перебила:

— Я уезжаю.

— Куда?

— Ты же вчера сказал: *чего ерундой занимаешься?* Я и подумала: что я делаю в этом городе, где у меня нет никого? Поеду домой! Только...

— Что — только?

— Можно я у тебя оставлю сумку?

— Я, правда, у сестры живу, — смутился я, не зная, как объяснить Ене свои обстоятельства, которые объяснить невозможно, — но думаю, Аля не будет возражать, если ты оставишь сумку.

— Тогда приедь ко мне, — попросила Еня, — а то сумка очень большая...

Мы договорились встретиться на автобусной остановке — рядом с домом, где Еня с какими-то девчонками снимала комнату. У них в квартире прорвало трубу — затопило внизу соседей, и вот сейчас хозяйка выселяет всех, будто они виноваты. Я ехал на автобусе и смотрел в окно. Вчерашний снег растаял, и тучи на небе истончились. Я ехал и ожидал солнца, и ни о чем не думал. Еще из окна автобуса в толпе на остановке я узнал поджидавшую меня Еню.

— Давай погуляем, — сказала она, когда я подбежал к ней, но заметив, как я

обрадовался выбравшемуся из-за туч солнцу, призналась: — Я тебя обманываю! Там, в квартире, — начала Еня объяснять, — еще одна девочка осталась; что она может подумать, когда я тебя приведу? Скоро она уйдет — и мы тогда заскочим за сумкой.

Рядом парк, и мы — туда.

— Может, сможешь мне работу найти? — вздохнула Еня.

— Я сам работу ищу, — и я вздохнул. И тут же вспомнил: — В церкви, куда с сестрой ходим, батюшке требуется женщина детей смотреть...

Не успел я закончить, как Еня закричала:

— Ты же знаешь, я у батюшки в Зельве десять лет детей смотрела; я их вырастила и уже не могу больше! Я не хочу смотреть чужих детей!!!

— Откуда я могу знать, — изумился я, — что ты десять лет детей смотрела и тоже у батюшки?

— За копейки! — кричала Еня. — За еду и за то, что мне было где поспать!

— Да откуда же у батюшек деньги? — пробормотал я. — Да еще в какой-то Зельве...

— А ты опять, — не могла успокоиться Еня. — Я не хочу смотреть чужих детей! Неужели ты не понимаешь?! Я хочу, чтобы у меня были *свои* дети!

И она, разрыдавшись, побежала по дорожке. Я поспешил за Еней, а она еще быстрее.

— Оставь меня в покое! Чего тебе надо?!

— Да это же не мне, а тебе надо!

Я хотел уже плюнуть и повернуть обратно, но как-то неудобно — раз пообещал помочь. Солнце — низко, от елок густая тень, а дорожка, чем дальше в лес, начала зарастать, и Еня бросилась назад. Я за ней, но она, даже не замечая меня, не переставала кричать, однако на улице, где прохожие оборачивались, Еня опомнилась и наконец оглянулась.

— Ты не передумал про сумку?

Я ничего не ответил. Мы рядом шагали, но уже больше — ни слова. Затем поднялись на лифте в многоэтажном доме и вошли в квартиру, сплошь заставленную кроватями, как в общежитии. Еня показала на сумку. Я еле поднял ее.

— Спускайся вниз, — скомандовала Еня. — Скоро придет хозяйка — я должна ей ключи отдать; а что она подумает, если увидит тебя?

Огромная сумка едва в лифт пролезла. Я спустился вниз и у подъезда стал ожидать Еню. Поднялся ветер, пригнал свинцовые тучи — и я продрог, пока вышла Еня с чемоданом.

— Еще чемодан? — спрашиваю.

— С ним я домой поеду... Не бойся, — выпалила, — я больше тебя ни о чем просить не буду!

— Ты уже купила билет на поезд?

— Вчера, — кивнула Еня, — как ты сказал: *чего здесь делаешь?* — сразу поехала на вокзал и купила билет.

Мы дождались автобуса и поехали. Сидели рядом и молчали, и я невольно подумал, зачем ввязался в дурацкую историю с этой девчонкой, как Еня вдруг положила руку мне на колено и заглянула в глаза.

— Обиделся?

Она всего лишь провела чуть-чуть рукой по колену — и я не могу рассказать, что со мной сделалось.

— Какая у тебя рука! — восхитился я, впрочем, не находя слов, чтобы передать, какая она у нее.

— А покажи свою... Я всегда, когда знакомлюсь — смотрю на руки; затем — как они накладываются на мои, — Еня приложила свои ладони к моим, и мы оба увидели и почувствовали, как они *подошли* одна к другой.

Тут надо выходить, и у дома, где Алина квартира, мы выбрались из автобуса.

— Иди, отнеси *мою жизнь* — и скорее возвращайся, — Еня посмотрела на часы, — проведешь до поезда.

— Чего — отнести? — Я не сразу понял, что она *так* называет свою сумку, а когда осознал, у меня почему-то сердце сжалось.

— Конечно, я могла бы сразу взять и сумку, и чемодан, но боюсь, — Еня опять заглянула мне в глаза, — одна надорвусь. Отвезу сначала чемодан, а потом приеду за сумкой. А может, еще найду в этом городе работу, — пробормотала с надеждой.

Я отнес сумку; не успел вернуться к Ене, как повалил снег. Пока ожидали автобус и пока доехали до вокзала — все вокруг белое. Быстро начало смеркаться в короткий зимний день. Я затащил за Еней в вагон ее чемодан, выглянул в окно, а там уже ночь. По снегу на перроне пробежал грязный белый пудель. Даже не пудель, а полупудель, смесь с дворняжкой, но все равно пудель. Он вернулся, приподнял заднюю лапку и пометил железобетонный столб. На столбе фонарь — и от пуделя яркая тень. И он, будто спасаясь от собственной тени, спрыгнул с перрона под вагон. Я обнял Еню и поцеловал, и выйдя из вагона, заглянул под колеса, но там один крошечный мрак. Пока поезд не тронулся, я переминался под окном у Ени, стараясь запомнить ее лицо и ладони, прижатые к стеклу.

5

Сначала приснилось, что в форточку залетел голубь. Я распахнул настежь окно и стал выгонять голубя. Но он не улетает, как я ни старался. Прыгает по полу, что-то клюет, и я понял: *этот голубь теперь будет жить со мной!* А солнышко за окном сияло, яркая зелень на березах весело шелестела, но от какого-то раздавшегося звоночка почему-то захотелось разрыдаться. Вдруг поднялся ветер; листва на березах вспенилась — и я, выйдя на улицу, будто вышел из бабушкиного дома в Палонечке и увидел бабушку. Я очень давно ее не видел — много лет, как она умерла, и не помню, когда в последний раз приснилась. Но я заметил, что на бабушке не ее платье, и она пояснила:

— Это еще моей мамы платье. — И добавила: — А тебе надо строить дом!

Трудно передать, как она посмотрела на меня. И вот опять динькнул звоночек — я его узнал: это тот, в который динькают, когда из церкви выносят покойника.

Проснувшись, не мог понять, где нахожусь, посмотрел в окно — а это то окно, через форточку которого залетел во сне голубь. Осознав, где я, — вскочил с кровати; тут же закружилась голова, и, чтобы не упасть, я прислонился к стене. Зачем я приехал сюда? Однако у Али в Хлюдожке каждую ночь снились родные места; я забыл, что со мной случается в Казейках, купил билет на поезд — и вот вчера приехал. Нельзя выразить, как мама обрадовалась, когда я переступил порог нового дома, но только я увидел обстановку из Красного Котельщика, мне сразу дурно стало. И вот сейчас, едва поднявшись из постели, я приуныл, но, вспомнив приснившуюся бабушку, поспешил на кухню, где мама уже суежилась у плиты, и хотя у меня никаких денег не было, сказал, что буду строить дом.

— Зачем строить? — изумилась мама. — У тебя же есть дом!

За последние годы она сильно сдала, сторбилась; от седых волос белая голова, а шейка худенькая, как у ребенка, и когда мама расплакалась, нельзя было слышать — сердце переворачивалось. Тут зазвонили в церкви. В самом растрепанном состоянии, когда нужно наоборот собраться, я выбежал из дома. Дорога с горки поворачивала за мостом через речку и там соединялась с другой большой дорогой, вымощенной булыжником. За мостом золотые липы. В них гудели пчелы. Под липами деревянная церквушка, выкрашенная облупившейся голубой краской. Вместо ступеней дубовые

колоды. Окна распахнуты — внутри сладкий полумрак, и когда я, перекрестившись, поднялся по дубовым колодам, в церквушке расплакался ребенок — и я вспомнил маленького себя.

Батюшка оставил молитву, поспешил к матери, взял ребенка, вошел с ним в алтарь, и когда вынес, — ребенок успокоился. Батюшка отдал его, затем опустился перед женщиной на колени и уже потом продолжил молитву. И мне бы расплакаться — да нет слез, но когда я на исповеди сказал: *нет во мне слез*, — батюшка спросил: *а радость бывает?* И только я сказал, что нет во мне и радости, как обрадовался... Обрадовался, потому что высказал... Но долго так радоваться не мог, и когда подходил к Чаше, у меня пот потек по спине между лопатками.

После причастия хорошо побыть одному, и вернувшись домой, я решил пойти на речку, но замешкался, не зная, какое маме слово сказать, чтобы утешить ее, и я вот так все медлил, пока не услышал — будто ждал его — далекий, знакомый до боли звоночек. Я выскочил из дома на горку. Из других домов выбрались за мной люди; оглянувшись, я заметил, что и на других горочках собираются. Я не мог понять, о чем шепчутся за спиной; прислушивался, но все равно не мог понять. Дорога, разбежавшись с горки на горку, упиралась в другую, где несли гробик. Какая-то незнакомая, нездешняя женщина сразу за гробиком, убиваясь, рыдала. За ней — локоть к локтю, поддерживая друг друга, шли стеной. Людей на горках собиралось все больше, они уже не шептались, увидев гробик; заговорили во весь голос, но у меня сейчас нет сил пересказать то, что услышал; лучше я как-нибудь потом напишу...

За похоронами собрались машины. Одна за другой свернули они с большой дороги на нашу и заревели, поднимаясь на нашу горку, чтобы объехать похороны. Такой, крюком, дороги, как наша, нет впереди, и если они не успеют сейчас, им придется еще долго изнывать за похоронами до кладбища. И они рвали, поднимая пыль; песок заскрипел на зубах...

Я спустился к речке. За мной сносило к воде облака пыли, и от них огненные клубящиеся тени замелькали на дороге. Вскоре после того, как пыль рассеялась, небо заволочко грязными, будто после грозы, клочьями. Далеко размылся в лесу по гряде едва заметной полосой последний проскользнувший солнечный луч и замерший. Незаметно для глаз прояснялся он все сильнее и, оставаясь на одном месте, когда облака на небе вспучивались пышнее, ярко загорелся к вечеру... И все тише становилось. И когда на другом берегу березы золотом зажглись, облака, разойдясь, открыли глубокую, ожидающую звезд синеву. В душу перетекала тишина с небес, и как долго она разгоралась, начиная с едва заметного луча, за которым я наблюдал целый день, и я думал, что до заката все так и будет, открываясь, продолжаться, сиять, но вдруг опять появились на небе космы облаков — и от них тень затопила другой берег.

Вернувшись домой, завалился спать, но и во сне опять задинькал звоночек — и я выскочил на горку. Все те же сегодняшние люди вокруг; только я ощутил себя ребенком и увидел бабушку. И опять за спиной голоса, все громче, — и хотя все равно не могу разобрать, ничего не понимаю, о чем шепчутся, а потом кричат, но я знаю, что они все о том же, о чем не осмеливаюсь написать... Еще раз я взглянул на бабушку. Ветерок трепал подол ее мамы платья; каждая складка трепетала; конечно, душа бабушкина, я почувствовал, рвалась за гробиком, и когда мальчика пронесли, и когда прошли ближние его, и когда прошли его дальние родственники, бабушка поспешила за ними на большую дорогу на кладбище. Тут затарахтел сзади мотоцикл, и я, обернувшись, увидел дядю Бэду.

— Где ты был? — удивился я.

— В Казейках, — он подмигнул кому-то за моей спиной — непонятно кому в обступившей нас толпе, посадил меня в коляску и куда-то повез. И лицо у дяди Бэди совсем стало не Бэдино.

Назавтра, только проснувшись, я вспомнил, как виноват перед мамой;

вскочил — и сразу же на кухню. Я не знал, что маме сказать, но увидев у нее разгладившееся и просветленное лицо, решил вспомнить детство, надеясь, что и мама, переместившись в то время, когда была молодая, отдохнет душой.

— Помнишь, как мы ехали на мотоцикле? — начал я. — Папа за рулем — ты сзади него, а я в коляске; я был совсем маленький, и у меня сдуло ветром шапку.

— У папы никогда не было мотоцикла с коляской.

— Он взял его у дяди Бэди и куда-то нас вез, — продолжал я. — Когда у меня сдуло шапку, папа развернулся и поехал назад. Какой-то человек поднял на дороге шапку и подал мне в коляску.

— И у Бэди не было мотоцикла с коляской.

— Был! — настаивал я.

— Не помню, — пожала плечами мама. — Я не помню, чтобы мы ехали на мотоцикле и у тебя сдуло шапку. Ты что-то путаешь.

— Ах, да, действительно, — смутился я. — Это не папа нас вез, а дядя Бэдя, когда ему выдали в колхозе служебный мотоцикл с коляской.

— Может, это не я с Бэдей ехала, а бабушка? — спросила мама. — Да и зачем мне вместе с Бэдей ехать на мотоцикле?

— Бабушка боялась на мотоцикле, — возразил я. — Я очень хорошо помню, что это ты ехала. Это было сразу после того... — я тут запнулся и не стал напоминать маме, как она рыдала, приехав в Палонечку, когда я, гуляя с Любоской на речке, не захотел идти домой. — Я упал, — успел я придумать, — разбил коленку и очень сильно плакал. Ты не могла меня успокоить — и вот тогда дядя Бэдя решил покатасть нас на мотоцикле... Даже помню ту горку, на которой сдуло шапку, и отчетливо помню лицо того человека, который подал мне ее.

— Как ты можешь все это помнить? — не поверила мама; ее что-то другое переполняло, что она собиралась мне высказать и лишь выжидала момент. А я как бы ей навстречу повернул, и мама обрадовалась, поддавшись моему неожиданно праздничному настроению. — У меня был чемодан! — в свою очередь начала она вспоминать. — Теперь таких чемоданов нет. В него платья укладывались, как в шкаф. И когда я училась в Светлогорске в педучилище, у меня был кавалер, и вот когда я закончила учебу, он должен был проводить меня на автовокзал, но почему-то не пришел. Он был офицер; его могли не отпустить по службе, но так или иначе — он не пришел меня провожать, и я кое-как сама дотащила чемодан до вокзала... Приехали из Светлогорска в Красный Котельщик на автостанцию; все вышли из автобуса, а я последняя... За рулем был один молодой человек; он увидел, какой я волоку чемодан, и говорит: *сядь, девочка... Я отвезу тебя домой! Показывай дорогу...* И повез одну меня на автобусе. Когда приехали, старший брат вышел и хотел этому молодому человеку заплатить, но тот денег не взял, сказал мне: *встретимся на танцах...*

— Так это был папа?! — догадался я.

— Вот так, — вздохнула мама. — Был у меня офицер, а осталась за твоим папой!

— Как все просто оказалось! — не удержался я.

— Как раз — не просто, — покачала головой мама. — Приходил он на свидания всегда с бутылкой вина. Совсем он был какой-то... — мама не могла слова подходящего найти... — Он, наверное, думал, что вино — самый дорогой подарок. И потом, дурак, приносил мне каждый день в роддом бутылку, — засмеялась мама, — и когда ехали из роддома с Алей, привезли домой ящик вина — не надо было покупать, когда позвали гостей.

После маминого рассказа про чемодан я невольно вспомнил Еню. С тех пор, как провел ее зимой на вокзал в Хлюдожске, больше уже не видел; и дозвониться не мог, а сумка ее так и осталась у Али в квартире. Я уже и не верю, что Еня придет за сумкой, и хотел бы забыть ее, но не могу. Это же надо — только чуть-чуть провела рукой мне по колену, и я не могу ее забыть!

Я задумался, и мама поникла; улыбка съехала у нее с лица, соскользнули со стола руки; кажется, она не могла забыть папиных бутылок, но по наполненным слезами ее глазам я понял, что так из-за бутылок не убиваются, — и вот тут мама, схватившись за сердце, выдохнула:

— Строй себе дом!!!

Ей непросто было это сказать. Она многое вчера и сегодня утром передумала и пережила. Я не ожидал, что она это скажет. Что-то наверняка произошло с ней, раз она, настрадавшись, все-таки склонилась к тому, что сказала. И я тут почувствовал, что с ее словами от меня *что-то отошло*. Я очень отчетливо это почувствовал. Ничего подобного я никогда не чувствовал — и мне стало вдруг легко-легко.

Не помню, позавтракал ли я, и опять на речку. Я пришел на свое любимое место и огляделся. На небе после вчерашней хмари ни облачка, солнце сияло, и каждый листочек на дереве, каждая травинка на земле, радовались. Я видел все так, как видел маленьким ребенком, когда меня в первый раз оставили в Палонечке и я, проснувшись, обнаружил, что дом заперт, и выбравшись через окно, босиком побежал на речку... И вот — когда я на все вокруг взглянул, блаженствуя, детскими глазами, вдруг почувствовал, что Еня скоро приедет за своей сумкой — и мне надо собираться обратно в Хлюдожск.

Но пока можно не спешить... Я прилег на берегу и стал смотреть в небо. На солнце невозможно, больно смотреть — и я закрыл глаза. Едва я их закрыл, как забылся, и во сне бабушка повела меня в церковь. За нами увязались какие-то люди, я боялся глаза поднять, видел лишь черные тени на дороге. Вот на солнце надвинулась туча, и придорожные одуванчики закрылись. Хлынул дождь с молнией и громом. Бабушка подхватила меня на руки и побежала — за нами топот, и когда бабушка заскочила в церковь, я проснулся. И я не от ужаса проснулся; не мог понять, чем это пахнет, а когда осознал, что в церкви пахнет младенцами, проснулся, все еще ощущая себя у бабушки на руках.

Полежал на сырой земле, и меня беспокоили колени. Они с детства у меня не болели, и я вспомнил, как они тогда ночами — не болели, а ныли; так ныли, что я не мог спать. Я вспомнил одну такую мучительную ночь, когда удалось заснуть только на рассвете. Я помню, какое было в то утро красное над лесом солнце; и чем выше оно поднималось, тем труднее становилось на него смотреть; я закрыл глаза и забылся... А когда проснулся, оно уже высоко — тут ко мне пришла играть Любоска.

Мы побежали на речку; я догонял Любоску, а она оглядывалась на меня. Я не мог понять, чего она оглядывается; как бы хочет что-то сказать, но не может осмелиться. Наконец Любоска осмелилась и предложила поиграть в похороны. Я еще ни на одних похоронах не побывал и послушался ее. И я понял, что она обратилась ко мне с самым сокровенным; наверное, никто с ней не хотел играть в похороны. Мне все равно во что играть, и я кивнул, только сказал: *не умею в похороны*. — *А я научу*, — обрадовалась Любоска. После того как поползал целый день по раскаленному на солнце песку, колени у меня больше никогда не болели — разве что вот сейчас, спустя годы, заныли, но едва я поднялся, забыл про них.

И вот, когда ползал с Любоской по берегу, приволокся дядя Бэдя и сказал, что приехала моя мама, но я не захотел идти к ней. Прошло много лет, а кажется, что это вчера... Я отчетливо помню, какой был раскаленный песок в тот день, какое яркое сияло солнце, какой легкий прохаживался по речке ветерок... Ну, мы вот так играли в похороны: Любоска выхватила у меня лопатку, а я стал отнимать лопатку. И схватил Любоску за руки, и когда я ее схватил, будто озноб какой-то молнией по жилам — я испугался и отпустил ее. Я помню, что и она испугалась. А тут дядя Бэдя... И когда меня все-таки привели к маме, она так рыдала, что я потом всю жизнь не видел, чтобы еще кто-нибудь так рыдал. Она, рыдая, обнимала бревна на стене дома. На ногах не могла стоять и падала, а бабушка ее поднимала. Сколько лет прошло, но я помню, какое у

мамы было платье с яркими цветами, а бабушка, как всегда, в черном; вышли соседи успокаивать маму — все женщины в Палонечке носили черные платья; не сразу они могли понять, почему моя мама в цветастом платье плачет, когда все так хорошо...

6

Утро было зябкое, когда приехали в Красный Котельщик; вот рванул ветер, на тополях зашумела листва — не слышно, что рядом лепечет Еня.

— Что? — я переспросил.

— Падаю!

— Почему ты падаешь? — Я подхватил ее.

— Так спать хочу, что падаю! — прокричала мне в ухо. — Куда ты меня тащишь? Я не хочу на вокзал!

— Надо пересест на другой поезд, — объясняю. — Сначала купим билеты, а потом еще останется время, чтобы зайти в город.

— Я не хочу в этот город! Я хочу спать!

— Я тоже очень хочу спать, — сказал я, — однако надо купить билеты, а то не уедем сегодня.

Перед нами до самого перрона мотались тени от шелестевшей на ветру листвы тополей. Поезд постоял еще одну минуту и покатил дальше. Верхушки тополей пробежали по каждому вагону, а за последним — упали на рельсы. Толпа с поезда через распахнутые чугунные ворота валила на залитую солнцем площадь. Нас обогнал молодой здоровый парень. Все вокруг скукожились ранним утром, а этот парень в одной рубашечке, трепещущей на ветру, нес большой чемодан и улыбался. Сразу видно — приехал домой; там его ждут; и он так счастлив, как я никогда не был. И я встряхнулся, глядя на него.

— Давай зайдем на вокзал, — потащил я Еню, — а то ветер сдувает с ног.

— Не тяни меня, — попросила она. — Что это такое?

И я прислушался, но ничего не слышу.

— Как скрипят листья! — пожаловалась Еня.

— Пошли лучше в гостиницу, — предложил я, — выспишься, а завтра дальше поедем.

Тут же на привокзальной площади гостиница, но она малюсенькая, замызганная, и в ней не оказалось свободных номеров. Я повел Еню дальше, на центральную площадь, где шикарная гостиница; однако когда объявили, сколько стоит номер, я присвистнул, и Еня, прислонившись к стене, проснулась. Глядя, как она мучается, я махнул рукой; мне выдали ключи — и мы поднялись на второй этаж.

Еня сразу же закрылась, а я в своем номере — скорее к окну. Ничего, кажется, в городе не изменилось, но мне так страшно уже не было, как раньше бывало, и я не мог узнать улицу, по которой ходил раньше в школу, будто никогда здесь и не ходил. Между домами в переулке еще один, а вон *мое* окно. Я у него когда-то корпел за уроками, думая, как бы вырваться к бабушке в Палонечку. И я сейчас увидел — там кто-то сидит, какой-то мальчик, и пялится на меня. Не знаю, час или два я не мигая смотрел на этого мальчика, а он на меня, затем я опустил на стул, почувствовав, что изнемогаю, но не мог подняться, и вот так заснул сидя.

Я проснулся от страшного грохота и сразу не мог понять, где нахожусь. Если бы что-то рушилось — оно рано или поздно должно бы обрушиться, но грохот не прекращался. Я выглянул на улицу, но за домами ничего не видно — и мальчика *в моем* окне уже нет. Я лег в постель, и когда все обрушилось и стало тихо, опять возмечтал хоть немножко поспать, но не мог уснуть. Я вспомнил, что где-то у вокзала живет Любоска; надо хотя бы позвонить ей. Я поднялся, достал из кармана куртки телефон

и начал набирать номер; вдруг в форточку влетел голубь — и я проснулся, удивившись тому, что не помню, как заснул, и тут ахнул: ко мне уже прилетал этот голубь!

Снова за окном грохот.

— Да что же это такое? — не выдержал я, вскочил, и в тот момент, когда выходил из номера в коридор, дверь напротив тоже распахнулась. — И ты не можешь уснуть? — спросил я Еню.

— Но ты, кажется, немного поспал, — Еня взглянула на меня. — Что тебе приснилось?

— Ничего мне не приснилось, — отмахнулся я.

— По лицу твоему вижу, что приснилось...

— А что — по лицу заметно, что приснилось? — удивился я, вспомнив, что приснился голубь.

Я даже хотел вернуться в номер посмотреть на себя в зеркало, но спохватился. Я испугался. Я уже давно хотел Ене рассказать кое о чем и сейчас, когда она сама начала, только подхватил.

— Он уже снился, — выдохнул я; и тут — даже не сейчас, а раньше — в ту минуту, когда Еня навстречу распахнула дверь и когда я думал всего лишь о том, что там гремит; в это мгновение — когда перед моим носом — настезь, я корнями волос на голове вспомнил, что в первый раз голубь приснился перед причастием, когда я, впрочем, и причащаться не собирался. Я и хотел сейчас это сказать Ене. И я даже боялся — она не поверит; скажет, что выдумал. А может, она и не знает, что означает голубь? Только сейчас я осознал, что это с голубем на другой день после причастия от меня *что-то отошло*, и когда взвизгнула Енина дверь, в этот взвизг моему сердцу открылось, откуда у меня ребячья радость в глазах. А без нее — не ехали бы мы вместе к моей маме.

— Ты хотел что-то сказать? — пристально, как мама, когда та беспокоилась — не заболел ли я, Еня вглядывалась в мои глаза, и я ей, как и маме, ответил:

— Нет, ничего...

Кажется, мы были одни в гостинице; по крайней мере — на этом этаже, иначе все, как и мы, выскочили бы из номеров, возмущаясь, что это за грохот.

Из Ениного номера гремело сильнее, и я — туда, чтобы выглянуть из окна. А там деревья, за ними чугунная решетка забора с отточенными кверху пиками; на стальных качающихся от ветра мачтах развеваются флаги, мотаются по плечам застывшей спиной к нам гипсовой физкультурницы с ядром. Она выкрашена серебряной краской, и флаги — серебряные. Дальше, одна над другой — едва ли не до вершин деревьев — громоздятся скамейки для болельщиков. Мы видим несколько спин, но что гремит за скамейками — не видно.

— Там, за скамейками, футбольное поле, — пробормотала Еня, — но что это может так грохотать?

Я шагнул к Ене и взял ее за руку. И вот тут на сквозняке дверь в номере захлопнулась, и я испугался. Я так испугался, как в детстве, когда играл с Любоской на речке и отбирая лопатку, схватил девочку за руки. И я сейчас почувствовал себя так, будто никогда в жизни у меня ничего не было.

— Я забыл о том, что было, — я сам едва услышал, в чем признался Ене. — Но все, что было, не годится для того, что будет. И все у нас будет так, как никогда не было.

Еня улыбалась мне такой улыбкой, какой я и у нее, и у ни кого вообще не видел. У нее было такое лицо, что я изумился ее лицу. У нее еще сильнее разъехалась до ушей улыбка — и тут Еня сказала:

— Нет! — Она будто прислушалась к себе; к тому, что сейчас сказала, и глядя на меня, и жалея меня, повторила: — Нет! Нет!!! Ты даже не думай об этом! — И тут же поспешила: — Давай выйдем, посмотрим, что там гремит?

Мы вышли из гостиницы. Удивляясь тишине внутри себя, я чувствовал в своей

руке Енину руку и чувствовал, как Еня меня чувствует, и — как она рада чувствовать меня. Я не мог представить, что могу быть так счастлив, когда, кажется, невозможно быть счастливым, и оглянувшись, заметил, как в вестибюле гостиницы смотрят нам вслед.

Когда мы повернули за угол, сразу же увидели маршировавших на стадионе юных спортсменов. Они маршировали по беговой дорожке вокруг футбольного поля. У каждого барабан на ремне через плечо, и они изо всей силы лупили по барабанам, а Еня обернулась. Напротив стадиона парк, и этот парк на горе, и вот с этой горки съезжал по асфальтовой дорожке инвалид на коляске; свернул на улицу, а я опять стал смотреть, как мальчики бьют в барабаны. Вдруг они — все как один — перестали бить; сначала мне показалось, что они устали на Еню, забыв обо всем на свете, но они смотрели дальше. Еня потянула меня за рукав, и когда я снова оглянулся, увидел: из парка выезжает другая инвалидная коляска; в ней женщина с ребенком на коленях, и на повороте с горки эта коляска падает... и я вдруг понимаю, почему Еня сказала мне: *нет!*

Так зачем же она едет со мной к моей маме? — подумал я, но эта мысль не могла встать в меня в такой короткий миг, пока падала коляска... И тут еще затрясся в кармане телефон! Я поспешил вытащить его и в звенящей на площади тишине скорее нажал на кнопку; *что?* — прошептал. Хотя я отчетливо слышал каждое слово, но они не соединялись в голове, и я переспросил:

— Не может с постели подняться?

7

Когда я приехал в Казейки, мамы в доме не оказалось. Глядя на неприбранную кровать и столик, заваленный лекарствами, я не знал, что подумать, и выйдя во двор, обошел вокруг дома, открыл сарай, заглядывал за каждый куст смородины, пока не наткнулся на маму. Она лежала в разоре и ела клубнику. Сердце мое еще долго продолжало сильно биться. Я подождал, когда оно успокоится. Мама не замечала меня. Я не мог понять, куда она смотрит, шагнул ближе, наклонился, а мама, глядя прямо на меня, не увидела — и я испугался; затем тихонько, шепотом позвал ее.

— Чего кричишь? — пробормотала мама, по-прежнему пребывая где-то очень далеко; от ее взгляда мимо — по спине мурашки, и после того, как они пробежали, вдруг всплыло, не спросившись, вчерашнее счастье с Еней. И я изумился, что после ее: *нет!* — это счастье не ушло, наоборот — растет, неуклюже ворочается под сердцем. Но теперь об этом лучше не думать. Я поднял маму и повел ее за руку, как ребенка. Она ступала по разоре, а я сверху, по грядкам. И я сверху увидел, какая у мамы стала цыплячья шейка.

Когда начали взбираться на крыльцо, мама не смогла ног поднять, и я подхватил ее на руки. По улице шел сосед и оглянулся. Я не мог видеть сам себя с мамой на руках, но глядя, как переменялось у соседа лицо, будто сам себя увидел — и у меня сердце содрогнулось. Я занес маму в дом и положил на кровать.

— О чем ты задумался? — вздохнула мама.

На ней была одна только ночная сорочка, и я еще раз содрогнулся, глядя на мамины кости и кожу. Я скорее ее укрыл. Я не знал, что ей ответить; как утешить; что рассказать — лишь бы не молчать. Вот я и задумался, но тут мама спросила:

— «Кеки» помнишь? — И, улыбнувшись, покачала головой: — Как ты можешь помнить «кеки»?

— Что за «кеки»?

— Ты часто болел, расплачешься — трудно тебя успокоить; уже большой был — а тебя все еще на руках носили — руки отваливаются, я с ног валюсь; бывало, папа тебя целую ночь носит, а ты все плачешь, — вспоминала мама. — А с Алей легко было: мы

еще жили у моих родителей, Аля расплачется — я тут же за калитку, Аля забудет про слезы; любила смотреть, как по улице мимо проходят люди и у кого волосы на голове шевелятся, «кеки!» — показывала Аля. Она была еще совсем маленькая, только начала говорить и пальчиком показывала: «кеки!» Помнишь?

— Ты что, мама! — удивился я. — Как я могу это помнить? Я родился, когда уже купили в Красном Котельщике квартиру; может, поэтому и болел в железобетонных стенах, а Аля выросла в деревянном доме.

Но мама меня не слушала.

— А помнишь, как моя мама варила мыло? Из чего она его варила?

Сначала я обрадовался, что мама переметнулась в то время, когда была молодой; может, ей станет легче. Но догадавшись, что это за «кеки», я поспешил пока не поздно маму остановить — если она вспомнит войну, болезнь ее может только обостриться.

— Не забуду, — уже начала мама, — как немцы гнали колонну наших пленных, а у нас открыта калитка, и один пленный забежал во двор. Папа скорее переодел этого пленного, а военную форму подожгли; в ней столько было вшей, что она трещала, как хворост, — встрепнулась мама. — Разве может одежда трещать, как хворост?

— Давай лучше подумаем о сегодняшнем дне, — перебил я маму, и она тут же приподнялась с постели.

— А ты знаешь, что недавно произошло в Казейках?

— Лежи, — попросил я ее. — Ну и что могло произойти в Казейках?

— После того, что произошло, — вздохнула мама, — я о себе уже не думаю.

— А о ком ты думаешь?

— Я думаю о том мальчике.

— О каком мальчике?

— Ты разве не знаешь? — удивилась мама. — Да, — вспомнила, — ты уехал и ничего не знаешь.

— Ну и что такое могло произойти? — недоумевал я.

— Ты же знаешь батюшку?

— Знаю, — встревожился я.

— Ты знаешь, — продолжала мама, — что у него много детей...

— Что с ними?! — вскричал я, уже предчувствуя, что произошло что-то ужасное...

— С ними все хорошо, — успокоила меня мама. — Они выросли. И когда они выросли, батюшка с матушкой соскучились по маленькому ребенку, а у них больше не рождались дети, и тогда батюшка взял мальчика из детского дома. Мальчик этот подрос у них и пошел в школу — хорошо учился и вел себя хорошо, на него нарадоваться не могли и в поощрение этим летом отправили в пионерский лагерь или как он теперь называется. И вот из лагеря приходит сообщение: *ваш мальчик кончил жизнь самоубийством, забирайте его*. Батюшка поехал в пионерский лагерь и сказал: *это был хороший мальчик — он не мог кончить жизнь самоубийством*. И батюшка потребовал, чтобы произвели следствие. И вот тогда обнаружили, что тело мальчика избито. И над ним надругались. Вот тогда невинные девочки рассказали следователю, что над мальчиком этим в лагере смеялись, его толкали, щипали, пинали, плевали на него; и большого труда не составило найти старших мальчиков, которые во всем признались, что натворили. Они после отбоя затянули батюшкиного сына в темное место в лагере и стали измываться, а потом изнасиловали. После того, как они это сделали, испугались, что мальчик завтра все расскажет, и они тогда повесили его, будто он таким образом покончил с собой.

Я вспомнил, когда в последний раз ходил в церковь в Казейках. Приехав накануне от Али из Хлюдожска, лег отоспаться после дороги, а под утро приснился голубь. Об этом я уже писал; поднявшись среди маминой обстановки, не мог понять, где нахожусь, пока не вспомнил, что я в Казейках, — и мне сразу точно так сделалось, как раньше, когда приезжал к маме в Красный Котельщик. Тут зазвонили в церкви — и я

не пошел, а побежал туда. Я боялся сойти с ума и не удивился, что в церкви — не протолкнуться, а певчие пели так, что волосы на голове зашевелились. Батюшка обычно молился с закрытыми глазами, но в тот день открыл их. Он вообще-то не из Казеек, а издалека, из-под Шарковщизны; и жена его из одной с ним деревни. Сколько лет, как они здесь, а так и продолжают молиться «по-шарковщизненски», ударяя на последнем слоге в каждом слове. И дети их тоже разговаривали и молились «по-шарковщизненски»; все какие-то косолапые, неуклюжие, рыжие; но вот надо же — батюшке с матушкой мало оказалось своих двенадцати детей — и еще взяли из детдома; тоже рыжего, в веснушках, и такого же неуклюжего... Я представляю, как смеялись в пионерском лагере городские дети над его «шарковщизненным» ударением, а когда узнали, что мальчик прислуживал батюшке в алтаре, нашлись выродки, которые стали на каждом шагу мальчика шпынять, плевать в него, издеваться, и за одни чистые голубые глаза возненавидели; не могли успокоиться, не могли придумать, что бы такое с ним сделать...

Все это промелькнуло у меня в голове в одну минуту. А то, что произошло со мной после причастия, начал осознавать медленно, тихо, — как иногда горит свечка, — ее пламя в бездыханности воздуха в ночи не дрогнет; так и я горел, не чувствуя, что горю... Вернувшись в тот день из церкви домой и немного передохнув, я стал собираться на речку, но замешкался; все чего-то тянул, будто чего-то ожидал, пока не услышал, едва он прозвучал, тронувший за сердце звоночек. Когда я выскочил на улицу, на горке уже собрались люди. Я не мог понять, о чем они шепчутся, а они все громче, но перед надвигающейся процессией с гробиком — умолкли, обмерли, разве что у женщин, которые не могли сдерживать слез, сквозь всхлипы вырывались отдельные бессвязные, будто во сне, слова. Рассудком невозможно их было понять, и до сердца они не долетали — и вот только сейчас, когда больная мама рассказала мне о батюшкином самом маленьком сыночке, наконец они долетели до сердца... Но тогда, в тот день, я боялся с ума сойти и спустившись к речке, просидел на берегу до вечера... И на завтра, после того как от меня *что-то отошло*, я поспешил скорее на речку. И вот там, на берегу, в своем любимом месте, *что-то приоткрылось*, когда я начал вдруг смотреть детскими глазами. Совсем немножко, чуть-чуть приоткрылось — и даже это *чуть-чуть* нельзя описать; это можно только самому ощутить; и я вот сейчас осознал, откуда это во мне, — от убиенного мальчика — через батюшку, у которого так встрепенулась, обнажилась душа, что я и почувствовал, подходя к Чаше, когда по спине пот потек между лопатками.

Я сварил обед, накормил маму, и она сказала:

— Ты приехал — мне сразу легче стало; я полежу, подремлю — а ты сходи на речку, погуляй!

На небе ни облачка, а меня после дороги качает, так и тянет отдохнуть на берегу, но я, соскучившись по родным местам, брел, пока не опомнился, увидев на горках Палонечку. Я упал на берегу и задумался, но услышав тихие в траве шаги, нехотя поднялся. Я никак не ожидал увидеть Любоску и не успел спрятать радость.

— А я звонил вчера тебе! — вырвалось у меня, едва мы обнялись; и засмеялся: — Во сне!.. Решил тебе позвонить, набираю номер — тут в форточку влетел голубь — и я проснулся! — Невольно я вспомнил вчерашний день с Еней в гостинице и еще добавил про голубя: — Он мне вчера во второй раз приснился! — Я это уже не Любоске, а себе сказал, понимая, что не зря он вчера приснился, и думая, к чему это, и желая, чтобы он еще и еще снился...

— А мне вчера приснилось, — так же горячо, как я, залепетала Любоска, — откусила кому-то палец! Испугалась, надо убежать — и тут вспомнила, что умею летать. Подпрыгнула, но лететь почему-то не получается; вдруг из прошлых снов всплыло: *для того чтобы полететь, необходимо движение мысли...* Однако сейчас недоставало *движения мысли* — я полетела низко над землей, и высокие травы касались тела.

— Это там, на горке, твой муж с детьми? — смутился я, все еще обнимая Любоску. — Он чего-то машет.

— Он тебе машет, — улыбнулась Любоска. — Он, конечно, знает про нашу давнюю, с детства, любовь...

— Откуда он знает?

— Ну и ты же все знаешь про него, — заметила Любоска.

«Да, я знаю, — подумал я, — что он хороший человек и хорошо зарабатывает, недавно купил квартиру в Красном Котельщике недалеко от вокзала — а что еще Любоске надо, но куда подевались у нее ямочки на щеках?» И — как я на нее посмотрел, так и она внимательно на меня посмотрела.

— А ты как? — спросила она. — Между прочим, мы приехали сегодня утром на одном поезде; на перроне в Столбцах я кричала тебе — но ты не услышал; очень сильно был чем-то озабочен; что случилось?

— Ничего не случилось, — ответил я. — Все хорошо!

Дома я застал маму у зеркала. Разглядывая себя, она тотчас заметила в зеркале, как я крадучись осторожно приоткрыл дверь, и оглянулась. Обхватив свою, уже многие годы седую голову, мама ужаснулась:

— У меня стали расти черные волосы!

...Назавтра, собравшись в магазин, я спросил у мамы, чего купить, и она, сожалея, что сама не может и что меня обязательно обманут, много чего наговорила, и я, между прочим, все купил — только сырков с шоколадной глазурью не оказалось.

— Ты поздно пошел в магазин, — огорчилась мама. — И сырки разобрали.

— Их еще вчера разобрали, — возразил я, — но завтра обещали привезти, не беспокойся.

Однако мама не слушала.

— Я же тебе говорила, что в магазин нужно идти до обеда, а ты очень долго собирался.

— Ничего страшного, — махнул я рукой, — завтра куплю.

— Еще неизвестно — доживу ли я до завтра? — вздохнула мама. — Если бы я могла ходить, — запричитала, — сама бы с утра сходила за сырками.

Тут я не выдержал и заорал:

— Нет в магазине твоих сырков! Ну нет их! Нет!!! Еще вчера разобрали!

— Не кричи на меня! — взмолилась мама; у нее слезы из глаз. — Разве можно так кричать, когда я едва жива...

Мама поспешила в спальню и легла. Я за ней; сердце разрывалось, когда и так мама всю жизнь проплакала из-за меня. Надо попросить прощения, но я повернулся и неслышно вышел.

Я взял велосипед и поехал за глазированными сырками в Палонечку. Погода испортилась; поднялся ветер и нагнал тучи, но я крутил педали. Внезапно все вокруг обмерло, хотя над головой тучи летели еще быстрее и еще чернее, и в эту минуту я осознал, что мама умирает. Ноги у меня сделались ватными. Я слез с велосипеда — надо походить, размять ноги, и я долго ходил, прохаживался, пока не почувствовал под собой землю, а то ходил будто по облакам.

Наконец я вспомнил про велосипед и поехал дальше. А вот и гора, с которой видна Палонечка. Еще издали я заметил парочку; только разогнался с горы, как эти двое скрылись за кустами. Женщина, оглянувшись, улыбнулась мне, но я, проносясь мимо, не успел разглядеть ее лица, однако в улыбке ее проскользнуло что-то ранящее душу. И скатившись по дороге вниз, я ахнул — да это же дяди Бэдина жена. Недоумевая, почему дядя решил от меня спрятаться и потащил Нюсю за собой, я повернул назад, а дядя Бэдя с Нюсей как раз высунулись из кустов, и я спросил:

— Чего, Бэдя, прячешься?

Дурочка Нюся захихикала; у нее была такая странная, жалкая улыбочка, что и я, хотя на душе не улыбалось, невольно вдруг усмехнулся. А дядя Бэдя нахмурился; глаза колючие, как иголки, и по их отчаянной стеклянности я догадался, что дядя давно воздерживается от пьянки; ежели бы он был, как всегда, надравшись, то не спрятался, а наоборот выбежал бы на середину дороги. Неужели это Нюся так достала его своей любовью?! Ясно, почему она все время улыбается, но разве она не понимает, что Бэдя едва держится и вот-вот напьется — и тогда ей уж достанется. Но сегодня Нюся нарядила мужа в чистый костюм и натянула шляпу, под руку с ним хихикала, а он рядом с ней, уродиной, чуть не плакал; невозможно представить, что когда-то у дяди Бэди была в Казейках первая красотка.

— А ты помнишь, — спросил я у него, — как ты катал меня с мамой на мотоцикле, и вот на этой горке, — я показал, — у меня ветром сдуло шапку.

Нюся расхохоталась, а дядя Бэдя побледнел, будто застыдился: когда-то катал меня, а сейчас спрятался. По испуганным льдинкам в его глазах я понял, что дядя стесняется своего несчастья, поэтому и потащил уродину жену в кусты, и мне стало жалко его. Дядя Бэдя хотел что-то сказать мне, но махнул рукой, и тогда Нюся вместо него сказала:

— А ты чего не женишься?..

8

Я привез маме глазированных сырков; она очень обрадовалась, подхватила с кровати и сама пришла на кухню. Я развернул обертку на одном сырке, но только мама попробовала его, как скривилась:

— Да он горький!

Я помог маме вернуться в спальню и улечься. Опять глаза у нее далеко, как тогда — в разоре, когда ела клубнику, но вот мама позвала меня, закричала, будто я не рядом с ней, а во дворе или на речке.

— Я здесь, — тут же отозвался я. — Что? Что ты хочешь?

— Я уже ничего не хочу, — прошептала мама. — Только хочу сказать, что...

— Ну что? — взмолился я. — Что ты хочешь сказать?

Мама перебирала пальцами по одеялу, словно на ощупь отыскивая нужные ей слова, а я, склонившись над ней, ожидал, что скажет; может, она скажет что-то такое, чего не могла за всю жизнь высказать. Затаив дыхание, я терпеливо ждал; вглядывался в ее лицо — оно изменилось до неузнаваемости и продолжало дальше преображаться, когда уже и лица нет — только остались одни глаза. *Чего ожидать дальше?* — испугался я, но так продолжалось бесконечно долго, может час, и тут я вспомнил: когда умирала бабушка — она тоже чего-то все хотела сказать, но уже не могла говорить, и она тогда это руками хотела сказать, все протягивала их куда-то, будто ребенка маленького звала к себе. Дядя Бэдя, не понимая, чего она хочет сказать, и что-то не зная, как утешить свою маму, которая, кстати, всю жизнь проплакала из-за него, дурака, — так же как и моя мама из-за меня, — дядя взял бабушкину руку и прижал ее к своему сердцу, да так и держал, часами держал у сердца; бабушка так и умерла, сжимая Бэдину руку. И я сейчас, как дядя Бэдя, хотел прижать к себе мамину руку, но мама не поняла моего порыва, когда за всю жизнь я ни разу ее не обнял и не пожалел.

— Может, вызвать «скорую помощь»? — пробормотал я.

Я взял телефон, но мама простонала:

— Не надо...

С телефоном в руке я выбрался на крыльцо. Черные тучи прогнали; за ними, прежде чем закатиться, успело показаться солнце, что предвещало завтра хорошую погоду. Надо позвонить Але, и я специально вышел из дома, чтобы мама не услышала

нашего разговора, но я все медлил, никак не мог собраться с мыслями, а потом решил: пусть Аля спокойно поспит, лучше позвоню ей утром.

Вернувшись к маме, я пожелал ей, как обычно, спокойной ночи, лег спать, но разве могла эта ночь быть спокойной? Мама часто вставала, зажигала свет, и я каждый раз спохватывался. Я боялся, что мама, слезая с кровати на ведро, упадет, и мне спокойнее было бы, если бы она звала меня, чтобы я поддержал ее; но пока она могла слезть, слезала сама, а я за фанерной стеной молился. И все же я, нечаянно забывшись, не заметил, как уснул, и отчетливо услышал посреди ночи стук в дверь. Я вскочил; мамы в доме нет; *где же она?* — недоумеваю, а в дверь уже колотят. Даже не спрашивая: *кто там?* — открываю; мне протягивают ребенка — и я проснулся, когда в эту минуту мама за стеной позвала меня.

Обессилов, она не смогла подняться с ведра. У меня сердце разрывалось, глядя на ее косточки, но я забыл про сердце, когда надо поднять маму с ведра и подтереть. В окне уже разгоралась заря; уложив маму в постель, я поспешил выбраться из дома и побежал к речке. Я бросился с обрыва в воду, а когда вынырнул, — у меня в груди измочаленное сердце забилося птицей. Я испугался и выскочил на берег; как раз в этот момент солнце просияло из-за верхушек елей, и я вспомнил про приснившегося ребенка. Не в первый раз мне протягивали ребенка во сне; к чему — я не понимал и глубоко задумался; вдруг мысли перемешались — и тут со дна души всплыла бабушкина «утка», которую я сам после смерти бабушки забросил на чердак.

Я не мог оставить маму одну и поехать за бабушкиной «уткой» в Палонечку. Тогда я решил одолжить «утку» в Казейках и отправился к соседям. Надо мной стали смеяться: никто «утками» не пользуется, когда появились памперсы. Я поехал в магазин, но взрослых памперсов в Казейках не оказалось.

— Для кого ты спрашиваешь? — поинтересовалась продавщица. — Неужели для своей мамы? Как я ее люблю! Она всегда улыбнется и найдет ласковое слово... — И продавщица вдруг расплакалась. — Что за жизнь?! — запричитала. — Еще недавно твоя мама приходила за покупками, а сегодня встать не может!!!

Я раскрыл глаза на эту женщину, и меня поразило то, что мама нашла слова для чужого человека, а ко мне не могла найти подхода, как и я не мог найти к ней. В одну минуту вся наша убогая жизнь предстала передо мной; можно было сейчас рвать волосы на голове, но я, глядя на продавщицу, у которой оказалось большое сердце, сам ожил; от нее — мне передалось; я едва сдержался, чтобы не разрыдаться, и поспешил домой. Еще на улице, услышав, как мама зовет меня, бросил у калитки велосипед, но когда вбежал в спальню, изумился появившемуся у мамы на щеках горячему румянцу.

— Помоги измерить давление, — попросила она.

Я взял аппарат и наматывая манжет на мамину руку, от которой осталась тоненькая косточка, в который раз ужаснулся.

— Приснилось, — попыталась мама улыбнуться, — стою голая в бане. Нет, не в бане, — уточнила, — а в предбаннике, но двери в бане *не восприняли* меня.

— Как? — удивился я. — *Не восприняли?* — И я задумался.

— Чего молчишь? — прошептала мама. — Сколько? Не может быть. Давай перемеряем...

— Надо вызвать «скорую»! — взял я телефон.

— Не надо, — взмолилась мама. — Они заберут меня в больницу, а я хочу умереть дома. Лучше дай таблетку!

Я уединился на заднем крыльце и позвонил Але, чтобы купила памперсы и скорее приезжала. Вернулся к маме; ей стало немного лучше после таблетки. Надо бы позвать батюшку, но я отчетливо видел и понимал, что мама оставалась при каких-то своих мыслях, когда мысли у нее уже должны быть *не свои*. Я посидел рядом с ней, но сидеть долго было тяжело, и я опять вышел во двор. Выглянул из калитки на улицу — в ту

сторону, откуда должна приехать Аля. Я уже сейчас начал ждать ее, хотя понимал, как она далеко; представлял, где Аля едет, а может только еще покупает памперсы. Затем я спохватился — и скорее к маме. Не мог долго находиться на одном месте — и опять во двор; тут соседка принесла завалившийся у них один взрослый памперс. Она показала, как им пользоваться, и я назад — к маме.

— Хочу погулять на речке, — пробормотал. — Я быстро, но все же давай наденем памперс.

И когда я пристегивал его, безмолвно твердил только одно: *Господи, помилуй! Ты все знаешь, Господи! Ты все видишь!* — И я ничего не просил, кроме: *Господи, помилуй!* И вот — когда я, измучив маму, наконец прилепил к ней памперс и укрыл ее одеялом, она спросила: *а как мне молиться?* — *Повторяй без конца: Господи, помилуй!* — и больше ничего не надо, — научил я, а потом подумал — неужели мама догадалась, что я не на речку собрался...

На небе ни облачка, как в детстве. Солнце печет, в его горячих лучах все разомлело; ветерком и не пахнет, ни один листочек не колыхнется — только вдали, куда иду, что-то гудит. Нет, это не я иду, а меня кто-то ведет... Я вспоминаю полузабытый детский сон; подпрыгнул, как мальчишка, и побежал *не своими* ногами, а потом остановился и прислушался. Да это же пчелы гудят в липах...

А вот и церковка! Сегодня будний день — она закрыта, и я — дальше, к дому батюшки. Увидел на лавочке самую младшую, еще на выданье, дочку батюшки — Ксению. В жару она в пуховом платке и в матушкиной шерстяной кофте. И эта Ксения такая маленькая, что ей матушкина кофта вместо платья, и рукава болтаются.

— Чего укуталась? — спросил я.

— Заболела, — пожаловалась Ксения. — А ты чего?

— К батюшке.

— Уехал он, — ответила Ксения. — Завтра будет. А что такое?

— Мама умирает, — начал я. — Надо бы причастить ее, но в церковь никогда она не ходила, и я даже боюсь спрашивать у нее — не позвать ли батюшку?

— Все случается по вере нашей, — пролепетала Ксения.

— Если я скажу маме про батюшку, — продолжал я, — она наверняка рассердится. И что делать, не знаю...

Тут Ксения вскочила с лавочки; пуховый платок ее развязался и соскользнул с плеч.

— Прошу тебя — верь до конца!

Не выспавшись ночью, я валился с ног — еще упаду и усну в тенечке под липой, но, когда Ксения закричала, с меня весь сон соскользнул, как у девушки с плеч пуховый платок. Она так на меня посмотрела, будто я мальчишка перед ней, будто это не я, а она гораздо старше.

— Подожди, открою сейчас церковь, — пожалела меня Ксения, — ты давно в ней не был.

Пока она ходила за ключами, я присел на лавочку. Запрокинул вверх голову на цветущую липу и на одну минуту забыл, как только во сне можно забыть, что мама умирает. Давно вот так не сидел на лавочке ни о чем не думая, и вспомнил бабушку, потому что только с ней так сидел на лавочке и ни о чем не думал. Я даже не заметил, когда вернулась с ключами Ксения, но тут загредел гром на ясном небе, и я вскочил.

Мы поспешили к церквушке, и я по дороге решил Ксении рассказать о чуде, недавно произошедшем со мной после причастия, когда от меня *что-то отошло*...

— Не надо об этом никому говорить, — Ксения даже не выслушала до конца, будто каждый день ей рассказывают о том, о чем рассказать невозможно, и она все наперед знает. Повернув ключом в амбарном замке, сняла его с двери и распахнула ее передо мной. — Будешь жить по заповедям, соблюдать посты и молиться, ходить в церковь и почаще причащаться, и постепенно *все отойдет*, — добавила.

— Но можно все это соблюдать, и ничего не произойдет, — возразил я. — Что-то надо еще...

— Да, — согласилась Ксения. — Что-то надо еще, и ты знаешь, что надо еще...

Я вспомнил про голубя, приснившегося перед причастием, но когда вспомнил про замученного самого маленького приемного сыночка батюшки, мне стало очень страшно, и я, перекрестившись, шагнул внутрь церквушки, ничего не видя после яркого солнечного света; как старик, едва не упал, зацепившись за порог, и, как бывает — от ветра задыхаешься, — чуть не задохнулся от нахлынувшего запаха того жуткого времени, когда меня еще на свете не было. Даже в погожий день в церкви под вековыми липами сумрачно, но тут страшно потемнело. Преклонившись, я уперся лбом в пол — и лбом ощутил под церковью корни сотрясающихся при каждом порыве ветра деревьев. Я ждал молнии и грома, но прежде ливень гробанул по железной крыше.

9

Спешу к маме, думаю о ней, — а за мной страшный топот; оглядываюсь — соседский петух. Я на него замахнулся, и он отпрыгнул. Я — дальше; петух опять за мной — подскакивает, и не то что в ногу клюнуть хочет, а на голову залететь. Никого другого из взрослых не трогает, боится, только детей бьет, а я такой маленький, как ребенок, и поэтому он мне проходу не дает. Однако я отметил, что он на меня не всегда налетает, а только тогда, когда из церкви возвращаюсь. Приходится взять палку и каждый раз обороняться. А после церкви в душе успокоение и тихая радость, но после того, как возьмешь палку, — уже не та радость!

У забора ржавый от бочки обруч, наполовину в земле, и в него, как в арку, шмыгнул петух, злобно поглядывая на меня и как-то боком-боком подбираясь все ближе. И я взял сейчас палку — и как дал ему! Он всегда успевал отпрыгнуть, но теперь я изловчился — и попал ему палкой по голове, и еще, и еще — он упал, и у него глаза закатились, как у человека, но тут же вскочил, и я ему еще раз по голове, и он теперь еле поднялся, а мне его жалко стало, бедняжку, жалко до слез. И я в который раз подумал: чего же он бросается на меня, когда из церкви иду; и тут я понял: надеваю в церковь праздничную одежду, и петух меня в ней не узнает.

Пока я дрался с петухом, тучу прогнало — и опять солнце! Но ветер не утихает, так дунул, что с березы надо мной, с каждого листочка — по капле, и меня окатило, как из ведра, но я и так мокрый до нитки.

Тут подбежал соседский мальчик.

— У тебя есть носовой платок?

— Нет, — и я дальше пошел, — а что? — но мальчик догоняет и протягивает носовой платок.

— Зачем он мне? — пожал я плечами.

— Когда польются слезы — их поддержать...

На цыпочках я прокрался в комнату к маме и, обнаружив, что она заснула, на цыпочках вышел. Я переоделся, опять заглянул к маме — надо же ее накормить, но она все еще спала, и я решил ее не будить. Сварил каши; мама не просыпалась, только руки достала из-под одеяла, и я один поел, затем в который раз зашел к маме, осознав, что это не обычный сон; и папа, и бабушка, когда умирали, вот так же засыпали — и уже не просыпались. Что же маме снится — и снится ли? Где она? Я выходил из комнаты и через минуту входил, выбирался во двор, в сад; выглядывал из калитки на дорогу, ожидая Алю, и возвращался к маме.

Мама положила руки на груди, и я понял, что неспроста так укладывают руки покойникам. И когда я стоял у ее кровати, не смея присесть, из груди у мамы вырвалось: уу-у, и это ууу... — все тянулось и тянулось. Я вспомнил, как, бывало, мама

кричала раньше во сне и перед тем, как закричать, издавала вот такой звук: ууу... — подобный нынешнему. Ей снилось, что в дом лезут воры, и когда она так начинала: ууу, было очень страшно, и я будил маму; если не разбудить — она так целую ночь будет кричать: ууу! — не так громко, но очень страшно, и поэтому надо ей перебить сон. Но сегодняшнее: ууу... бесконечно тянулось, надрывая мне душу, но я не смел маму разбудить — и на цыпочках выскользнул.

После грозы умытая зелень сверкала в росе. Ветер утих, к вечеру резко похолодало, но я куртки не надевал. В доме электричества не зажигал, ходил в потемках и дрожал. Только когда меня стало колотить, я наконец натянул свитер и куртку, которую ношу зимой, но согреться не мог и дрожал. Ходил по двору и смотрел на небо, как зажигаются звезды. А у соседей изо всех окон электричество; без конца хлопают дверями; никак не утихомиряются, не могут уложить спать своего мальчика. Его зовут, а он где-то спрятался в крошечном мраке в саду. Наконец мальчик запрыгнул на крыльцо, но прежде чем заскочить в дом, заулюлюкал, не зная, как выразить свою радость; хотел заулюлюкать, но он так набегался за день, что у него только вырвалось: уу-уууууу! И я испугался очень сильно, застигнутый врасплох этим ликующим: уу-уууууу, в котором услышал мамино предсмертное отчаяние, когда она уже кричать не может.

Наконец ноги не стали держать меня; так как несколько ночей подряд я не мог выспаться, только лег в постель, сразу уснул, но во сне вставал и, не зажигая света, слушал, как дышит мама. И так — всю ночь, но к утру я заснул другим сном, в котором как бы опять стал переживать вчерашний день и опять попал перед грозой в церквушку.

Приложившись к Богородице с Младенцем на руках, я перешел к иконе Ее Успения, где Христос держит на руках Ее душу, как Младенца. Тут я вспомнил мучившие меня, без конца повторявшиеся сны, в которых мне протягивали грудного ребенка, и сейчас, глядя на Христа с душой своей Мамы, я понял, что когда моя мама умрет, надо будет, подобно Христу, взять на руки ее душу. Я посмотрел на свои руки, а они грязные. Однако сам Христос не голыми руками взял душу своей Мамы, и мне надо найти такую одежду с длинными рукавами, как на иконе у Христа, чтобы принять душу мамы на эти рукава. И я оглянулся на Ксению в матушкиной кофте вместо платья, с болтающимися рукавами. Ксения их закатывает, но они все время раскатываются — и вот мне бы такую большую кофту. Тут гробанул дождь по железной крыше, но так дождь не может страшно гробануть — и чем же это еще запахло? Вдруг я осознал, что пахнет младенцами, и я понял, что это *замладенцы*, и понял тех людей, которые боятся в церковь через порог переступить. Будто читая мои мысли, Ксения закрыла дверь на засов — и едва успела, как в дверь заколотили. И я ужаснулся, осознав, что это душу моей мамы принесли. И вот они так гробанули в запертую дверь, что не выдержать ей. И я во сне так вскричал: *Господи, помилуй!* — как никогда в жизни наяву не кричал, и проснулся, когда мама позвала меня.

За окном уже сияло солнце. Я подхватился — и скорей к маме. Она пыталась стащить с себя памперс. Я помог ей, обмыл ее, затем подбодрил:

— Сегодня должна приехать Аля!

— Когда?

— Сегодня, — повторил я.

— Когда сегодня? — едва прошептала мама.

— Сейчас придет и привезет много памперсов, — сказал я, думая только о памперсах, когда мама о них уже не думала.

От мамы остались одни глаза, кажущиеся теперь огромными. Они лучились, полные жизни — еще вчера они не были такими, и я невольно вспомнил маму молодой.

— Есть хочешь? — спросил я.

— Нет, только попить.

Я взял кружку с водой и стал поить маму с чайной ложечки. Мама едва могла разжать зубы и приоткрыть рот и выпила три или четыре мои ложечки.

— Я еще посплю, — сказала она.

— Да, конечно, — подхватил я, — поспи. Еще очень рано...

Я выскочил босиком во двор; солнце высоко, но роса ледяная. Я вернулся, чтобы обуться, набросил куртку, а затем, выйдя на дорогу, посмотрел в ту сторону, откуда должна приехать Аля. Я долго так стоял и смотрел вдаль, пока в зимней куртке не продрог. Тогда я поспешил опять к маме. Она заснула со сложенными на груди руками, будто умерла. Сначала я боялся, что мама, почувствовав мой взгляд, откроет глаза и спросит — почему я, не отрываясь, смотрю на нее, но я с час пристально вглядывался в ее лицо, а мама ничего не чувствовала и глаз не открывала.

Едва услышав далекий гул машины, я выбежал из дома. Лихо подкатило такси, и Аля, распахнув дверцу, бросилась мне навстречу. Мы обнялись, как еще никогда в жизни не обнимались, и Аля смахнула со щеки слезу.

— Поплачь, поплачь, — сказал я ей. — Это очень хорошо — поплакать.

Я взял Алин чемодан, и мы поднялись по крыльцу в дом. Аля сразу к маме, не побоялась разбудить поцелуем. Я думал — мама проснется; почувствует, что дочка приехала, но мама, утонув в подушках, забылась глубоким сном и дышала ровно и глубоко.

— Привезла памперсы? — опомнившись, спросил я у сестры.

Аля поспешила распаковать чемодан.

— Будем сейчас надевать на маму памперс?

— Нет, зачем ее тревожить, — рассудил я. — Вот когда проснется, тогда...

Едва я это проговорил, как мне в голову ударило, что памперсы уже не понадобятся. Тут Аля поцеловала меня, как еще в детстве целовала, когда я был совсем маленький и ничего не понимал. Из маминой комнаты по всему дому начал распространяться тяжелый запах, и мы вышли вздохнуть во двор.

— А где Еня? — спросила Аля. — Вы же вместе поехали к маме...

Хотя я вспоминал Еню по многу раз на день, но мне показалось, что прошла вечность после того, как мы расстались, и застигнут был врасплох этим вопросом.

— Ее Бог пожалел, — осознал я.

— Что случилось? — не поняла Аля.

— Когда ожидали пересадки в Красном Котельщике, — нехотя начал я объяснять, — Ене позвонили из Хлюдожска, что берут ее на работу. Я знал, как долго Еня добивалась этой работы, и не стал ее удерживать...

— Зачем обманываешь? — взгрустнула Аля. — Я по глазам вижу, что у тебя произошло с Еней.

— Ее просто Бог пожалел, — опять повторил я. — Иначе Ене пришлось бы увидеть маму, а без содрогания сердца нельзя на ее косточки смотреть.

— Как можно было вместе ехать к маме, — изумилась Аля, — если ты эту Еню совсем не знаешь?! Сколько раз вы встречались? — спросила, и когда я не смог ответить на ее простой вопрос, не выдержала и призналась: — Я всего лишь раз видела ее, но сразу поняла, что она не для тебя.

— Почему?

— Да хотя бы потому что она выше, — заметила Аля, — да еще ходит на высоких каблуках. Она тебе об этом не скажет, промолчит, чтобы не обидеть, но никогда за тебя не пойдет — просто потому что ты маленький. Впрочем, не в этом дело, — вдруг сестра все переиначила, — вовсе не из-за роста Еня за тебя не пойдет — и это видно с первого взгляда. Как ты это не поймешь?

— Да что же это такое во мне?! — взмолился я в отчаянии, и Аля, спохватившись, приумолкла, а затем осторожно прошептала:

— Почему бы тебе не обратить внимание на младшую батюшкину дочку?

— На Ксеню?

— А что? — обрадовалась сестра, заметив, как я встрепенулся. — Она еще меньше тебя ростом и будет рада тебе! И это не то что я размечталась, а все в Казейках говорят.

— Ни разу не слышал, — пожал я плечами. — Ладно, теперь не время об этом; надо посмотреть, как мама...

Прежде чем заглянуть к ней в комнату, мы невольно переглянулись — страшно! — и я шагнул первый. Мама по-прежнему спала, только руки не на груди, а у горла. Наверно, ей все тяжелее дышать, и Аля раскрыла шире форточку.

— Куда ты? — испугалась сестра, заметив, что я бросился из комнаты.

— Сбегаю на речку за аиром.

— Ах, да, — вздохнула Аля. — Не беги, иди спокойно, — и сама поспешила за мной на заднее крыльцо, — но и не медли, а то, если мама проснется, я одна не надену на нее памперс.

Я побежал к речке и упал на берегу в траву. Закрыв глаза, но в глазах — мамини руки, подвигавшиеся к горлу, и ее истончившееся лицо с острым носом. Я перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Вспомнил, как сам едва не умер зимой в Хлюдожске у Али. Я заболел вскоре после того как познакомился с Еней, и мне кажется, если бы я с ней не познакомился, не заболел бы. Впрочем, на следующий день Еня уехала к себе в Зельву, но оставила сумку. И эта сумка стояла рядом с моей кроватью. Утром я просыпался, открывал глаза — сразу видел сумку и вспоминал Еню. Может, я и заболел так сильно от этой сумки, которую сама Еня называла «своей жизнью». Но разве это жизнь, если она вся в сумке? Я ничего не ел, не мог есть — и за несколько дней так отощал, что страшно на себя в зеркало посмотреть... И вот однажды ночью, когда мне совсем худо было, я боялся заснуть, хотя лучше бы уснуть, и я уже начал забываться, как очнулся от прикосновения чьей-то руки, нащупывавшей мой горячий лоб. Кроме, как Але, некому было подойти, но она свет не включала, шагов ее я не услышал; она, будто ангел, проскользнула по воздуху — и мне, больному, показалось, что это не Алина рука, а *чья-то*. И вот, когда эта *чья-то рука* прикоснулась к моему лбу, вдруг мне открылось что-то за краем жизни. Сначала я вспомнил, сколько раз меня обижали. А я ведь маленький, *благенький*, — как бабушка называла, — меня запросто можно обидеть, и обижали столько раз, что упомянуть невозможно, но я все и всех упомянул в одно мгновение — и вот с этой *чьей-то рукой на лбу* я всем все эти обиды простил. И я вдруг все понял. Но как бывает во сне, когда молнией промелькнет озарение, вскакиваешь с постели, но тут же все ускользает; так и тогда — хотя не спал, но то, что я понял с *чьей-то рукой на лбу*, — проскользнуло мимо; я остался ни с чем, но очень испугался, когда после того, как всех простил, души моей коснулась будто огненная гора.

Я не знаю, почему это вспомнил, лежа навзничь и глядя в небо. Я вспомнил про Алю, как там она одна с мамой, и вскочил. Разувшись, снял штаны и полез в речку за аиром, острые стебли которого росли вдоль берега, и быстренько надергал из илистого дна вместе с луковками корней целый пук выше себя, так что едва потащил его.

Вернувшись домой, я застал Алю перед мамой на коленях. Одной рукой сестра гладила маму по щеке, а другую приложила ко лбу, как когда-то и мне, но мама ничего не чувствовала и по-прежнему крепко спала. Я едва не расплакался. Надо бы и расплакаться, но я превозмог себя, крепился, хотя еще чуть-чуть и разревелся бы, как ребенок. Я стал расстилать по полу стебли аира. Сразу же неприятно потянуло болотом, в резкой гнили которого растворился тяжелый запах в комнате; аир вобрал его в себя, стало легче дышать. Я наклонился над мамой. Невыносимо больно было смотреть на нее, особенно — на ее руки у горла, когда душа отрывается от сердца. Мама всю жизнь проплакала из-за меня; сейчас, глядя на нее, я так ее пожалел, как не смог бы пожалеть, если бы она не проплакала всю жизнь из-за меня. И я в такую минуту невольно стал искать для себя оправдание, но какое оправдание можно найти

слезам мамы. Я не мог вспомнить ни одного ласкового слова, которое сказал ей хоть когда-то, ну хотя бы один раз. Ну хоть что-то, что сделал бы для мамы утешительное, от всего сердца, — и тут вспомнил, как напоил ее сегодня утром с ложечки. Опять всплыло, как мама едва смогла зубы разжать и открыть рот, чтобы выпить эти три или четыре моих ложечки, и я понял, что это последние ложечки, и не мог вспомнить последние ее слова. Трудно это все выдержать, и я вышел, а вслед за мной и сестра, поднявшись с колен, вышла.

Аля без сил повалилась в саду на траву, а я, не зная, куда себя деть, стал шататься по двору, по огороду туда-сюда, выглянул из калитки, хотел было найти себе какое-нибудь занятие, но ничего не мог придумать. И сколько времени я так, беспрестанно вздыхая, прослонулся по двору, — не знаю, но когда вернулся к маме, сразу заметил — дышит она как-то по-другому. Я скорее назад, чтобы сказать Але, но подкравшись к ней в саду, сообразил — надо осторожно сказать; так я и сказал, но получилось — не своим голосом, отчего Аля тотчас подхватила. Я побежал назад, но перед тем как войти в комнату к маме, остановился, поджидая Алю; и все же, когда услышал ее шаги, вошел первый. Никак я не ожидал увидеть маму с открытыми глазами, и тут же, по глазам, понял — она умерла... Может быть, в самый последний момент мама проснулась и открыла глаза, чтобы попрощаться с нами, и теперь нельзя себе простить, что мы оставили ее, когда никак нельзя было оставлять.

Аля, расплакавшись, обняла меня, а я опять сдержался, взял молитвенник, и мы стали читать молитвы по исходе души. За окном раздались крики какие-то, страшная ругань, и потом, когда я перешел в другую комнату и сел за стол, собираясь с мыслями, эти крики не прекращались, но мне не до этого было. Надо же обмыть маму, одеть, заказать гроб, затем позвонить дяде Бэде в Палонечку, чтобы на кладбище выкопали могилу рядом с папой. Не забыть договориться с батюшкой об отпевании — столько всего, что сразу и не ухватить. У меня голова кругом, а тут еще эти крики за окном. Не зная за что хвататься, я взял телефон, но опять так заорали, что я не выдержал и посмотрел в окно.

За пустырем, зарастающим березками, настроили домов, а сбоку, чуть в стороне, еще один недостроенный. Между ними поворачивает в поле дорога. По ней бегают какие-то мужики, и от их отчаянной ругани леденеет душа.

— В Березовку! — орут, — в Березовку!!! — И тут выскочили между домами кони. Еще отчаяннее крики; мужики защелкали кнутами, заворачивая табун в Березовку, и кони, один за другим, проскакали вдоль забора по лужам после вчерашней грозы, а я, глядя, как они мимо окна скачут, разрыдался. Я и раньше не мог на них без слез смотреть, а теперь все то, что во мне накопилось, что сдерживал в себе, — хлынуло горячими ручьями из глаз. Когда кони пронеслись, я бросился на заднее крыльцо, но увидел одни лишь только развевающиеся хвосты, вслед за которыми бежал какой-то отчаянный сорванец; рубашка у него от пота прилипла к спине. И тут у меня в руке зазвонил телефон. (Я, как держал его в руке, так и выскочил с ним на крыльцо.) Не задумываясь, нажал на кнопку и приложил телефон к уху, но когда услышал Еню, никак не мог понять, чего она звонит, зачем?..

И в этот самый неудобный момент вышла из дома сестра.

— Что случилось?

Я весь вспыхнул, горю; будто оказался голый перед Алей. Еще перед кем-то, ладно, а перед сестрой — ужасно стыдно. А сам подумал про Еню: это же надо, провела рукой мне по колену — и я забыть ее не могу! Чего же она хочет? Тогда, в гостинице в Красном Котельщике, не мог ее понять, и вот только сейчас догадался, что ее «нет» означает «да»! Но я уже этому не обрадовался...

Марина Вишневецкая

Так устроен белый свет

* * *

Ничего на свете нет
Травянистей, чем трава.
Ничего на свете нет
Деревянной, чем дрова.
Ничего на свете нет
Говорящей, чем слова —
Так устроен белый свет.
Самый-самый-самый белый —
Ничего белее нет.

* * *

Родиться миногой —
Не мало, не много.
Родиться коалой —
Не много, не мало.
И гиппопотамом, и носорогом —
Не то что бы мало, не то что бы много.
А вот человеком с душой и умишком —
Родиться как будто бы даже и слишком.
Ответственно слишком за ту же коалу:
А вдруг у нее пропитанье пропало?
За гиппопотама и за носорога:
Как сделать, чтоб их злой охотник не трогал?
За пса в подворотне, за кошку в подвале:
Чтоб их уважали и не обижали —
За всех, кому ходится четвероного,
Кому от нас надо как будто немного,
Как будто немало, как будто не слишком —
Чтоб мы их любили душой и умишком.

* * *

Жук сказал себе: «Я — жук,
Мой хитиновый кожух —
Не чета осенним листьям —
Не пожухнет, не провиснет,
Ладно скроен, крепко сшит,
Весь сверкает и шуршит.
Хорошо жуком родиться,
Кожухом своим гордиться.
Зря я к веточке приник!»
И покинул свой тайник.

Дрозд сказал себе: «Я — дрозд,
Молодой, пошедший в рост,
И ничто не укротит
Мой растущий аппетит.
Это кто же там летит —
Ладно скроен, крепко сшит?
Хорошо дроздом родиться,
Зорким зрением гордиться!»
И помчался напрямиком
За сверкающим жуком.

Жук сказал себе: «Вот дрозд!
Вижу голову и хвост,
Лапы вижу в вышине...
Неужели он ко мне?»

Дрозд нахмурился: «На вид
Этот жук не ядовит.
Но летит уж слишком пылко,
Не как жук, дрожа подкрылком,
Он простор небесный рвет,
Как железный вертолет.
Значит, где-то брюшко с ядом
Прячет под цветным нарядом.
Я же дрозд, пошедший в рост,
Не настолько глуп и прост,
Чтоб отравой соблазниться,
Я найду, чем прокормиться!»
И рванулся в облака,
Криком изумив жука.

Жук сказал себе: «Вот дрозд
Прочь летит, поджавши хвост.
Хорошо жуком родиться,
Кожухом своим гордиться,
И забыв про смертный страх
Вдаль нестись на всех парах.
Жук я все же иль не жук?!»
И присборив свой кожух,
И украсив крылья блеском,
Поднялся над перелеском.

* * *

Жирафы играли друг с другом в пятнашки
И так запятнали друг другу рубашки,
И так запятнали друг другу штаны,
Что пятна на них и поныне видны.
Ни озеро Ниос, ни озеро Чад
Не в силах отмыть заигравшихся чад.

* * *

Ела белка булку в балке,
Белке было страшно жалко
Поделиться булкой с белкой —
Тоже белкой, только мелкой.
А мораль? У белки в балке
Утащили булку галки.

* * *

О, эти гаммы, эти гаммы!..
Как будто в длинных платьях дамы
По гулкой лестнице бегут,
Вот-вот споткнутся, упадут,
Визгливо всхлипнут, повернут
И бросятся по тем же самым
Ступеням, в тот же самый путь...
Когда бы не упорство мамы,
Я дамам дал бы отдохнуть.

Ксения Драгунская

Рассказы

Следующий

В деревне, конечно, весело. Особенно летом. Только в августе многие дачники уезжают на юг, и становится тихо и скучно, почти как зимой.

А тут еще солнце куда-то девалось, не видно уже несколько дней, наверное тоже на юг уехало.

Никого не осталось, кроме Оли. Тимофей от скуки пошел к ней в гости. Хотя у Оли тоже скучно — дома командуют мама и бабушка, надо разуваться, Тимофей этого не любит, потому что носки у него не всегда одинаковые, так получается...

А папа Олин всегда на работе в Москве, даже летом.

На веранде Оля, отвернувшись к окну и высунув кончик языка, что-то резала большими ножницами. Слышалось, что играют на гитаре — по радио, что ли? Пахло чем-то вонюче-химическим.

— Привет, — не поворачиваясь, сказала Оля. — У меня тут кладбище шершней.

Действительно, на деревянном подоконнике валялись огромные дохлые и полудохлые шершни, и Оля разрезала их пополам большими ножницами.

— Я их сначала одуряю этой вонючкой из баллона, чтобы они не могли летать, а потом разрезаю пополам. Там есть еще ножницы, давай тоже!

— Да? — нерешительно спросил Тимофей.

— А ты думай, что это твои враги, — посоветовала Оля. — Вот, например, это у меня Олеся Тарасовна по сольфеджио. Это Алиска, она надо мной на физре смеялась... Это Ромка, он однажды моим рюкзаком в футбол играл...

Тимофей тоже представил себе своих врагов, и дело пошло!

Пятым был врач Сергей Борисович, который, когда мама спросила, что делать, чтобы Тимофей не болел так часто, ответил «снимать штаны и бегать». Сергей Борисович приятно хрустнул и развалился на две части. Из него потекло что-то желтенькое. Тимофей вздохнул от удовольствия, но тут вошла Олина бабушка:

— Вы что делаете?! Нелюди! Бедные жучки! Да что же это такое! — запричитала она. — Жучёчки бедные...

За стеной перестали играть на гитаре.

— Не паникуйте, Инесса Вадимовна, — послышался голос Олиного папы. — Шершень — паразит, кровососущее насекомое, чей укус опасен для здоровья, особенно людей с маленькой массой тела. К тому же у шершней нет нервных окончаний.

— А у бабушки есть нервные окончания? — заинтересовалась Оля, лязгая ножницами.

— Нелюди! — застонала бабушка.

Олин папа вышел на веранду и забрал у Тимофея и Оли ножницы.

— Пойдемте, братцы, погуляем, — предложил он.

Вот это да! Олин папа дома, играет на гитаре, никуда не спешит и сам предлагает погулять!

Трое вышли на улицу, кутаясь в целлофановые плащи. Лил дождь.

В гнезде на водокачке сидели аисты. Вернее, мама и двое детей сидели в гнезде, а папа, самый большой аист, сердито нахохлился и честно мок на макушке столба с проводами.

— Обиделся на своих, — догадалась Оля.

— Достали они его, вот как вы меня, — сказал Олин папа.

Из-за озера ветер гнал темные тучи. Они летели черными некрасивыми клочьями, как будто на небе кто-то ссорился, дрался и пускал «клочки по закоулочкам».

— Там у них фабрика темных туч, что ли? — спросил Олин папа. — Не знают, что туч уже полно, и все продолжают их делать.

— А я знаю, из чего делают тучи! Из недоставленных эсэмэсок и символов, которые не может прочитать Word, — сказала Оля. — Нам на «окружающем мире» практиканты говорили.

— Это пурга, — поправил папа.

— Пурга из снега, а тучи точно из недоставленных эсэмэсок.

— А из того, что остается и не годится даже для туч, из этих остатков делают крабовые палочки, — решил папа.

Оля обожала крабовые палочки и огорчалась, что ей запрещают съедать по пять упаковок сразу.

— Крабовые палочки делают из туалетной бумаги, это всем известно, — сказал Тимофей.

— Из использованной, — добавила папа.

Оля покосилась на Тимофея и на папу.

— Да, — подтвердил папа. — Гадость эти крабовые палочки. А вот железо не помешает растущему организму.

Все помолчали, глядя на мокрых аистов.

— В магазин, что ли, зайти? — поежился папа.

В магазине продавщица тетя Надя смотрела телевизор. Начинался дневной сериал. На экране мелькали всякие белобрысые тети с большими красными губами, и мужской голос встревоженно говорил:

— Краткое содержание предыдущих серий. Лесные пожары, борьбой с которыми заняты все герои телеромана, продолжают бушевать. Неожиданно Раиса узнает от Ларисы, что Алиса уже предупредила Олесю о том, что Роман знает, что Иван Акиндинович — не его сын. Неожиданно возвращается из тюрьмы Богдан. Он по-прежнему безумно любит Оксану, но не застав ее дома, женится на Айгуль... Неожиданно начинается наводнение...

Тетя Надя слушала, открыв рот.

Папа спросил погромче:

— Есть у вас вентиляторы или фены большие?

Тетя Надя вздрогнула и уставилась на папу.

— Нам аистов надо подсушить, а то сидят, как мокрые курицы, стыдно гостям показать.

— Вон, берите, в углу стоит, деньги потом занесете...

— А гвоздики есть какие-никакие? Детям железо необходимо, хоть погрызут...

— Берите, берите, только сами взвесьте...

И опять повернулась к телевизору, как намагниченная.

Но папа не отставал:

— И еще, пожалуйста, вон тот сборник финских анекдотов на русском языке.

Тут тетя Надя на миг оторвалась от сериала, взглянула, куда показывал папа, и сказала с укоризной:

— Это житие местного святого, блаженного Пролетария.

— Но там дядька с рыбой вроде нарисован? — прищурился папа. — Или я опять не те линзы надел?

— Вот по этому чуду с рыбой его местный художник и написал, — уважительно сказала тетя Надя, жадно впучиваясь обратно в телевизор.

— Теть Надь, нам бы еще ножей каких, пил, вил, щас пойдем с детишками по деревне, может, зарежем кого, — жалобно попросил папа.

Это он нарочно такое сказал, чтобы тетя Надя отвлеклась от телевизора.

Но тетя Надя только рукой махнула.

— Берите-берите, деньги потом занесете, я же вас знаю.

Но пилы и ножи они брать не стали.

Встали там, где луг начинает спускаться к озеру, и кричали на тот берег, где фабрика черных туч:

— Прекратите делать тучи!

Но не помогло.

Тогда папа прокашлялся и сказал с выражением:

— Дорогой и уважаемый блаженный Пролетарий! Извините, что мы про вас ничего не знаем. Мы живем тут всего второй год. Как покровитель этих мест, не могли бы вы остановить на некоторое время работу фабрики черных туч?

Но черные клочья все летели и летели из-за озера.

— Надо хоть узнать про него что-нибудь. А то невежливо получается, — решил папа. — Зря книжку не купили.

— Баба Валя из церкви наверняка знает, — подсказал Тимофей.

В деревне две бабы Вали — одна просто бабушка, помогает в церкви и всех угощает конфетами, а другая — «пиратская» старушка, потому что у нее собака Пират, и сама она довольно хулиганистая, чуть что — норовит наподдать палкой по попе и все время «выражается».

— Торжественно обещаем, что выучим наизусть ваш полный испытаний и чудес жизненный путь, дорогой блаженный Пролетарий, — пообещал папа.

— Да! — крикнула Оля, задрав голову, а Тимофей молча кивнул.

Поддействовало. Черные тучи стали лететь помедленнее, а потом вообще кончились.

Небо посветлело и как будто поднялось, и в его молочной белизне теплым пятном проглядывало солнце. От мокрой травы, от дороги и особенно от озера поднимался туман...

— Ну, пошли с нами обедать? — пригласил папа.

— Мне у чужих не разрешают, — нахмурился Тимофей.

— Ну, будь ты другом, думаешь, мне сильно весело с одними девчонками? Сядем на улице, под сосной, как люди...

Это папа нарочно сказал, чтобы Тимофей не боялся, что заставят разуваться.

— Не разрешают, — покачал головой Тимофей.

— Тогда до следующего раза, — решил папа.

За обедом бабушка спросила Олиного папу:

— На какое число намечен наш переезд в Москву? Все-таки уже конец августа, Оленьке скоро в школу.

Оле тут же есть расхотелось.

А папа посмотрел на бабушку и на маму и сказал с удовольствием:

— Ни на какое. Понимаете? В Москву нам теперь ехать незачем. Что там делать? Работы у меня больше нет, банк лопнул, вы это прекрасно знаете.

Папа встал из-за стола и принялся ходить по веранде, а мама и бабушка, как кошки, следили за ним глазами.

— Теперь мы будем жить здесь, потому что деньги быстро кончаются, а в Москве жить дорого. Прекрасно помню, что вы, милые дамы, возражали против покупки деревенского дома. Вам дачу в Черногории подавай. Зато теперь-то как хорошо! Мы будем жить в деревне. Чтобы сэкономить на бензине, будем ездить на великах. А потом вообще машину продадим. Ниву купим, вот. Не машина — зверь! Разведем большой огород... В школу Оля здесь будет ходить.

— Ура! — завопила Оля. — Тетя Ира добрая!

Действительно, учительница начальных классов в деревенской школе была очень добрая и красивая, не то что Олина учительница в Москве, похожая на старого накрашенного карлика с большими зубами.

— А я буду ходить по дворам, помогать, кому что надо. Может повезет, на лесопилку возьмут. А то песни могу петь на площади перед магазином. Ты, Дашенька, научишься плести лапти и валять валенки. Вы с Олей еще можете собирать ягоды. А Инессу Вадимовну посадим у магазина продавать ягоды, валенки и лапти богатым дачникам из Москвы. У нее вид жалобный, все покупать будут, бедную старушку поддержать.

Бабушка, считавшая себя девушкой, поджала губы.

— Ага, — сказала мама. — Тут уже был блаженный Пролетарий какой-то. А ты, значит, следующий? Блаженный Банкирий, что ли?

— Ничего смешного, Дашенька, — строго сказал папа и сел за стол. — Иди в Интернет, пока деньги на счете не кончились, и смотри, как лапти плести.

Мама хотела обидеться, но посмотрела в окно и удивилась:

— А это еще кто?

Собаки у Оли не было, и никто из обедающих не заметил, что под окнами возле крыльца стоит парень в брезентовой штормовке и в забинтованной руке держит большую бутылку с мутноватой жижей.

Папа тоже посмотрел на парня, не понимая, но встал из-за стола, вышел на крыльцо и поздоровался с парнем за руку.

— Чего ты, земляк? — спросил папа.

Парень застенчиво улыбнулся и молча показал папе бутылку.

— Чудной ты. Я по жизни не больно-то выпиваю и тебя в первый раз вижу, — сказал папа. — Иди своей дорогой, не обижайся.

Парень потоптался у крыльца и ушел. Папа сел обедать дальше. А Оля вспомнила:

— Пап, да это же с лесопилки, ты его в больницу возил, помнишь? Ну, мы на Первое мая приехали, только ужинать сели, а тут девушка прибежала, плачет, говорит, брат руку на пилораме порезал, а в больницу отвезти некому, потому что Первое мая, вечер и все уже никакие. Помнишь? А ты говоришь, да, конечно, отвезу, а бабушка говорит, отбивнушки остынут, а ты говоришь, что же, пацану из-за моих отбивнушек без руки оставаться? Ну, помнишь?

— А! — вспомнил папа, посмотрел в окно и увидел, что парень идет обратно и вместе с ним идет дядька постарше, точно такой же и в такой же штормовке.

— Батю привел, — догадался Олин папа. — Ничего не попишешь, надо уважить. И встал из-за стола, чтобы выйти на крыльцо.

— Митя, — очень четко сказала мама. — У тебя гастрит.

Папа вышел на крыльцо, поздоровался за руку с обоими и сказал:

— Не могу, братцы. Доктора не велят. Ты вот руку подлечил, а мне тоже организм подлечить надо. Никак не могу. К тому же (папа оглянулся на дверь) и сказал потише: — Дома жена с тещей.

Двое переглянулись и ушли.

Папа вернулся к столу.

— Митя, — опять очень четко сказала Олина мама. — Не вздумай пить вот это вот, что у них в бутылке. Спроси сначала, из чего у них оно.

— И есть ли разрешение санэпиднадзора, — прибавила бабушка.

— Угу, — сказал папа. — И рекомендовано ли это программой Елены Малышевой.

Оля увидела, что двое в штормовках опять идут к крылечку, а с ними идет...

— Папа, это же дядя Леша Осипов! — обрадовалась Оля. Она давно хотела познакомить папу с дядей Лешей, ей казалось, что они подружатся. — Это же папа Святослава, Аньки и Машки! У них самый красивый дом с башенками и балкончиками, резной, прямо теремок, и всегда навалом живности, даже лисенок однажды жил, и дядя Леша мне разрешил его погладить! Ну, я тебе столько раз рассказывала! Папа!!!

Папа в третий раз вышел на крыльцо.

— Прости, хозяин, одичали они на своей лесопилке, — говорил дядя Леша. — Пришли спасибо говорить, а сами молчат, как упыри. Нет бы сказать по культуре — выпьем, мол, Дмитрий Маркыч, за здоровье раба Божьего раздудуя Антония и за его трудовую руку, которая уцелевши, Дмитрий Маркыч, только благодаря твою человеческую отзывчивость.

Папа опять поздоровался за руку, теперь уже с троими, и, обернувшись в дом, крикнул нарочно густым басом:

— Дарья! Накрывай в беседке!

А в калитку уже входила тетя Марина, дяди Лешина жена, мама Святослава, Машки и Аньки. С миской горячей картошки и банкой огурчиков.

— Вот молодцы, додумались среди бела дня людям на голову свалиться, да без закуски... Оляна, а ты что не заходишь, у нас котята новые подросли...

Новые котята! Тут одного котенка за всю жизнь не выпросишь, а в деревне старых, весенних котят еще толком не раздали, и тут уже новые... Вот жизнь в деревне, вот везуха!

Поговорить с тетей Мариной вышла и Олина мама, и скоро все, кроме бабушки, уже сидели в беседке под сосной.

— А мы теперь всегда здесь жить будем, — сказал папа. — Накрылся мой банк бордовой шляпой...

— Да! — похвасталась Оля. — Мы с мамой будем лапти плести, а папа по дворам ходить помогать или песни петь у магазина...

— Ой, да прям... — махнула рукой тетя Марина. — Да вас хоть щас на пилораму возьмут! Или в школе работать можно. Вы же и иностранный, и алгебру, и информатику... Работы хоть отбавляй! Это кто делать ничего не хочет и не умеет, говорит, что в деревне работы нет.

— Точно, — кивнул дядя Леша.

Заговорили про всякие болезни, кто как резался, ранился или ушибался, про состояние районной больницы, починку моста и водонапорной башни, и дядя Леша вдруг решил:

— Тебя, Дмитрий, в президенты двигать надо. Не голова, а дом советов. И совесть на месте.

— Кто ж за него скажет? — серьезно спросил Тошин папа.

— Я скажу. Ты скажешь. Ира Вовина, учительница. Вова Ирин, тракторист. Баба Валя из церкви. Баба Валя Пиратская тоже. Надя-магазин. Ты, Тоша, скажешь, и Танюха твоя. Комаровы с того края. Мои — все целиком. Пилорама — вся за тебя. Да все скажут. И ты президент.

— Президентом не хочу, — сказал папа. —хлопот много. Страна большая. Вот одной деревни — это да, годится. Нет, лучше царем! — решил папа. — Царем согласен. Царем деревни.

— Царем родиться надо, — подсказал Тоша.

— Это всей России царем родиться надо, — серьезно сказал дядя Леша. — А одной деревни — можно и путем голосования.

— Собрание, значит, надо устраивать, — сказала тетя Марина.

— Можно с подписным листом по дворам пройти, — придумал Тоша, он совсем осмелел и говорил теперь складно и хорошо. — Если большинство согласно, то будете, дядь Мить, вроде как председатель сельсовета. Даже главнее! Вас, считайте, народ выбрал, а Борман предом стал, потому что никто вообще ни за кого голосовать не ходил.

Все замолчали, вспоминая местное начальство по кличке Борман, потому что он был похож на Бормана из старинного фильма про семнадцать мгновений весны.

— Хапуга этот Борман, — сердито сказала тетя Марина. — Соглашайтесь, Дмитрий Маркыч. Борман будет думать, что он начальство, и ладно. А на самом деле все вас слушаться будут.

— А я? — спросила Оля. — Я тогда буду принцесса?

Все засмеялись.

— Нет, — серьезно сказал папа. — У выбранного царя родственники остаются простыми людьми, но они помогают царю работать, а его подданным — жить.

Но Оля сделала все-таки папе крутую корону из коробки от чайника и цветной бумаги.

Мама и бабушка ждали, что сейчас папа скажет, что пошутил, и все поедут в Москву.

Но папа и не думал никуда ехать. Он выключил все мобильники, надел старые джинсы, клетчатую рубашку и целыми днями возился во дворе или в сарае, что-то пилил, строгал, по вечерам смотрел на компьютере старые фильмы и вообще прекрасно себя чувствовал. Приходили Тошин папа, дядя Леша Осипов и другие местные дядьки, вместе с папой они считали, сколько стройматериалов надо для ремонта старой водокачки и как самим, без воруи Бормана, починить дырявый асфальт и аварийный мост.

В четверг в переулок въехала большая черная машина. За рулем сидел водитель в костюме и рубашке. Он привез полноватого дядьку в майке.

— Девочка, это деревня Новая Дордонь? — сердито спросил дядька в майке. — Живет у вас Ханин Дмитрий Маркович?

— Это мой папа!

— Проводи меня к нему. Скажи, мол, Проклов приехал.

— Папа сейчас не может. Он теперь царь. Ведет прием подданных.

— Не шути, деточка, — добрым голосом сказал дядька. — Я все бросил, четыреста верст за ним скакал...

— Ладно, сейчас, — согласилась Оля.

В открытое окошко было слышно, как две старушки жаловались папе:

— Дачники в августе месяце каждый год бросают котов, так эти коты дичают, в стаи собираются, в банды, вечером на улицу выйти страшно... У Петровых в прошлом году провода срезали... Надо решение принять, указ выпустить — котов одних не бросать!

Проклов вышел из машины. Он был в обрезанных по колено джинсах и «кроксах» на босу ногу.

Когда Проклов вошел в избу, папа сидел на печи в разноцветной картонной короне, завернувшись в пестрое одеяло.

— Ага, ну да... — сказал Проклов про корону, не очень-то удивившись. — Я к тебе напрямик, без реверансов... Как услышал, что твой банк гавкнулся — дух захватило...

Вот, думаю, само в руки плывет... Надо Ханина к нам в холдинг заполучить. Неделю тебе названиваю. А у тебя телефон отключен... На почту пишу — ни гу-гу...

— Мы не пользуемся мобильными, — пожал плечами папа. — Тут все друг от друга в шаговой доступности. В случае крайней необходимости — прекрасно работает синичковая почта, действует гораздо быстрее голубиной.

Проклов понимающе сказал «Хе-хе», но вид у него был взволнованный.

— Я, Митя, человек простой, ты знаешь, — предупредил Проклов. — Не уйду, пока не согласишься, — решил он и крикнул своему лысому водителю в окно: — Валерий, паркуйся аккуратно, мы с ночевкой.

Тот молча удивился и стал устраивать свою черную машину под кленом бабы Вали из храма.

— Приступай, Митя, хоть щас... — упрасивал Проклов. — Мы с тобой горы свернем...

Потом папа и Проклов долго разговаривали, потом сходили искупаться, потом Проклов и Валерий пообедали вместе со всеми...

А на прощанье папа сказал Проклову:

— Мост надо ремонтировать, да и водокачка на ладан дышит... Вот тут и крутись...

Наутро папа снова включил свои мобильники, они трезвонили все время, и по ним он отвечал непонятное — какими-то сокращениями или цифрами, а то вообще по-английски и по-немецки...

А еще через день встал в шесть утра, сделал зарядку, побрился, упаковался в костюм с галстуком, побрызгался одеколоном и поехал в Москву работать в совете директоров какого-то там чего...

Отъезд Оли в город наметили на двадцать девятое августа...

— Ладно, — решила Оля. — Приедем снова в конце мая. Всего-то девять месяцев потерпеть. Ведь папа царь деревни. А царь должен хорошо зарабатывать, чтобы о своем народе заботиться.

Хокку

— Это несправедливо, — тихо сказала мама.

Она часто так говорила. Например, когда на региональную олимпиаду по географии послали Чаусову. Городскую олимпиаду выиграл Егор, и было ясно, что на регион ехать ему, но Чаусовы родители купили директрисе Ольге Игоревне турпоездку в Скандинавию. А мама Егора могла подарить только электрический чайник из Ашана, и тут уж упирайся не упирайся.

Теперь мама опять сказала:

— Это несправедливо.

Егор не знал, о чем она. И смотрела она не на него, а куда-то вбок и вниз. Потом она поежилась под одеялом, устраиваясь поудобнее на левом боку и закрыла глаза.

Егор понял, что читать она больше не хочет, и пока он читал, она не слушала его, а думала про несправедливость.

Егор отложил книжку. В палате было довольно тепло, а Егор все равно зяб. Город за окном казался игрушечным, бело-меховым от снега. Брякнул мобильный. Егор посмотрел на него с ненавистью и выключил звук. Но мама даже не открыла глаза. «Полюс иду до метро. Сзади крадутся собаки. Не оглянись, знаю без них, что январь». Дмитрий Андреевич. Мама ходит с ним в походы. А куда еще идти? Дома у мамы — Егор

и бабушка, а у Дмитрия Андреевича — жена и дети. Жена тоже иногда шлет маме эсэмэски.

От них мама краснеет и плачет, а бабушка сердится: «Не можешь ты себя поставить, как следует... Мокрая курица, противно смотреть...»

Егор спрятал мобильный с выключенным звуком еще и под подушку, чтобы не гудел, не вибрировал, не мешал маме спать.

И тоже уснул.

Когда он проснулся, мамы уже не было. Совсем не было — вместо ее высокой кровати на колесиках было пустое место с маленьким клочком пыли.

Бабушка обнимала Егора, сильно пахла духами и плакала, теплые слезы попали Егору на лицо и руки. Было противно.

Егора пригласила в кабинет мамин лечащий доктор Велта Яновна.

— Твоя мама была светлым и очень мужественным человеком, — сказала она. — И я уверена, что ты тоже такой. Если что, обращайся ко мне. Звони смело в любое время за любой помощью.

Она дала Егору большую визитку — крупные темные буквы на плотной серой картонке. Это потому что чаще всего у Велты Яновны лечились старые люди, и надо было, чтобы они могли разглядеть телефон доктора сразу, без очков.

— Спасибо, — сказал Егор.

— И помни, что Бог тебя видит, никогда не оставит и приготовил для тебя много чудес.

— Велта Яновна, вы же врач, химию с физикой изучали. Бога нет.

— У нас в храме все священники или физики, или врачи, — улыбнулась Велта Яновна. — А хочешь, летом заберу тебя к своим, на хутор в Латвию? Там озеро, и ребята есть хорошие. Подумай. Словом, звони, и я тоже буду тебе звонить.

В коридоре дожидалась бабушка. Увидев Егора, она снова заплакала, перекосив лицо, и Егору опять стало противно.

Дома пили чай с бабушкой и Борисом Генриховичем, другом бабушки. Бабушка воняла духами и стонала, а Борис Генрихович подавал ей таблетки и водичку. Потом он спросил:

— Туда сообщила?

— Через мой труп, — железным голосом учительницы сказала бабушка и стала стонать дальше.

— Не глупи, Тамара, — нахмурился Борис Генрихович и сердито посмотрел на нее светлыми глазами навывкате. Борис Генрихович работал часовщиком в Доме быта, и с такими глазами ему было удобнее разбираться в мелких деталях. — Вон, наглупила уже...

Борис Генрихович глянул на Егора и покачал головой. Он словно сердился на бабушку за то, что все кончилось так. Как будто он надеялся до последнего, что как-нибудь обойдется, а вот не обошлось, и от этого он удивился и рассердился.

— Сообщай по-быстрому, — сердито сказал он. — Хватит уже...

Егору было холодно. В своей комнате, вернее, в их с мамой комнате, в своей половинке за икейскими полками, он закутался в плед и стал думать — про маму, про Велту Яновну и про Бога.

Егор понял, что с мамой реально плохо, когда бабушка стала ходить в церковь. Раньше бабушка туда никогда не ходила, а когда видела священника по телевизору, говорила «наел пузо, патлатый» или «да на нем пахать надо». Первый раз в церковь она взяла с собой Егора, и там священник, очень худой и коротко стриженный, устало попросил ее стереть с губ помаду прежде чем целовать икону. Однажды принесла из

магазина много сладостей, фруктов и сыр. А когда Егор хотел открыть пачку пастилы, замахала руками: не трогай, это в церковь...

Бабушка носила Богу сладости, чтобы мама выздоровела.

Но Бога нет, есть еще кто-то, могучий и несправедливый, кого не умаслишь никакой там пастилой.

А Велта Яновна верит в Бога, хоть и врач.

Велта Яновна высокая, седая, совсем не покрашенная, а выглядит гораздо моложе бабушки. Егор подумал вдруг, что если бы вместо бабушки у мамы была Велта Яновна и говорила бы маме, что она светлый и мужественный человек, то мама бы не заболела. Жила бы себе и жила, долго и счастливо. Мама заболела потому, что время бежало все быстрее, а мечты совсем не успевали сбываться. Мама любила все красивое и веселое, умела из старой одежды делать новую. Она работала в досуговом центре, к ней приходили учиться плести кружева, выращивать цветы, печь пироги, варить мыло, пахнущее травами и морем... Мама любила веселое и красивое, море, котят и щенков, а жизнь показывала ей грустное и тяжелое — папа Егора погиб, когда Егор еще не родился, денег никогда не было, мама готовила и шила на заказ, животных дома не разрешала бабушка, а купаться ездили в Серебряный Бор.

Мамин мобильный брякнул у Егора в кармане. Пришла эсэмэска. «Зимний рассвет смотрит в лицо. Не опущу головы — не стыдно вымаливать чудо у неба», — прочитал Егор.

Захотелось выплюнуть эти стихи, как будто противным комком они лежали у него во рту. Выплюнуть стихи и выкинуть мобик. Но он написал в ответ: Мама умерла. Не эсэмэсьте больше.

Нажал «отправить». Выключил мобильный. Лег на бок. Было холодно. Он подтянул колени к животу и крепко зажмурился.

За стеной бабушка и Борис Генрихович спорили из-за какого-то Алгая.

На кладбище было солнечно. Бабушку окружали крашенные старухи, и Борис Генрихович поддерживал под локти.

— Видишь, видишь? — услышал Егор шепот бабушки. — Нету, нету... Зачем сообщали... Я знала, знала...

Из школы не было никого, даже Пашки Александрова. Это потому, что холодно очень и среда, по средам у Пашки платные занятия, нельзя пропускать.

Незнакомая девчонка в ушанке и мохнатых сапогах положила на могилу огромный букетище роз и топталась отдельно от всех. Вид какой-то деревенский, в тулупе... Зато тепло... Некрасивая. Глаза светлые, но раскосые и сидят широко, врасстырку. От этого взгляд удивленный. Типа — «да что вы говорите»! Тоже, наверное, училась у мамы печь пироги и выращивать цветы.

Дмитрий Андреевич пришел позже всех, опоздал, с охапкой белых цветов, в длинном черном пальто нараспашку. Он снял шапку, и легкий снежок стал путаться в его волосах. У Дмитрия Андреевича тряслись руки и голова. А на лице отдельно трясся и прыгал подбородок. С цветами в руках он подошел к свежей могиле и сперва встал на колени, а потом начал моститься у могилы, как будто собирался лечь спать. Все смотрели и не знали, что делать. Но он полежал немножко и встал.

Мама останется тут, на далеком краю огромного кладбища, ее круглоглазое лицо на большой фотографии будет замечать снег, а Дмитрий Андреевич погорюет и пойдет

жить дальше, праздновать Новый год со своей семьей, ходить в походы, петь под гитару задумчивым голосом простые душевные песни про любовь и дружбу...

И это будет несправедливо.

Егор потрогал острую заточку в правом кармане.

Девчонка в мохнатых сапогах и ушанке, не отрываясь, смотрела на него.

Вот она моргнула своими растопыренными глазами, точно решившись, и подошла к нему.

— Ты меня не знаешь, — странным быстрым говорком, пропуская, проглатывая гласные, заговорила она. — Я вместо отца. У него нога сильно сломана — упал на стройке на своей. Получил телеграмму — как ехать? И мама тоже — не ездят, куда ты с гипсом, и расстроишься там. А как не ехать? Получится, что ему все равно. А ему не все равно. Я говорю — давай я поеду, паспорт есть, ехать можно. Отец говорит — правильно, молодец... Билет мне купил и велел, чтобы цветы...

— Какой еще отец?

— Твой. Наш, — удивленно ответила она.

А Егор не удивился. Он сказал:

— Ты что-то путаешь, девочка. Мой отец в речке утонул, когда я еще не родился.

— Это наврали все! — сердито крикнула девчонка. И снова заговорила тихо, скороговоркой, чудным нездешним говорком. — Он тебе сам расскажет. Это твои прятки... У тебя бабушка такая очень... А я всегда знала, у папы фотки есть. Мы тебе посылки слали, а они обратно к нам в Алгай... Ты меня не знаешь, а я твоя сестра. Вот, у нас с тобой даже уши одинаковые.

Она быстро сдвинула ушанку и показала Егору крепкое круглое ушко.

Дмитрий Андреевич уже отряхнул брюки от снега и уходил с кладбища. Теперь надо было его догнать. Перегнать даже, потому что со спины — запахло.

— Отстань от меня, девочка, — сказал Егор. — Шапку поправь, простынешь.

И увидел, как у нее дрогнули ресницы.

Она отошла в сторону.

— Это кто? Из школы? — жадно спросила бабушка, перестав стонать.

— Да, — сказал Егор, глядя вслед Дмитрию Андреевичу, и быстро пошел за ним.

Надо попасть в тюрьму, потом в армию... Берут в армию-то после тюрьмы? Не лохонуться бы... Надо попасть куда-то, где нет бабушки и ее крашенных старух... И раньше-то жить было трудно — в школе ЕГЭ, а дома мама с другом Дмитрием Андреевичем и бабушка с другом Борисом Генриховичем...

Но и теперь легче не будет... Надо куда-то деваться...

Егор так замерз, что ему было странно, почему внутренности не греют, как ледышки, когда он идет.

— Дмитрий Андреевич!

В черном пальто нараспашку, в расстегнутой на груди рубашке, Дмитрий Андреевич обернулся и глядел сквозь слезы на Егора, не понимая, кто это, и не чувствуя холода. Но вот он разглядел заточку у Егора в руке и улыбнулся радостно, как будто только ее-то ему и не хватало. Дмитрий Андреевич широко шагнул навстречу острой заточке.

— Егор! — раскосая девчонка бежала по снегу что есть силы, протягивая ему мобильник. — Тебя!

Все обернулись на нее и остановились.

Она протянула ему мобильник. Он был теплый, как живой.

Через тридцать секунд Егор опустил трубку и привалился к сугробу, чтобы переварить услышанное.

Он очень устал.

Девчонка села на сугроб рядом с ним.

Бабушка, Борис Генрихович, крашенные старухи и напрочь сумасшедший Дмитрий Андреевич стояли поодаль, молча, не приближаясь.

Девочка сердито посмотрела на них, пошевелила плечами в тулупе и обняла Егора одной рукой. От рукава с торчащей овчиной пахло теплым травяным дымом, далеким краем, где все не так, как здесь.

Егор увидел, что заточка давно выпала из его руки и валяется в снегу.

Девочка помолчала и сказала деловито:

— На восьмичасовом поезде, значит. Родня в Балаково встретит, а там уж часов пять всего на машине, и — Алгай... — Подумала и вздохнула: — Ух и страшная эта Москва...

Платон

— Он же противный! — сказал Платон.

Полина в коридоре шнуровала кроссовки. Рядом стоял рюкзак. Она отправлялась на съемную квартиру, жить вместе со своим бойфрендом Питом, начинать самостоятельную, новую жизнь.

— Ужасно противный, — повторил Платон.

— Сам ты противный, — засмеялась Поля и два раза почесала Платону макушку. — Пит — молодец. У него есть мечта — поехать в Японию. И ради своей мечты он работает на трех работах. А еще он простил своего отца.

— Как это? За что?

— Не знаю. Там у него с отцом что-то... То ли бухарь, то ли бросил их, когда Пит мелкий был... Короче, Пит пригласил своего отца в кафе и сказал, что его прощает, и они пожали друг другу руки. А простить, между прочим, это реально круто! Это — сила духа.

И Поля перед зеркалом стала мазаться блеском для губ.

Мама вышла в коридор, веселая, с добрыми глазами. Она посмотрела на Полю, ладную, в короткой кожаной курточке и белых кроссовках, и ей стало еще веселее.

— До чего же ты хорошенькая, а, дочуня? — она обняла Полю. — Время-то как пролетело... Заходите с Петенькой к нам почаще. Да, и позвони сегодня, расскажи, что там за квартира, какие соседи...

Поля послала Платону воздушный поцелуй и ушла. Мама вздохнула, улыбнулась и заметила Платона.

— Что нос повесил? — она звонко чмокнула его в щеку. — Выросла сестра, ничего не попишешь. И ты скоро вырастешь. Не грусти, помогай давай.

И стала вытаскивать из кладовки пылесос.

А Платон пошел на кухню, сел у окна и стал придумывать себе мечту.

Мечты у Платона были, но не такие, чтобы работать на трех работах. Например, чтобы лето длилось долго, пока не надоест, а зима, только, чур — со скрипучим снегом и солнцем, без слякоти — наступала бы недели на две. Или чтобы все собаки стали пуленепробиваемые... Или чтобы не было бедных и богатых, или хотя бы чтобы богатые меньше воображали... Такие мечты... Тут хоть на десять работ устройся, что толку? Да и куда возьмут, когда тебе одиннадцать только через полгода?

Мама включила пылесос — убирает в Полькиной комнате и радуется, что переедет туда вместе со своим тренажером и хулахупом и ей не надо жить в одной комнате с папой.

Надо кого-нибудь простить, чтобы круто, чтобы сила духа... Папу, что ли, простить? А за что?

Вот бы папа был какой-нибудь плохой или просто чудной, как у Лехи Еременко? Папа у него художник с вот такой бородищей — то веселый и нормальный, берет пацанов в музей и классно рассказывает про картины, то вдруг — раз и начинает бухать по-черному, так что Леха говорит: «Папан опять в трэш вошел».

Или вот бы папа куда-нибудь от них девался, как у Лейлы... Он приезжает к школе на машине и долго ждет, пока она выйдет, чтобы ей что-нибудь подарить, а Лейла тонким голосом говорит: «Мне не нужно от вас ничего».

Вот если бы папа был какой-то такой, то Платон мог бы его простить...

Платон пригласил бы его в «Корзиночку»... Да в какую «Корзиночку», это кондитерская для девчонок, пригласил бы его в бар «Пиранья» и сказал бы...

Пылесос умолк, и Платон услышал, что пришел папа, переобувается в коридоре, моет руки...

Но Платонов папа никогда не бухал или никуда не уходил. Он все время работал, на майские придумывал походы и путешествия по красивым местам, дома что-нибудь чинил, мог из старой вещи сделать новую, а когда мама отправляла его в магазин купить что-то одно, например масло или морковь, накупал так много еды, что лопались пакеты...

Полгода назад папа потерял работу, и мама стала говорить ему — «вы, сэр».

Конечно, вы, сэр, не прочь бы поужинать.

Счастливая Полька... Девятнадцать уже... Паспорт... Куда хочу, туда иду... Замуж, в поход, на съемную квартиру... А Платон сиди тут, слушай, как мама говорит папе «сэр»...

Папа вошел на кухню с пачкой гречки в руках, и Платону показалось, что он уменьшился, потому что сутулится или просто похудел, папа стал какой-то старый, давнишний, как музыка из фильма «Бумер»...

Папа увидел Платона и постарался подмигнуть ему повеселее, но не очень получилось.

Прощать его было совершенно не за что.

Тогда Платон подошел к папе и обнял его.

Ангелы и пионеры

— Лидия Евгеньевна точно знает, что Бога нет, — сказала Катя и стала качаться на качелях, задумчиво притормаживая пяткой.

После школы мы всегда заходили на эту детскую площадку, если надо было что-то обсудить.

— Почему? — спросил Дамир.

— Потому что она не боится. Знает, что ей ничего не будет за Корочкина. Ни от директора, ни в загробной жизни. А нам отец Владислав на законе Божьем говорил, что если за плохие поступки на земле не наказали, то на небе уж точно по полной выдадут.

— Если бы Лидия пацаном была, я бы с ней быстро разобрался, — сказал Дамир.

Дамир немножко нерусский и вместо закона Божьего ходит на кун-фу.

— Может, она уже один раз умирала и точно знает все про загробную жизнь? — Катя медленно, оставляя борозду от ботинка в песке, качалась на качелях.

Мы молча вспомнили, какая Лидия Евгеньевна большая и розовая. Ни на

призрак, ни на привидение, ни на человека, который когда-то болел и ненадолго умер, она не была похожа.

— Надо подговорить отца Владислава, — предложила Катя. — Пусть он идет к директору. Отец Владислав добрый и умный, директор его послушается.

Отец Владислав ведет уроки закона Божьего. В нашей школе учатся его дети — Авплексидонт, Евплаксиозавр, Феофилакт и близняшки Христофор с Ксенофонтом.

— Отцу Владиславу некогда, — сказал я. — Он всегда спешит. «Ну, чадушки, давайте скоренько...»

— Конечно, спешит, добрые и умные всем нужны...

Опять помолчали.

Лидия Евгеньевна по русскому всегда чморила Митьку Корочкина. Когда ругают не тебя, а кого-нибудь другого, это, в общем-то, даже приятно — сидишь себе, типа ты «в домике». Но когда Лидия Евгеньевна начинала ругать Митьку, это было ужасно противно, и лично мне где-то между горлом и животом становилось так плохо, как будто тащишь что-то очень тяжелое, только еще хуже.

Все обычно сидели и молчали, только Катя, Дамир и я переглядывались, и новенькая, Женя Восьмерчук, отвернувшись к окну, быстро-быстро перебирала железные кнопки на своей джинсовой рубашке.

Митька всегда позже всех сдавал деньги — на шторы, на цветы или на уборщиц.

— Корочкин, ты один деньги не сдал. Стыдно, Корочкин. Тебе школа бесплатные завтраки дает, ты бесплатник и никогда деньги на нужды класса сдать не можешь. Может, тебе в другую школу перейти? В сто четвертую?

В сто четвертой школе учились тормознутые в одинаковых куртках и с открытыми ртами.

Когда она так говорила, даже со спины (Митька сидел впереди) было видно, что он хотел бы умереть прямо сейчас. Митька вставал за партой и обещал, что принесет деньги в понедельник, когда маме дадут зарплату.

У Митьки была только мама, а кроссовки для физры были такие старые, что у нас дома их бы уже сто раз в помойку выкинули.

Сегодня Лидия Евгеньевна опять спросила про деньги, и Митька опять встал за партой и, опустив голову, стал говорить, что маме задерживают зарплату, а спина у него была такая ужасная, что мы вдвоем переглянулись — надо что-то делать.

— Надо родителям сказать, — решила Катя и встала с качелей.

— Надо, чтобы они деньги дали, за Митьку сдать, — согласился я.

— Он не возьмет. А от нас за него Лидия Евгеньевна тоже брать не захочет. Или мучить его еще хуже будет, — догадалась Катя.

— «Родителям, родителям»... — передразнил Дамир. — Работу найти надо — и нам, и Митьке. По одиннадцать лет всем, здоровые лоси...

— Не лоси, а лоси...

— Старикам в магаз или в аптеку сгонять можем? Можем! — стал придумывать Дамир. — С мелкими посидеть, если родичам оставить не с кем, а им в клуб там охота или с друзьями затусить? Можем с мелкими побыть? Можем! Если, например, кто с утряка в выходной поспать хочет, а у него, скажем, псина есть, псину на прогулку вывести можем? Можем!

— Это пока мы сколько надо насобираем, медленно очень получится.

— Ничего. Зато у нас будет свой фонд дружбы и помощи. А про Митьку надо еще придумать что-нибудь. Надо с родичами посоветоваться.

И мы пошли советоваться с родителями.

— Ай, стыд... — сказали папа, мама, тетя, двоюродный брат и бабушка Дамира. — Куда катимся?

— Они что, эти шторы жуют, что ли? — спросила Катина мама, хозяйка колбасного цеха. — Только что вроде собирали.

— Это не на шторы, а на уборщиц, — сказала Катя.

— Щас подарим ей моющий пылесос, — решил Катин папа, водитель «газели» с фирменным знаком мамино колбасного цеха. — А если дальше докапываться до папана будет, мы ее саму пропылесосим по самое «не могу».

И Катины папа с мамой засмеялись.

А мой папа спросил:

— Ну и цена вопроса? Давайте сдадим за него деньги, и дело с концом.

Сделать кому-нибудь что-нибудь полезное за деньги в этот вечер ни у кого из нас не вышло.

Русский назавтра был вторым уроком. Нарядная и розовая, похожая на ветчину с красным покрашенным ртом, Лидия Евгеньевна ходила вдоль доски и диктовала красивые предложения про любовь к родине.

— Корочкин, — сказала Лидия Евгеньевна, и у меня опять стало тяжело и противно между горлом и животом.

— Ты деньги наконец принес?

Было очень тихо. Катя посмотрела на меня, и мы вместе посмотрели на Дамира.

В это время я услышал, как новенькая Женя Восьмерчук очень тихо сказала куда-то себе в воротник рубашки:

— Сто двадцать процентов.

— Корочкин, — сказала Лидия Евгеньевна. — Если мать не в состоянии сдать эти несчастные деньги, пусть приходит и сама моет полы. Понял, Корочкин? Что молчишь? Я кому говорю-то?

Стало еще тише. Мы переглядывались и не могли договориться взглядами, кому начинать заступаться за Митьку.

И тут я увидел, что Женя Восьмерчук опять нажала на железную кнопку своей джинсовой рубашки и чуть слышно сказала себе в воротник:

— Есть!

Потом она встала и сказала тихо, но четко:

— Лидия Евгеньевна, вам придется принести свои извинения ученику за систематически проявляемую в его адрес бестактность.

Все посмотрели на Женю.

Настала такая тишина, что стало слышно, как далеко от Москвы, на сочинских трассах идут тренировки по женскому многоборью.

— Что-что? — Лидия Евгеньевна поморщилась и огляделась, словно не могла понять, откуда звук.

— Извинитесь перед Корочкиным и в дальнейшем никогда не относитесь к ученикам по признакам их материальной обеспеченности, — негромким, каким-то бледно-железным голосом повторила Женя. — Такое поведение недостойно российского учителя, особенно учителя словесности.

У всех просто глаза разбежались, никто не знал, на кого смотреть — на Женю или на Лидию Евгеньевну.

А Женя прямо стояла за своей партой, маленькая, стриженная, похожая на мальчишку.

— Восьмерчук? Женя? — Лидия Евгеньевна посмотрела на нее так, будто Женя была говорящим насекомым. — Да ты что? Это что такое?

— Я не Женя Восьмерчук, я последняя разработка нашей военной промышленности, экспериментальный экземпляр. Скоро нас будет много, в каждом классе мы будем следить за поведением учителей. Ведь учитель в школе — это первый представитель государства, с которым встречается молодой гражданин нашей страны, и от

поведения учителя, от его моральных качеств зависит очень многое в дальнейших отношениях молодого гражданина и государства, — очень четко и даже как-то занудно сказала Женя своим бледно-железным голосом.

— Так... Начитались, — усмехнулась Валерия Евгеньевна. — Насмотрелись, наслушались... Я сейчас же звоню твоим родителям...

— Научно-производственное объединение «Буран» мои родители, конструкторское бюро номер восемь, — поправила Женя. — А ваша вредность и опасность для детей составила уже сто двадцать процентов. Извинитесь перед Корочкиным и тогда, может быть, вам удастся остаться работать в школе уборщицей.

— Так, рот закрывай! — гаркнула Валерия Евгеньевна. — И к директору!

Женя Восьмерчук нажала на железную кнопку на рубашке и опять сказала туда тихо:

— Есть!

Потом она моргнула левым глазом и выпустила из него луч. Луч уперся в розовую и толстую Лидию Евгеньевну, и Лидия Евгеньевна стала плоская, как диск, и прозрачная. Женя моргнула правым глазом, и плоская Лидия Евгеньевна стала сжиматься и испаряться, пока от нее не осталось одно маленькое серое облачко.

Женя села на свое место, как будто очень устала.

От облачка остались какие-то горелые лепестки вроде пепла.

Те, кто успел достать мобики, чтобы фоткать, разочарованно вздохнули, так быстро все случилось.

В класс вошли двое военных и дядька в белом халате.

Дядька собрал лепестки в пластиковую коробочку, а военные взяли Женю за руки.

— Живите дружно, ребята, — сказала Женя нам на прощанье. — Помогайте друг другу.

А сфоткаться вместе с Женей нам не разрешили, ведь она — военная тайна.

На следующий день нам прислали Никиту Егоровича по русскому. Он придумал, что вместо денег на уборщиц надо просто разбиться на несколько бригад и дежурить по очереди, самим убирать кабинет и мыть пол. Мы рассказали ему про фонд взаимопомощи, и он устроил целое родительское собрание про это. Теперь все в нашем классе выполняют разные поручения, а деньги собирают на карточку, чтобы было, если надо кого-то выручить.

Недавно директор пришел к нам в класс и показывал фотографии Лидии Евгеньевны — она где-то далеко, в джунглях, пасет макак.

Вот как ловко Женя Восьмерчук ее телепортировала.

Мы часто разговариваем про Женю и никак не можем понять, кто она? Правда, что ли, военный робот в виде маленькой бледной девочки, похожей на мальчика?

Дамиру бабушка сказала, что Женя, наверное, настоящий пионер. Они смелые и всегда заступаются за слабых. Дамир приколотся к этому слову — «пи-о-нер» и хочет тоже так называться.

А Катя говорит, что Женя — ангел. Теперь такие специальные ангелы, новые.

Вот бы спросить у отца Владислава... Но ему всегда некогда...

Галина Климова

Туфли

Рассказ

Виной всему, конечно, были туфли.

Надо же, высмотрела их на чердаке, в корзине среди дырявых галош, облысевших фетровых тапок, ботишков «прощай, молодость», сандалий, похожих на заплесневелые сухари, и еще не пойми каких обносков, давно потерявших название и какое-либо практическое значение.

Зачем полезла в корзину? Теперь не важно. Главное, нашла туфли. Прямо-таки напала на них, выхватив из кучи, прилепилась взглядом и обмерла: без сомнений, французские, на высоченном каблуке, замшевые, с такой изящно изогнутой колодкой, что в профиль напоминали пару черных лебедей. Была в них какая-то тайна: туфли из жизни, пахнувшей дорогими духами и любовными романами. Откуда они здесь, на бабушкином чердаке, в стенах, увешанных сухими крапивными вениками, чтобы зимой добавлять курам в ячневую кашу как зеленые витамины, от чего яичный желток становился полноценным зрелым солнцем. На чердаке доживали свой век старые чемоданы с ржавыми замками, санки с плетеной спинкой и пара продавленных раскладушек, на полках — банки, большие бутылки для браги, керосиновая лампа и часы фирмы «Мозеръ» без стрелок.

Перво-наперво она примерила туфли. Обе ступни легко проскользнули, уперлись в круглые носы, и только большие пальцы глазели из специально вырезанных дырочек. Несколько нетвердых шагов по некрашеным половицам. Так вступают во взрослую жизнь. Она удивилась своей фигуре и походке, звуку шагов на этих немислимых каблучищах и не узнала свои полные коротковатые ноги — лодыжки стали тоньше, икры подтянулись. Покрутилась. Оглядела ноги сбоку, сзади и... пошла. На цыпочках. И если бы чердак был подлинней, она бы взлетела, особенно в прозрачном платье с рукавами-крылышками... На ней было точно такое же платье, но она не знала, куда и когда в нем взлетит.

В драмтеатре давали премьеру. Самый подходящий выход для туфель. Вся их компаньонка расселась в первом ряду партера. Она время от времени вытягивала ноги, любуясь туфлями и давая возможность полюбоваться другим. Игорь отреагировал сразу же:

— Откель туфляндии? У мамусика заняла под проценты?

— Дубина. И ноль воображения.

— А что? Антиквариат. За версту видно.

Она подобрала ноги.

— Так лучше. А то похожа на легкомысленную, в некотором смысле, женщину.
— Я?
— Не совсем ты, только ноги... Они как бы отдельно, в этих кокоцких туфлях.
— Каких-каких?
— Кокоцких, — он прихватил губами мочку ее уха и жарко выдохнул. — Французы кое-кого называют *кокоцка*. Читай классику. По-французски это совсем не оскорбительно. Нет, это нежно, интимно. Они и деток своих — цып, цып, цып — зовут: *ma petite soso*... курочка моя, цыпочка! Все. Началось! Потом расскажешь, откуда такое сокровище?

Олька напрочь забыла даже название того спектакля. Внутри нее разыгрывалась другая пьеса.

После окончания восьмого класса она уехала на выходные в Черноголовку вместе с учительницей пения Агнессой Александровной и с Юркой Смагиным, своим одноклассником. Юрка — надежный. Олька не забыла, как он занимался с ней алгеброй, когда из-за болезни она сильно отстала и перебивалась с двойки на тройку. Даже в разгар зимы Юрка прибегал на большой перемене к ней домой — без пальто, запыхавшийся, краснощекий, с блестящими веселыми глазами... хотел повидаться, сообщить домашние задания и школьные новости. Бабушка заворачивала ему горячие пирожки:

— Возьми, милоч, на дорожку!

Олька не забыла, что первые цветы на день рождения ей подарил тот же Юрка. Едва живые — в декабре — мелкие сиреневые хризантемы. Надо же... успел на электричке смотаться в Москву, нашел цветы — экзотика по тем временам — и довел их... в газете. Она даже ойкнула от восторга и навсегда запомнила, как пахнут мороженые хризантемы. Вот это друг! Но, оказывается, она ошибалась. Юрка был по уши влюблен в нее, о чем скороговоркой признался в театре Станиславского и Немировича-Данченко во втором акте балета «Лебединое озеро», который они смотрели всем классом. На них шипели и шикали, а они все выясняли и выясняли отношения... Олька, максималистка, дико обиделась, что он так легкомысленно предал их дружбу — влюбился, видите ли! Больше они об этом не говорили.

Агнессу, Ольку и Юрку нельзя было назвать компанией, они были семьей, вернее, ядром большой семьи — школьного хора, которым руководила Агнесса. Хор гремел на всю Московскую область. Агнесса — гордость и слава школы — привозила дипломы и почетные грамоты со смотров и конкурсов. Откуда она взялась, такая нездешняя, с таким чувством собственного достоинства, что сильно выделяло ее среди учителей? И учителя чувствовали эту разницу — завидовали, сплетничали, подкалывали, что мол, хор в школе — самый главный предмет, если учеников снимают с уроков ради каких-то спевков.

Агнесса, полька из Литвы, строго подбирала не только музыкальный репертуар — сугубо классический, без никакой эстрады и тем более джаза, этой музыки «для толстых»... Она отлично понимала, что такое хорошая одежда, обувь, украшения, духи. Носила дорогие очки, экзотический китайский зонтик от солнца и сандаловый веер. А уж сумочки... Настоящая пани. Даже зимой Агнесса не расхаживала по школе в толстых шерстяных рейтузах и сапогах. Нет, она переобувалась и легко порхала на каблуках, как летом. Однажды за этим переобуванием-переодеванием ее застал директор школы Панков:

— Агнесса Александровна, дорогая, давно люблюсь... Уж и ножки, и туфельки! Позвольте, помогу!

Он ловко примостился рядом и обхватил снизу ее полные ноги с маленькими, как у девочки, ступнями.

— Что вы себе позволяете? Директор, фронтовик... Уберите руки или я вас ударю! — вспыхнула Агнесса, и ее завитые прядки выпрямились от негодования.

Панков отпрыгнул, как ошпаренный, огляделся — не слышал ли кто? — и зашипел по-змеиному:

— Конфликт с директором?

— Похотливый павлин, пошляк! Настоящие директора такого себе не позволяют! — припечатала Агнесса, поспешно обуваясь.

— Советую прикусить язычок, уважаемая! Грядет сокращение штата. Таких «певичек», таких фифочек, только свистни...

Агнесса очень расстроилась.

У нее, кроме хора, были только кот Пуся, любивший растянуться на три октавы клавиатуры, да высоченный муж, геодезист — она по-старинному называла его *землемер* — по фамилии Баранов. С колоратурным хохотом она поясняла, что вышла за своего дражайшего Александра Васильевича только потому, что он, хоть и не *агнец*, но — *Баранов*. Ей казалось забавным быть не только Агнессой, то есть — овечкой, но *Агнессой Барановой*. Для нее, бездетной учительницы пения, главной любовью были хористы, которые стали частыми гостями в ее «однушке». Они не только вместе пели. Агнесса их *воспитывала*: учила правильно есть, не позволяла брать хлеб вилкой и кусать от целого ломтя, показывала мальчишкам, как подавать пальто девочкам, что с чем носить и какие цвета сочетать... Обязательно на прощанье то одному, то другому совала газетные вырезки со всякими интересными или поучительными статьями. С Агнессой запросто говорили обо всем, потому что родители вечно заняты и им было не до детей.

Жизнь хора, как жизнь семьи, не только в буднях, но и в праздниках: Большой театр, зал Чайковского, музеи, конкурсы, домашние вечера с чаем и пирогами, фотографии. Агнесса была необыкновенная! Некоторые родители страшно ревновали, а иные страшно скандалили: роди, такая-сякая, своих детей, а наших — при живых-то родителях — к рукам не прибирай... Агнесса не понимала и плакала.

После поездки в Черноголовку, где они попали под непроходимый холодный ливень, Ольга слегла с ангиной. Долго держалась температура, распухли суставы. Ее увезли в городскую больницу с пафосным названием — Первая Советская.

Палата на двенадцать человек даже обрадовала. Окна выходили в городской парк с березками подросткового возраста, ее ровесницами. Прохладный полумрак успокаивал и примирял всех с диагнозами и друг с другом. Тетки в палате лежали терпеливые и услужливые. Ее называли «сердечница», давая волю той материнской жалости, которая составляла их природную суть. Кроме того, вскоре стало известно, что ее мама — врач, да не простой, а кандидат наук в самой Москве, хотя сама местная... И дочка растет здесь же, у бабушки. За Ольгой стали присматривать по-особому. Она была на постельном режиме, читала книжки, однажды придумала стихи «про бледно-ликую луну», записала их и показала соседкам. Они молчком переглянулись и кивнули.

Давно должна была приехать мама, такая замечательная, умная, красивая мама, которая непременно возьмет ее в Москву, в клинику и вылечит.

Но мама все не приезжала и не приезжала, даже после телеграммы. Кроме бабушки, Ольку навещала Агнесса с целым выводком хористов и с Юрой. В конце концов бабушкино терпение лопнуло, и она сама поехала в Москву — уж не случилось ли чего?

Дочери в Москве не было. Припозднившийся с работы зять был навеселе:

— Три дня назад вернулась с Балатона, поменяла чемоданчик, маникюр-педикюр и тю-тю в Сочи... видимо, не наотдыхалась.

— Ничего себе, — возмутилась бабушка, — а телеграмму получили?

— Конечно.

— И что?

— А то самое — тю-тю и в Сочи. Через неделю, говорит, вернусь, тогда и разберемся...

— Выходит, бросили Ольку. Девчонка в больнице погибает, отец в Москве погуливает, а мать аж в Сочи... Пусть только заявится, я ей все волосы повыдираю. Да и ты, рохля, распустил жену. Совсем она тебя не боится. Адрес-то хоть оставила?

— Кому? Зачем? Адрес известен: *до востребования*.

— На жопе ей бы давно это написать...

С утра бабушка уже снова была в больнице.

— Кушай, набирайся силенок, — выкладывала на тарелку еще теплые сырники, — мамочка прихворнула, но на днях приедет.

Тетки в палате оживились. Ольга повеселела и сочинила стихотворение про сирень, а перед ужином вышла в больничный двор, там в траве резвились котята, кошка-мать играла с ними, вылизывала мордочки и кормила.

Ночь беспокоила, как грубая скомканная простыня. Луна висела так низко и так запросто заглядывала в палату, что с ней хотелось дружить. Ольга рассказала ей и про одиночество, и про обиды, и про то, что такое *ждать*. Слезы расплзались по щекам и, если не хватало места, щекотали ноздри.

Следующая ночь обещала ту же картинку. И когда в палате потушили свет, Ольга заплакала сразу. Лежала с открытыми глазами и плакала молчком, как взрослая женщина.

Но отворилась большая тяжелая дверь, зажегся свет, и в палату, энергично стуча каблуками, вошла мама. За ней — дежурный врач. Тетки заворочались, проснулись, кто-то заворчал, кто-то прищкнул.

— Девочка моя, здравствуй!

Мама улыбалась, разведя для объятия загорелые руки, но Ольга увернулась и упрятала лицо в подушку, потом села в кровати и увидела, какая мама красивая, счастливая, какие у нее лучистые глаза... и разревелась в голос:

— Я здесь одна. Бо-о-лею. И жду-у. Д-а-вно. А ты... все не едешь, не едешь.

— Дочура, родная! Я же приехала! Вытри слезки. Мы немедленно, сейчас же поедем в Москву, в клинику.

— Сейчас? — оторопела Ольга. — Но ведь ночь!

— Ну, не такая уж ночь. Собирайся, нас ждет такси.

Ольга не успела опомниться, а к маме уже подходили и подползали соседки по палате, что-то спрашивали, показывали какие-то анализы и справки, просились на консультацию. Мама села на стул посреди палаты и стала вчитываться в их бумажки, отвечать на вопросы, делать назначения, что-то объяснять дежурному врачу. Мама устала. Ольга видела, как она сбросила туфли и пошевелила затекшими пальцами с ярким педикюром. Вот это туфли! Как пара черных лебедей. С высоченными каблуками. С дырочкой для большого пальца... Ну и туфли!

Уже в такси Ольга спросила:

— Откуда такие шикарные туфли?

— У-у, глазастик! Все видишь. У тебя хороший вкус, — похвалила мама. — Это мне в Венгрии один знакомый подарил. Настоящие французские туфли. Никогда в жизни у меня таких не было.

Игорь больно толкнул ее локтем в бок:

— Ты где, дарлинг? В каких эмпиреях? Финита!

Она нашарила под креслом туфли, обулась и неизвестно чему заплодировала.

Игорь с жалостью смотрел на ее ноги:

— Ты хоть стоять-то можешь?

Она кивнула и счастливо разулыбалась.

— Ну, рассказывай, откуда эти кокоцкие туфли?

Рассказывать было нечего: просто мамины туфли.

И только через несколько лет, когда Ольга на свою первую зарплату купила бабушке люстру, а себе — черные вечерние туфли, все прояснилось.

— Боже, какая прелесть! — заверещала мама, едва Ольга открыла коробку. — Модельные! Настоящий французский каблук, колодка... и, погоди, погоди, это же жутко похоже... Может, помнишь, мои черные замшевые туфли? Шик, шедевр, Голливуд!

— Еще бы не помнить... Тебе их подарил кто-то в Венгрии.

— Да не кто-то, а сам Шандор, роковой мужчина, скрипач! Лучше него никто не играл чардаш Монти. Сколько же лет прошло?

Она перешла на шепот, и ее зеленые в крапинку глаза засветились узорами из детского калейдоскопа:

— У меня с Шандором был роман. Безумный, дикий, стихийное бедствие... Оторваться друг от друга не могли. Он должен был лететь на гастроли в Сочи... Так я, веришь, вернулась в Москву, дура невменяемая, и уже через день мотанула к нему в Сочи... А дальше что? — Дальше тупик. У него — семья. У меня — семья. Только туфли и остались... Все мужики на меня оборачивались. Я их долго носила, даже ты помнишь.

В памяти легко сложился незатейливый пазл: Первая Советская больница, бабушка с сырниками, Агнесса Александровна, Юрка и луна, и котята, и мама — все, что было, наверное, ее семьей.

Леонид Бахнов

ПИНГ-ПОНГ 1963 года

Рассказ

Про Куру ходил слух, что он умеет сгибать и разгибать медные деньги.

Так это или не так, не знаю, но то, что он был сильнее любого из нас, — это точно.

Впрочем, было бы даже как-то странно нам, четырнадцати-пятнадцатилетним парням, меряться с ним силой. Во-первых, — бугай бугаем. Во-вторых, — старше самого старшего из нас года на три, а то и больше.

Еще про Куру говорили, что он закончил один класс.

В первый раз я увидел его из окна школьной уборной. Уборная на третьем этаже — это было у нас что-то вроде мужского клуба. Кто-то решил просвистеть урок, кого-то выгнали, — в общем, *бурец* — так мы называли это злчное место — пустовал редко. Дым, особенно на переменах, стоял коромыслом. Простые учителя давно махнули на это дело рукой, и только бессменная завуч — Калерия Петровна по каким-то специальным, одной ей известным дням вдруг вырастала в дверях и, не сбивая походки, проходила внутрь нашего мужского заведения. Дальше начинался безумный вопеж, публика разгонялась *поганой метлой*, и когда, стараясь бочком-бочком, но все же яростно толкаемый в спину последний посетитель, на ходу застегивая ширинку, оказывался в коридоре, Калерия Петровна захлопывала дверь, поворачивалась к ней спиной и охраняла до самого звонка на урок, никак не откликаясь на мольбы тех, кому действительно требовалось по нужному делу. Впрочем, вырастала она в дверях не то чтоб совсем уж внезапно — стук ее каблуков, слышимый по всей школе, был притчей во языцех, так что когда кто-нибудь заорет: «Калерия, атас!» — запросто можно было успеть выбросить или забычковать окурок, да еще урвать время на ползатяжечки. В этом был даже особый шик — встретить врага, только-только выдохнув последнюю каплю дыма.

Позже ей все-таки отомстили: какой-то остряк на двери одной из кабинок учинил надпись — причем, не гвоздем или огрызком карандаша нацарапал, а вывел густой красной масляной краской:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид.

Калерия, говорят, только пасть открыла, а сказать-то и нечего: Пушкин.

Иногда появлялась бутылка портвейна — избранные сосали из горла, избранные канючили полглоточка.

Вот из узкого, наполовину закрашенного окна этого самого бурца я и увидел Куру. То ли осень, то ли весна — сеял дождик. На дворе стоял здоровенный амбал в

армейского вида ватнике и кирзовых сапогах, и весь облик его — а особенно надвинутая на самые уши кепочка и громадные ручищи, вылезавшие из коротковатых рукавов, — являл воплощенную виноватость перед чрезвычайно мелких габаритов немолодой женщиной, которая стояла против него и даже, кажется, ничего не говорила. Потом она повернулась, двинулась вперед, а амбал, опустив могучие плечи и спрятав руки за спину, засеменил следом.

Я бы, конечно, забыл эту картинку, если бы время от времени не стал встречать амбала в разных близлежащих местах, а однажды не столкнулся с ним прямо в доме моего закадычного друга Сережи. Этот длинный и нелепый деревянный дом находился прямо в школьном дворе, собственно, в незапамятные времена он и был школой. А потом, когда для школы выстроили кирпичное здание, его переоборудовали под обычное жилье: много комнат и длинные коридоры.

В одной из комнат жил Кура с матерью, той самой маленькой женщиной, и сестрой.

Почему его зовут Курой — этого Сережа, в просторечии Серж, объяснить не смог. Зато сообщил — хотя я об этом уже и сам догадался, — что Кура фантастически боится матери. Прямо-таки *трепещет* перед ней.

— Это она его упекла, — добавил он убежденно.

Оказывается, Кура уже отсидел. То ли в тюрьме, то ли в колонии. Была драка, кого-то пырнули ножом (*сутки зашивали, врач, как закончил, прямо упал и уснул*), все свалили на Куру, а мать не стала за него заступаться, наоборот, была рада, потому что она его *ненавидит*.

— Вернулся, так она только и мечтает его снова упечь. Говорит, туда ему и дорога.

Я был мальчиком из интеллигентной семьи. В бывшей школе обитали народные массы. Серж, например, был сыном простого подполковника. Я не хотел чураться народа. Из нашего большого кооперативного дома туда, где жил Серж, никто кроме меня не ходил. А я ходил и втихаря этим гордился. И хотя кое-что в жизни его обитателей казалось не совсем обычным, я старался не задавать вопросов. Во-первых, чтобы ненароком и вправду не показаться мальчиком из интеллигентной семьи. А во-вторых, чтобы путем задавания вопросов освоиться до той степени, когда задавать их делается излишне.

Может, у них это в порядке вещей, что мать хочет упечь сына за решетку, — а я, как дурак, буду удивляться.

Тем более, что и Серж говорил обо всем этом отстраненно, как о деле само собой разумеющемся.

Впрочем, он обо всем так говорил. Его стихией была фактическая сторона действительности, а уж черную работу анализа он готов был отдать кому угодно, тем более, выводы его, кажется, мало интересовали.

Так что никаких подробностей я тогда не узнал, а теперь тем более не узнаю.

Но они, может, и не важны.

Куда важнее, какое Кура производил впечатление на людей. Для наглядности лучше всего представить, как голову Шварценейгера кладут подбородком на крепкую металлическую поверхность, сдавливают прессом и на то, что получилось, нахлобучивают кепарь.

А теперь зажмурьте глаза и вообразите, как такое создание природы надвигается на вас в темном переулке.

Куру боялись.

...Итак, я жил в большом кооперативном доме. Среди моих ровесников дом был знаменит прежде всего подвалом. В подвале стоял зеленый пинг-понговый стол. Все мы бредили тогда пинг-понгом, и если бы, например, меня разбудили среди ночи и спросили, чего я хочу больше всего на свете, то ответ был бы молниеносным: армстронговскую ракетку. Ту, где все не как у людей: пупырчатая поверхность наклейки отчего-то перевернута внутрь, а гладкая сторона обращена наружу, к мячу; к тому же между наклейкой и деревяшкой проложен такой тонкий и такой упругий *импортный* слой.

— Как будто она его целует, — определил звук от соприкосновения ракетки с шариком другой мой приятель.

А как классно она «закручивает»! А как точненько в уголочек ложится посланный ею шар!..

Ракетка была благородно-вишневой. И настолько *ненашей*, что обладатель ее просто назначен чувствовать себя королем. Вокруг него должны виться, клубиться и теряться, для него же существует лишь одна обязанность — ленивым и неспортивным голосом отдавать приказания...

Перед Петей Ч. мы все лебезили.

И не только из-за ракетки.

Везде, где бы Петя ни появлялся, он выглядел человеком номер один. *Довести* учителя, сорвать урок, явиться в школу *под газом* — ему все сходило с рук.

Наверное, дело было отчасти в его отце — о его работе точно никто не знал, известно было лишь, что он большая шишка, в Москве бывает не часто, а когда бывает, за ним приезжает черная «Волга». Несколько раз я видел, как она с закрытыми дверцами стояла перед подъездом, и шофер в ней словно бы прятался. Ребята поговаривали даже, что старший Ч. будто бы то ли тайный министр, то ли наш разведчик в ранге шпиона. Не знаю. В те редкие разы, когда я его встречал во дворе, он мне не казался похожим на разведчика. Он был похож на тертого собачьей жизнью бульдога. Что-то смутно-сторожевое чудилось мне и в Петиней маме — во дворе ее можно было увидеть чаще, но и она то и дело надолго испарялась.

Впрочем, все это были взрослые заморочки. Для нас Петя Ч., хоть и учились мы в одной школе, был просто человек из другого мира. Попасть туда даже и не мечталось (хотя еще как мечталось!), но прикоснуться все-таки было можно — заслужив, например, еле заметный кивок или — это уже просто счастье — личную просьбу: «Сгоняй-ка за сигаретами, а то курить хочется». Это означало, что Петя небрежным жестом вынет из кармана рубль, а то и трешку, забудет про сдачу, а принесенные сигареты смогут курить все.

Лично я был удостоен такой чести раза два, не больше.

От Пети исходил могучий дух приобщенности к чему-то такому, перед чем каждый из нас, мальчишек, начинал ощущать себя действительно мелкотой. Мережились неведомые формы разврата. Про то, что происходило за дверью квартиры Ч-ов, когда Петя подолгу жил без родителей, ходили легенды. Поражал воображение уже тот факт, что днем, совершенно открыто, домработница несла по двору кошелки, груженные не только всяческой снедью, но и вполне капитальными напитками. Значит, он совсем не боится, что она *настучит предкам*, когда те вернутся, — мы-то, если уж подфартит раздавить бутылец какой-нибудь «Фраги», старались не дышать в сторону старших. По вечерам к пятому подъезду подтягивались машины, укомплектованные фирменными ребятами, из распахнутых окон на третьем этаже неслись звуки настоящей жизни: хохотали женщины, звенела посуда, к небесам возносилась самая клевета — божественный, запрещенный Элвис... Всем без исключения гостям

хозяин годился разве что в сильно младшие братья, но — и это здорово впечатляло — все они позволяли ему держаться с собой на равных. Одному взрослому мужику лет двадцати трех, когда тот вылезал из машины, он сказал: «Здоров, кретин!» — и ничего, мужик стерпел, хохотнул в ответ и весело потрепал Петю по плечу. При этом из руки у него выпали ключи — Петя даже не двинулся подобрать.

Как-то в буре он пустил по кругу фотографии. Толкались, отпихивали друг друга локтями, пытались разглядеть поперх плеч и голов. Сам он, забравшись на подоконник с ногами, безмятежно курил болгарскую сигарету «Filter». Наконец и мне удалось что-то увидеть: две совершенно голые девицы отплясывают рок-н-ролл.

В те времена вершиной порнографии считались снимки в польском журнале «Экран».

— Где это они? — спросил кто-то.

— Много будешь знать — быстро состаришься, — лениво отвечал Петя.

Наверняка, это была самодельная порнушка, купленная из-под полы. Но в тот момент никто не усомнился, что на фотографиях запечатлены подлинные эпизоды Петиних развлечений.

Но вообще-то я совсем не об этом.

Люся.

Когда я ее увидел, была зима. Обычный такой серенький зимний денечек. Скучные дома. Прохожие, скособоленные на всякий случай. И вот представьте: девица, точь-в-точь юная Бриджит Бардо, идет совсем одна и — свистит!

Чем не елки-моталки!

Притом свистит просто так, для себя, потому что ей захотелось. Идет и свистит.

Как тут всему внутри не перевернуться?

Потом я ее встречал еще несколько раз. И всякий раз все внутри одинаково переворачивалось. Так, что кровь прилиwała к ушам, хотелось спрятаться, испариться, сгореть дотла. А тут еще Серж, который ее тоже приметил, рассказал, как она отшила самого Пузырева — не такого, конечно, как Петя Ч., но все-таки признанного всей нашей округой специалиста по кадрежу. Выходило так, что он чуть ли не своими глазами видел эту постыдную для Пузырева сцену. Но тут я ему не верил — станет Пузырь водить компанию с каким-то там Сержиком, как же!

С нашими она не общалась. Мы вообще мало что о ней знали — ни где она учится, где живет, ни кто тот счастливчик, которому она дает. Ясно же, что у *такой девочки* должен быть та-акой парень!.. Такой та-акой, что ему я бы даже и не завидовал.

Как-то она мне приснилась. Все происходило на пустыре — по ту сторону проспекта за большими домами имелось заброшенное пространство, говорили, это Васька Сталин собирался построить стадион, да не успел. Согласно легендам, в совсем недавние времена здесь стенка на стенку сходились *наши* и коптевские, дрались жестоко, без правил, с применением велосипедных цепей и металлической арматуры. На месте кровавых ристалищ там-сям торчали изрядно оббитые кирпичные сваи метра в два высотой — мы с них прыгали, а иногда прямо на них боролись, рискуя сверзнуться вниз и переломать все, что можно. А еще там была полуразрушенная сторожка и догнивал остов грузовика с сохранившимися при нем сухими, мозолистыми шинами.

И вот на этом пустыре мы были с ней вместе. То есть нет, пока она еще была одна, и я пока еще был один, она меня еще не увидела, просто стояла возле сторожки, но я точно знал, что она ждет только меня — *меня!* — и смотрит темными, *завлекающими* глазами. И такое творится в этих привлекающих глазах, что у меня нет даже капли сомнения: сейчас *будет все*. Что — все? В том-то и штука — *все!* Для этого не надо

ничего делать, только, может быть, совершить шаг, протянуть руку — и сейчас, через секунду я окажусь там — где? — да там! там! там! — и провалюсь, взлечу, сойду с ума, меня не станет, *я буду знать все!*

От этого я проснулся — и все, что был я, дергалось, дергалось, дергалось. Нет, я еще не вполне проснулся, я еще добирал остатки чудесного приключения, и вот, добирая эти остатки, внезапно подумал, что может быть это была и не совсем она, не Люся, а та девочка, в которую я был влюблен еще раньше, давно, а может быть, даже и не она, а какая-то еще другая, которую я, возможно, никогда до того не видел... и все-таки это была она, Люся — вот такая она есть *на самом деле*, отныне я это точно знал.

Сколько раз я мусолил этот сон, сколько раз пытался в него вернуться!.. Но обладать Люсей во сне было не проще, чем подойти к ней на улице и познакомиться. Тогда я уже читал про Клеопатру, как мужики, чтобы провести с ней ночь, соглашались на то, чтобы утром им отрубили голову. И вот я много раз думал, готов ли я идти на казнь, чтобы сбылся мой сон. И чаще всего получалось, что да, готов хоть сейчас. Только хорошо, чтобы она об этом как-нибудь бы узнала.

Да, так подвал с пинг-понгом. Иногда туда набивалось народу не меньше, чем в наш бурец на большой перемене. Играли «на вылет» — проигравший должен был становиться в конец очереди.

Как и почему оказался в тот раз в нашем подвале Кура, точно не знаю. Должно быть, привел кто-то: район, если вспомнить, был довольно шпанистый, наших ребят то и дело *трясли*: отловят одного где-нибудь в темном месте и говорят: «прыгай!», — а если в кармане зазвенит, требуют: «выворачивай!». Так что мало кому не хотелось бы обрести такого покровителя.

Поэтому увидев в подвале Куру, я не слишком удивился. Удивил меня не сам Кура, а то, что он умеет держать ракетку. И даже крутить. И даже — смотри-ка! — отбивать «гасы»... И сам гасит! Хоп — и шар, просвистев пулей над сеткой, уже отскочил от стола. Ну и ну!

— Где это он так играть надрочился? — спросил я у Сержа. Как сосед он мог знать такие вещи.

— Надрочился, — констатировал Серж. — Кто его знает.

— В тюрьге, что ли?

— Он своей матери знаешь, что говорит? Что ему там было лучше, чем здесь. Что он обратно хочет. Эй, Кура, откуда ты так играешь? — спросил Серж. Не чтобы услышать ответ, а чтоб все увидели, что Кура для него Кура, а не какой-то чужой мужик.

— Оттуда, — сказал Кура, отбив пару мячей. — Играть не мешай.

Серж остался доволен. А я продолжал гадать: где все-таки Кура так научился в пинг-понг?

А Кура все выставлял одного за другим — молча, ни разу даже не улыбнулся. Или нет, все-таки улыбнулся один раз — когда шар пролетел в миллиметре от его уха.

— Плохо целишь, — сказал он. И улыбнулся так, что я бы не хотел оказаться на месте того, кому он так улыбнулся.

Меня он, конечно, тоже обставил. Наверное, я продул бы не так позорно, но тут, в середине игры в подвал ввалился Петя со своими ребятами. А с ними была она, Люся.

Вернее, с ним. Я это сразу понял.

Игра тут же утратила для меня интерес.

В руке у Пети было нечто невиданное — пластиковый пакет (тогда мы, кажется, даже не знали, что то, из чего этот пакет сделан, называется «пластик»), сквозь него

просвечивала не одна, а целых две армстронговские ракетки. Вот это финт! Мы-то были убеждены, что у Пети это сокровище в единственном экземпляре, потому он так его бережет и так редко, как бы в порыве необъяснимой, царственной щедрости дает кому-нибудь *постучать*. Значит, это ради нее он так засветился. Выходит, он и есть тот счастливчик, о котором гадали мы с Сержем.

И я мигом вспомнил такую картину: Петя с одной *прожженной девицей* идут к его подъезду, а в руках у них сумки с разной жратвой. Они тогда вместе жили, это точно. И никого не боялись.

Да, черт подери, они должны были найти друг друга. А потом, гад, он ее, конечно, *пошлет*. Поматросит и бросит. Как ту девицу.

Тут мне захотелось бежать. Бежать, не разбирая дороги, неважно куда — может быть, на пустырь, а может, и еще дальше.

Вместо этого я остался. Не знаю сам, почему. Наверное, чтобы испить свою чашу до дна.

Выставив меня, Кура ждал следующего. Петя, да еще при дружках, перед которыми ему, ясно, хочется *пофикстулить*, запросто мог поломать всю нашу очередь — и никто бы не пикнул. А тут, глянув на Куру и прикинув, видимо, что с этим амбалом можно и *нарваться*, Петя повел себя очень хитро.

— Ребят, нас тут много, — сказал он. — А девушка одна. Пусть она сыграет. — И даже спросил: — Вы не против?

Он вообще был какой-то не такой, как всегда. Какой-то чуточку встрепанный. И по тому, как услужливо он посмотрел на нее, с каким понтом подал ей армстронговскую ракетку, я вдруг понял, что очень даже может быть, у них пока *ничего не было*. Не то чтобы так уж и понял, но что-то такое пронеслось в голове.

И на душе сделалось чуточку веселее.

— Сыграешь со мной? А, Кура?

Господи, да она его знает! Откуда?!

Непонятные бездны разверзлись передо мной.

Но Кура-то, Кура! Он, представляете, покраснел! Смутился, залился краской до самых ушей, даже, кажется, пот на лбу появился. Вот это да!

Он ничего не ответил, только неловко прихмыкнул и покраснел еще сильнее. Интересно, я тоже становлюсь таким красным?.. То же самое и с игрой. Люся хоть и держалась, как королева, но в соперницы ему никак не годилась, а Куру будто бы подменили: что ни удар, то в сетку или мимо стола. Едва не проиграл.

— Ну что, теперь со мной? — спросил Петя. Сейчас, когда девушку обыграли, он был как бы в полном мужском праве без всякой очереди взять за нее реванш. — Хочешь, тоже моей ракеткой.

Ни фига себе, расщедрился! Нет, она ему еще не дала. Точно.

Обменялись несколькими подачами.

— Что, класс? — спросил Петя про ракетку. — Таких на весь Союз...

— Давай на счет, — сказал Кура.

Вместо ответа Петя бросил мяч «на подачу». Небрежно так, будто хотел сказать: все, парень, хватит меня пугать. Ты хоть и здоровенный дуб, но тут я тебя уделаю. Можешь не сомневаться. Уделаю на глазах у всех.

Бросил — и украдкой взглянул на Люсю. И незаметно так ей подмигнул.

Эх, он же не видел, как Кура играет по-настоящему!

То есть обставил тот нашего Петю буквально апчхи, Петя даже сообразить не успел. Прямо как пулемет.

— Ни х... себе зая... — сказал рыжий Репа. И тут же осекся — так на него посмотрел Кура.

— При женщинах не ругаются, — пояснил он свой взгляд.

Люся посмотрела на прибалдевшего Петю и рассмеялась.

— Давай еще раз, — попросил Петя.

— Другие тоже хотят играть, — проговорил Кура и положил ракетку на стол, ближе к Петиней половине.

Кажется, Петя ему совсем не понравился.

— Ладно, пошли, — сказал один из Петиних корешей. — Видишь, нас здесь не поняли. — И, обращаясь к Кура, церемонно добавил: — Спасибо. Вы нам доставили большое удовольствие.

Парень был наверно постарше Куры.

Кура первый раз за все время улыбнулся, Люся снова засмеялась, а у Пети поперек лба образовалась морщина.

Но кореш не унимался. Зашел Пете за спину и оттуда, будто пытаясь рассмотреть победителя, проговорил: — Отодвинься, ты заслоняешь мне солнце. Это так Диоген сказал Александру Великому. Знаете, дети, кто такой Александр Великий?

Похоже, он издевался и над Курой, и над своим другом.

— Отвали, — грубо оборвал его Петя. — Дай я отыграюсь.

Все затихли. Непонятно было, кому играть и чем вообще закончится эта сцена.

— Знаете, мальчики, давайте сделаем так, — заговорила Люся чуть с хрипотцой и протяжно. — Давайте вы будете играть, а того, кто победит, я поцелую и кое-что прошепчу. На ушко... Ладно?

Опять эти непонятные бездны! Не может же быть, чтобы *такая девочка* по-настоящему хотела целоваться с эдаким квазимордой. Значит, она над Петей просто смеется? Хочет его опозорить? Или *подзавести*? Для чего?..

Кура недоверчиво хмыкнул и снова покраснел. А Петя... Вот уж никак я не мог предположить что у него — *у него!* — могут быть такие неуверенные, нет, я бы даже сказал, затравленные глаза.

— Один — ноль, — громко объявил Петин кореш и шелкнул пальцами.

О чем это он?

— Так ты играешь? — спросил Петя, торопясь, чтобы решение как бы принадлежало ему.

Эту партию он, разумеется, тоже проиграл. Тут уж Кура совсем рассвирепел. Отчего, кстати, запорол несколько «гасов». Но Петю это не спасло.

Когда Кура положил ракетку, Люся действительно подошла к нему, чмокнула в подбородок и, обняв за шею, стала шептать что-то на ухо. Морда у Куры сделалась масляной.

— Так, — сказал он, когда Люся кончила шептать. — Вы все пока отдохните, а я вон с ним сыграю, — и повел головой в сторону еще одного из Петиней компании, который все это время сидел на подоконнике и молчал. — Нет возражений?

Странно все это было, странно. Что она ему нашептала? Чего это он весь так расцвел? Чтобы обдумать, я позвал Сержика во двор покурить.

События, однако, развивались. Не успели мы достать сигареты, как из подъезда вылетел Петя.

— Кончайте вы эту дрянь курить, возьмите лучше мои, — и, одарив нас длинными сигаретами с золотым мундштуком, буквально затараторил: — Ребята выручите будьте друзьями скажите этому кретину я ему даю полсотни а он пускай проиграет понимаете

пятьдесят рублей даю просто мне сегодня не везет только тихо чтобы ни одна живая душа я вам скажу как это сделать парни вы же меня знаете...

Эх, видели бы ребята, как он перед нами пластается! Передо мной и Сержиком, это же надо. Но что-то мешало моему торжеству. То ли слишком велика была неожиданность, то ли действительно мешало отсутствие свидетелей, то ли уж чересчур это был не Петя — куда девался его фирменный *презрительный* взгляд, под которым даже учителя скисали? Он не распоряжения отдавал — просил, умолял, зависел. Пятьдесят рублей! Неужели он это все из-за Люси? Пусть он даже в нее втюрился без памяти, но такие деньжищи, столько всякого на них можно сделать! А может, для него эти пятьдесят рублей все равно, что для нас пять копеек? Ну да, прямо! А главное, все равно же она никогда об этом не узнает. Тогда зачем?.. А вдруг они взяли и так договорились (это я, наверное, опять про Клеопатру вспомнил), что она *будет его*, только если он выиграет в пинг-понг? Он, например, хвастался-хвастался, а она и сказала.

— Ну? — торопил Петя.

Я смотрел на Сержа, Серж смотрел на меня. А что? Он Курин сосед, ему и решать.

— Ладно, — сказал Серж. — Все будет тип-топ.

Это он у Аксенова высмотрел, которого я ему дал почитать, с тех пор всю дорогу форсил этим словечком.

И Петя полетел за деньгами.

А план был такой: пока он за ними бежит, мы спустимся, как-нибудь отзовем Куру и сообщим ему Петино предложение.

Все так и вышло.

— Слышишь, Кура, тут твоя мама проходила. Просила тебе передать... — объявил Сержик.

— Чего? — спросил Кура.

— А это я тебе на ушко скажу.

Ай да Сержик! Народ оценил юмор. Никто ничего не заподозрил.

В общем, когда Петя вернулся, все уже было сделано. По лицу Куры, пока Серж ему шептал, что-нибудь понять было трудно. Труднее всего было понять, понял ли он. Вроде бы все-таки понял, сказал: «Ага».

Вернулся Петя уже совсем другим человеком. Дождался, когда Кура закончит обставать его приятеля, и как ни в чем не бывало, бодрым голосом заявил:

— Ну что, матч-реванш? Давай из трех, чтобы все было честно. Две ты у меня выиграл. Будет пять.

Те, кто надеялся скоро поиграть, засопели. Но промолчали.

Кура, как бы подумав, принял вызов. Размял плечи, стал в спортивную позу и начал проигрывать.

Давалось это ему с трудом. Вид у него стал дико сосредоточенный, голова еще больше приплюснулась, уши уехали чуть не к затылку. К тому же он принялся потеть. В общем, трудно было поверить, что такой игрок только что чесал всех подряд.

Люся за игрой почти не следила. Шушукалась с тем парнем, который сказал про Александра Македонского, иногда хихикала. Можно было подумать, что он ее кадрит. Мне как-то стало даже обидно. А Петя про нее будто забыл, разошелся, вот уже приказывает кому-то достать из-под стола шарик, который туда залетел.

К исходу второй партии Кура был мокрый, хоть выжимай. Причем не только одежду, а его всего, с потрохами.

— Что, утомился? — с натуральным участием спросил Петя.

— Правда, пусть он передохнет, — Люся услышала и оторвалась от своих щебетунчиков. — Он ведь еще до тебя играл.

— Пожалуйста, — Петя был само великодушие. — Хочешь передохнуть?

— А пока мы сыграем, — тут же нашелся Репа.

Но Кура только махнул рукой.

Публика одобрительно зашумела.

Одни мы с Сержиком знали, чем закончится этот спектакль. Только меня это совсем не грело. А что, если рассказать Люсе про ее Петю *всю правду*? И пошло оно на фиг, это вранье. Почему я должен смотреть и молчать, а? Ведь я же точно знаю, что у нее с ним *ничего не получится*, что он *разобьет ее мечты* и что после этого она *пойдет по рукам*. Тогда почему же?..

— Спорим, Кура проиграет? — послышался Сержик. — На бутылку пива, давай?

Это он одному нашему предлагал. Вот гад, — подумал я, но тут же занялся другой, совершенно неожиданной для себя мыслью. Я вдруг подумал, что если я так сделаю, то все тут же меня *возненавидят*: и Петя, и Кура, и даже Люся. Да, даже она. Потому что всем будет хуже... А вдруг Люсе наоборот понравится, что Петя не жметесь отдать за нее такие деньги?

Кто их разберет, этих женщин. Все равно я теперь уже никогда не смогу подойти к ней и заговорить.

Но тут я понял, что пропустил что-то интересное. Вокруг шумели — кажется, Кура вытащил совершенно невероятный шар. Который в принципе не берется. А дальше на него нашло просто какое-то вдохновение. Гасил, крутил, такие финты откидывал! Прямо как будто это не он играет. По-моему, никто из нас никогда такого не видел. В общем, разделал Петю в пух и прах. Партия уже кончилась, а он собрался снова мяч подавать.

— Партия! Партия! — голоса кругом.

Тут Кура словно опомнился:

— А какой счет?

И это при том, что несколько голосов хором отсчитывали каждый шар.

Те же голоса радостно проорали счет, с которым Кура победил. Кажется, он только сейчас начал понимать, что же произошло. Почесал темя Петиной ракеткой и медленно положил ее на стол.

Петя не выглядел ни раздосадованным, никаким. С непроницаемым лицом он подошел к Кура и забрал ракетку. Но под конец все-таки не выдержал, похлопал себя по карману.

Этот жест поняли только мы с Сержиком. Ну и, может быть, Кура. Если он вообще что-то видел.

— Пока, чемпион! — сказала Люся, послала Кура воздушный поцелуй и взяла Петю под руку.

Так они и удалились. А Кура все стоял возле зеленого пинг-понгового стола — в глубокой задумчивости и опустив руки. Почему-то никто не торопился его теребить.

— Козел, — сказал он наконец. — Ну и козел.

— Конечно, — подхватил Репа. — Думал, он с этой своей ракеткой...

Кура только махнул рукой.

Больше я Куру в нашем подвале не встречал. А потом он вообще куда-то подевался. Когда я спросил Сержа, тот ответил, что Куру опять посадили. Вроде бы он появился в гастроном на углу, подошел к отделу, где продают соки в розлив, выпил подряд пять стаканов томатного, дождался, когда продавщица отвернется, схватил

коробку с деньгами и побежал. Но бежал он не слишком быстро, даже медленно, так что милиции удалось легко его схватить. И вроде бы он почти не сопротивлялся.

Как ни странно, Петя с Люсей встречались довольно долго, чуть ли еще и не после школы. Потом он закончил какой-то блатной институт, уезжал-приезжал, а после перестройки заделался новым русским. Имел два джипа, ездил с охраной, я видел, как из машины выходили мужики и проверяли подъезд, а потом уже вылезал он сам. Купил еще одну квартиру, соединил со своей, поставил джакузи, от которого в доме то и дело вырубалось электричество, а потом в одночасье все продал и как сквозь землю провалился с молодой женой и двумя близняшками. Ходили слухи... впрочем, какие только слухи тогда ни ходили.

Серж после школы сразу же угодил в армию. Пока служил, деревянный дом, где жил он и жил Кура, снесли, а на его месте выстроили школьный спортзал. В том деревянном доме не было телефонов, и о том, дома вечером мой друг или нет, я узнавал, поглядывая из комнаты, светится ли его окно. А он глядел на мое.

Подвал, где стоял пинг-понговый стол, давным-давно сдают каким-то фирмам, мало чем отличающимся одна от другой. Ракетки типа той, что была у Пети, продаются на каждом углу и стоят рублей триста за пару, да еще пять разноцветных шариков впридачу.

А на месте пустыря выстроили высотку наподобие сталинских, заселили совсем недавно. Целый город, черт подери! Проходя в сумерках мимо, я глядел за решетку этого элитного комплекса. По ту сторону навстречу мне двигался Петя Ч. Он сильно раздался за годы, что я его не видел, полысел. Одет он был по-прежнему *стильно*, но кого этим теперь удивишь? Я подумал, что надо его окликнуть, — все же знакомы мы столько лет, — как увидел, что к нему приближается еще один Петя Ч., а по дорожке, выводящей к воротам, неторопливо движется еще один, и еще... Они замечали, приветствовали друг друга, то пожимая руки, то просто улыбкой и кивком головы, иногда останавливались, о чем-то своем говорили и даже смеялись, их становилось все больше, я силился и уже не способен был вспомнить, кто же из них тот самый, которого мне почему-то понадобилось окликнуть.

Ольга Столповская

САКВОЯЖ

Ампулы нашли на сеновале.

Взрослые на сеновал не лазили, и мы с сестрой прятались там в жаркий день, набив карманы стручками гороха. Медицинские ампулы с надписью на латыни, аккуратно завернутые в пожелтевшую бумагу, уложены в потрескавшийся от времени саквояж.

Мы затаились, боясь, как бы нас не позвали полоть или подавать кирпичи однорукому деревенскому печнику Брыкину. Он не спеша перекладывал нашу печь, прерываясь на недельные запои. В окрестных деревнях на него была очередь. Никто не знал печное дело так, как он. Поэтому его не раз переманивали у нас водкой. А когда он возвращался, меня и сестру — лентяк-белоручек сажали отмачивать и сбивать известку с кирпичей, добытых из графских подвалов.

Копаясь в чердачном хламе, Алёна, которая старше меня на два года, шепотом рассказывает мне, как рождаются дети. Я слушаю о кровавых подробностях этого дела, и мурашки бегут у меня по спине.

— Поцелуй меня! — внезапно требует сестрица.

— Зачем?

— Вот поцелуй, узнаешь!

Чмокаю в щечку.

— Ты не умеешь целоваться.

— Это почему?

— Ты целуешься по-детски. Надо в губы. И с языком.

— А мне нравится так.

— Представь, что я мальчик, в которого ты влюблена.

Практические занятия, бесконечно увлекательные и таинственные.

— Тебе хоть кто-нибудь нравится?

— Не-а.

— А из класса?

— Они все скучные.

Стараясь не чихнуть от свербящего в носу сена, кидаюсь зелеными горошинками в голую спину проходящего внизу Брыкина.

— А ты знаешь, что Брыкин тракториста из-за водки убил? Он шел с бутылкой из Мышлино домой, а навстречу трактор. Тракторист знал, что у Брыкина водка, и стал просить. А Брыкин не дал. Они подрались. Тракторист отрубил ему руку, а Брыкин его убил. А весной, когда снег стаял, тело нашли в овраге.

— А руку нашли?

— Не знаю.

— Иначе как узнали, что это Брыкин тракториста убил?

— Представляешь, поцеловать Брыкина?!

Сестра пожимает плечами:

— Ты что, он же старый! Весь бородатый такой! Ему уже наверное лет тридцать.

— Это прикольно, что бородатый! Представляешь, выйти замуж за Брыкина!

— Фу!

— И поселиться здесь, в деревне...

Алёне нравятся актеры сериалов. Она их представляет, напуская мне в рот слюней и трогая мою еще незаметную грудь.

— А что мы будем с ампулами делать?

— Попробуем.

— А что будет?

— Ну, как будто летаешь.

Поймали кошку. Разбили ампулу, ссыпали порошок в кружечку, размешали с водой и влили кошке в насильно раскрытую розовую пасть. Кошка помотала головой, встряхнулась, пошевелила ушами. Потом замерла, дернула хвостом, легла на спину и стала тереться спиной о траву.

— Что-то она не летает...

— Смотри, какой у нее большой живот! Беременная! Скоро родит.

На следующий день взяли саквояж, пошли вдоль реки.

— Мы за ягодами, бабуль!

На другом берегу мальчишки взрывали ласточкины гнезда. Закладывали коробки спичек и поджигали. Мы ушли подальше в поле, спрятались за стог и, устроившись поудобнее на соломе, слушали, как шуршат полевки, смотрели, как блестит крест церковки за лесом. Потом отломали носик ампулы, высыпали в кружечку, размешали.

— А мне деревенские рассказали, что в войну надо было взорвать церковь, потому что она была ориентиром для фашистских самолетов. Но никто не хотел. И только дед Брыкина вызвался взорвать церковь. Но после взрыва церковь осталась стоять. А рука у внука отсохла.

— Он же в войну еще маленький был или даже ваше еще не родился.

— Да, значит, он уже родился с отсохшей рукой. За грехи праотцов.

Пахло из кружечки холодком. Стало неудобно.

— Я не хочу пробовать.

— Пей!

— Давай его выкинем.

— Пей! — сестра поднесла кружку к моему рту.

Я отпихнула кружку, побежала по полю. Сестра за мной. Догнала. Подрались. Я решила навсегда уйти из дома. К Брыкину.

Шла, рыдая, напрямки, через крапиву. Увидела его издали на огороде. Подкралась поближе понаблюдать, как он одной рукой управляет с лопатой, загоняя ее в землю ударом ноги, а потом, используя культю, как рычаг, вынимает землю. В мешке рядом что-то шевелилось. Выкопав ямку, он взял мешок, высыпал маленькие белые комочки. И стал закидывать землей. И тут я поняла, что он закапывал только что родившихся котят.

— Эй! Что ты делаешь?! Не убивай их!

Из-под земли доносилось пищание.

— Отдай их мне! Пожалуйста!

Брыкин потоптался, трамбуя землю:

— Тебя бабка заругает!

— Не заругает! Не убивай их!

Он собрался идти с огорода.

— Я тебя поцелую! Если отдашь!

— Ядрись, коромыслом!

— Ты злой! Поэтому у тебя рука и отсохла! Ну отдай! Они же умирают! Сделай хоть доброе дело!

— Ах ты, соска! Мою руку медведь погрыз, когда я малого спасал! На него шатун зимой напал... А я его от медведя отбил. Дык он в реке потоп на следующий год. Судьба... А доброе дело, это ты кошке скажи, чтоб она не котилась! Орут голодные, цыплят таскают. Иди к бабке.

— А если я тебе дам что-то такое, отчего ты полетишь, отдашь?!

— Это еще чо такое?

— Белый порошок. Очень хороший. Мы с сестрой пробовали. Сейчас принесу!

— Ну не хрена ж! Понаехали из Москвы...

Я побежала за саквояжем, рассказала сестре про котят, помчались к Брыкину вместе.

Калитка была заперта.

— Эй! Брыкин! Мы принесли!

— Лесом идите, сказал!

— Слышишь, котята мяучат в земле! Ну отдай их нам, ну пожалуйста!

— Где взяли-то? Во я вашей бабке скажу!

— На сеновале нашли.

— Зеки, чо ль, попрятали? Тут зимой бывает беглые прячутся в домах.

— Не, это еще с революции! В нашем доме была до революции плисарезка.

— Ну плисарезка, и чо?

— А плисарезы не люди, что-ли?

— Дай посмотреть, чо у вас там?

Брыкин подошел к калитке, протянул руку за саквояжем.

— Отдашь котят?

— Они уж подошли.

— Нет, мы слышим, как они мяучат! Ну Брыкин, ну миленький, ну отдай котят!

Они ведь задыхаются! Ну хочешь, я тебе трусы покажу?!

— Эх! Алёна, жопа солёна!

— И она покажет! Покажешь ведь?

— Дура! — я почувствовала, как мое лицо заливают краска.

— Не пугай ежа голой задницей!.. Чо я там не видел. Дай посмотреть, чо в саквояже-то.

— Вот, — сестра достала ампулы в бумаге.

Брыкин грубо выхватил у нее из руки ампулы и пошел в дом.

— Вот я бабке вашей скажу, во чо играетесь!

— Давай быстро, пока он прячет! — скомандовала сестра, перелезая через калитку.

Раскопали котят, в саквояж — и бежать. Я зацепилась за штaketник, прыгая с калитки, порвала платье, но было совсем не до этого.

Скатились в овраг. Слепые котята выглядели спящими. Только один мяукал, страшно разевая пасть.

— Надо им молока дать.

— Надо сюда кошку принести, она их покормит.

Нашли кошку. Притащили. Она обнюхала котят, взяла зубами за шкурку того, который мяукал, положила рядом с собой, облизала. Он впился в ее сосок.

А вечером бабулечка, наша добрая бабулечка, угощала нас и Брыкина пенками с земляничного варенья. Мы за чаем тревожно молчали, а потом Брыкин подмигнул мне.

И после мы с сестрой и с Брыкиным, таинственно переглядываясь, белили печь, а бабулечка штопала мое платье, напевая «Это было неда-а-авно, это было давно...»

Ирина Краева

У речки с золотыми мальками

Митя лежал под летним покрывалом, закрыв глаза, легкий после сна, и каждый домашний звук был легок и плыл прямо к Мите, каждый можно было подробно рассмотреть со всех сторон.

«Что, йок — генеральскому?» — перевернулся он на живот.

По субботам завтрак был «генеральский». Ма накрывала стол не на кухне, а в «большой» комнате, перед телевизором, включенным без звука, на подтанцовывающем низком столике. Митя усаживался за него не на стул, а седлая большую деревянную черепаху — она улыбалась смуглыми губами, а на лапах у нее блестели перламутровые коготки. Родители же занимали диван. И все было, как обычным утром: творог, йогурт или яичница с колбасой, но по субботам почти всегда и ватрушки, аппетитно дырявые на укусе, разнеженные сметаной и сахаром в кастрюле под тремя полотенцами. Ма и па никуда не спешили, улыбались, подначивали друг друга и Митю, и он тоже пытался шутить с набитым ртом, и жизнь была утренняя, генеральская — и вокруг, и за окном, и надолго.

Но сегодня Митя слышал, что ма стучит тарелками без опаски его разбудить, вот приказала отцу: «Дай чашку! Не эту, синюю!» И снова: «Синюю, я сказала, а не серую!», а тот, слышно, протягивает ей посуду, но ма не сразу, специально не сразу, берет ее, а отец все равно — молчком.

«Йок — генеральскому, точно — йок», — подумал Митя, уже пиная тапки в сторону ванны.

Там он проваландался.

Промямлил:

— Доброе утро, — и присел на табуретку, втиснутую между шкафом и столом, стал поглядывать исподлобья на заставленный чашками-плошками стол.

— Доброе. — Ма ворочала, нажаривала котлеты.

Па усмехнулся, хлебнул чай не из любимой кружки с белым грибом, а из стакана с застарелыми жилками, осевшими на гранях паутиной, где такой и нашелся. Па сидел за столом спиной к окну, и поэтому его большое лицо было темным, а еще виноватым, однако на нем плавала какая-то настырная улыбочка, па постукивал пальцами. Жирно пахло котлетами, хоть зажимай нос в кулак.

— Поезжай к своим Губаренкам, поезжай, — кинула ма из-за спины, не Мите, отцу. И уже с едким, горестным вдохновением: — А у меня дел — как там? — за гланды!

Отец причмокнул, подзывая взгляд Мити и пытаясь улыбаться шутливо, сграба-стал яйцо в кулак, принялся слегка его мять, дунул — и выпал на тарелку голенький овальчик, мягкий, с одной маленькой скорлупиной на боку. Фокус такой.

— Ешь, — пододвинул к сыну чистой рукой.

«Ладно, — подумал Митя, — ладно» и попинал носом яйцо в тарелке, постарался забить в ворота из кругляшей огурца. Глазом косил на отца: ты тоже в команде.

— Хватит баловаться! Шутихи тут строят! — И оборотятся, перемазанным котлетами ножом ма разбила яйцо на две ровные половинки.

На каждой зажелтело по два глазка.

«Как это?» — Митя посмотрел на отца.

— А вот, брат, значит, счастливчик! — хохотнул тот, наконец-то свободно выпускающую в нем на цыпочках радость, заодно радуясь и странноватому яйцу. — Так сказать, подарочек от счастливой Рябы.

— От счастливой Рябы! — бормотнула мать и уже тише: — Ну да! Ну, конечно, у Губаренок этих ряб...

Отец сгримасничал, пошел курить на балкон. А ма спряталась в холодильник, зарылась, принялась стучать масленкой.

На Митю глядели четыре желтых глаза. Они были совсем не счастливыми, а как у близнецов этих, Губаренок-младших, — никакими, глядят и глядят. А яйцо оказалось заметно больше обычного. Из такого, наверное, и дракон мог бы вылезти, да нет, две же, конечно, змеючины — желтков-то пара! Половинки яйца стали неприятными и, может быть, ядовитыми, хотя пахли мирно. Митя скомкал их и просунул в висевший на дверной ручке пакет, под капустный лист. Вытер о шорты влажную, бархатную ладонь.

За окном клен поймал солнце, подбрасывал в своей зеленой корзине, шекотал листочками, дворники бурно разговаривали не по-русски...

— Зойка, — в дверях появился отец, пахнув табачной горечью, уперся в косяки руками и сказал весело и вкрадчиво: — Зойка, ну какие курицы? Что ты, ей-богу? Потом, я же с Митькой буду. — Усмехнулся: — Он за мной присмотрит. Порыбалим...

Половина спины матери, выставляющаяся из уже пищавшего холодильника, подумала-подумала, подумала еще покрепче и вдруг тоже захотела, чтобы Митя «присмотрел» за отцом. Но эта половина спины не была уверена, согласится ли Митя, и ждала, что он скажет. И отец тоже ждал. «На худой конец и с Губаренками можно поиграть на ноуте», — подумал Митя. И вздохнул:

— Угу. Порыбалим.

— Только на плотину чтобы ни ногой, — вылезая из холодильника, приказала ма таким голосом, будто расхаживала уже по Губаренковской даче, поглядывала по сторонам.

...Автобус останавливался за два квартала от их дома. Ехать — самое большое минут сорок. Отец говорил о футболе, знал, Митя это любит, и поэтому говорил, говорил... Но все было давно известно Мите. С заднего сиденья отца перебил старушечий голос, не соглашаясь с перспективами «Спартака». Па с облегчением примолк и, шевеля бровями, смотрел в окно, разглядывал там свою мечту.

Тогда Митя сам повернулся, чтобы строго сказать: «Нет». Но старушка успела превратиться в толстого дядьку со взмыленными, пьяными глазками. От неожиданности Митя хихикнул. И дядька приветственно приподнял красную бейсболку и тоже хихикнул, и потом еще несколько раз тоненько дребезжал старушечьим смехом, и еще сильнее дребезжал, видя, как топорщатся погончики на Митиной клетчатой рубашке, он ведь тоже не мог удержаться. Мите хотелось, чтобы отец снова заговорил про футбол, а дядька заспорил бы, и тогда он вновь оглянулся бы — а вдруг тот превратится в кого-нибудь еще. Но мечта отца не отставала от автобуса, и он продолжал с ней шептаться через окно густыми бровями.

...Они шагали по улице со старыми домами, некоторые «играли» — выгнулись

волной, как растянутые в песне меха гармошки, а в окнах ровно стояли цветки в горшках. И вот он вам — коттедж Губаренок, из светлого кирпича под черепичной дородной крышей.

...Митя стеснялся, когда вокруг столько людей. Носили тарелки на стол под яблонями, что-то уже нажевывали, смеялись, курили... Пестро и шумно, все сразу не охватить. Отца пристроили вертеть шампуры, он неловко поулыбывался над дымком, мельком, как невзначай, поглядывал по сторонам, все-таки и правда ждал кого-то... Митя пошел от него, сердито разгребая низкие ветки яблони, свернул за угол дома.

И почти натолкнулся на спины младших Губаренок. Серега и Сашка о чем-то сговаривались с Максом, Митя знал — сегодня есть и какой-то Макс.

— ...И его надо брать, этого шындохвоста...

Близнецы обернулись вслед за быстрым взглядом загорелого Макса.

— Митяй, пойдешь на реку? — буркнул Серега небрежно, даже вот так: — Йдешь на рку?

Отказываться было еще глупей.

И они, конечно, пошли: Губаренки и Макс — сразу было видно, что он не захочет быть другом Мите, слишком ловкий, все у него получается, а если что не получится, он плюнет и дальше пойдет. Серега и Сашка, Макс метелили, переплетя руки на плечах друг друга, переговаривались, сзади тащился Митя, будто бы сам по себе. Думал, успокаивая себя: «Четвертый в компании всегда лишний дурак».

Неширокая река юлила по лесу причудливой загогулиной. На середине ее толкались-прыгали солнечные мальки, а у берега вода была гладкой, густо коричневой, и на широких зеленых блюдцах-листьях белые, едва приоткрытые, головки кувшинок лежали крупинками сахара.

Губаренки и Макс стащили шорты и кинулись в воду, с воплями.

Митя вошел в реку отдельно. Холод сразу оттяпал ноги до коленок, а тело еще оставалось теплым, сонным. И чтобы скорее избавиться от этой неприятной разницы, он бухнулся в ледяной чай, поплыл, тычась коленками в махровое песочное дно. И вода забурлила, засверкала вокруг и в самом Мите. Он залупил руками по шуршашей, кипящей коричневой чистоте, лупил и лупил, выбивая, взбивая мокрые искры и радость. Потом, оглушенный, встал по грудь в воде, промытый насквозь, очухался, смел двумя руками потоки с лица, чтобы раздышаться. И опять задохнулся, увидев, как в огненном, блистающем вареве кричат три Мити. Три очумелых и чистых Мити. И бросился к ним, различая уже, кто Серега, кто Сашка, кто Макс, поплыл. И они вместе барахтались, бухались с плеч друг друга в реку, и она, потешаясь над ними, швыряла пригоршни мокрого стекла.

Потом поплыли к плотине. И Митя тоже поплыл. Ему тоже хотелось испытать, как погонится за ним водяной черт, как дернет его за ногу, потянет в Проклятую яму, ухнувшую на дне реки почти «до самого ядрышка Земли, точно тебе говорю». И лягнуть мутную морду захотелось — но уже уцепившись за край бетонного остова плотины, «тут чур меня, уже чур». Затем вползти, сжав зубы, вползти наконец-то на твердь, пролезть, вильнув плечами, меж ржавых прутьев, не поскользнуться на сопливом ехидном мхе, спрыгнуть на мысок и прижаться спиной к стене... И вот тогда над головой взревет, польется гладким крылом солнечная волна, и под ней Митя станет разноцветным облаком — в прошлый раз с берега он разглядывал таких трепещущих мальчишек-облаков — и тогда он увидит мир через эту несмолкаемую волну. И какой волшебный мир через нее, как гремит и переливается — это удивительно интересно было познать и познать можно было только на этой плотине и нигде больше. И он поплыл за мальчишками, поплыл, как же иначе.

И только когда надо было обогнуть клин берега, въехавший в реку, вспомнил слова ма: «Только на плотину чтобы ни ногой!» Серега и Сашка, Макс плыли к несмолкаемой волне, быстро окуная руки в черно-белое колыхание. А Митя обещал ма — ни ногой... Па ведь тоже ей чего-то там обещал, наш мечтатель...

Митя хрипло, устало выкрикнул:

— Ногу свело!

— Сейчас пройдет, — выглянуло из брызг лицо Макса. — Ты пальцы вверх тяни! Тяни сильней!

— Не получается... — прошептал Митя, уже выбираясь, выхлябываясь через заросли кувшинок на берег.

Спины близнецов и Макса расталкивали золотых мальков на воде...

Митя посидел на трухлявом, негожем ни на что бревне. Будто бы струсил, так получалось, но он же не струсил... «Водяной черт намутил», — так он подумал, мотнув головой. И побрел к пляжу. До песочка было с десятков шагов.

Возле куста шиповника с розоватыми цветами, развешанными, как тряпочки, сидел на корточках мальчишка и прилаживал цепь к синему велосипеду, лежавшему в траве диковинным насекомым. Мальчишка недовольно взглянул на Митю снизу вверх, а на самом деле будто бы сверху вниз. И Митя заорал:

— Мишка! — Потому что перед ним сидел на корточках Мишка, его лучший друг, с которым они вместе ходили в детсад №78 «Василек». Они два года не виделись после того, как мамы увели их, машущих друг другу машинками — подарки такие им выдали на прощальном утреннике.

— Ты как здесь? — Мишка хлопал ресницами.

И Митя присел к нему и, толкая плечом в Мишкино плечо, начал рассказывать о Губаренках, у которых здесь дача, и Максе, как здорово они сейчас плавали... Рассказывал и приделывал вместе с Мишкой пахучую от смазки и тяжелую цепь на место. И она быстро послушалась, натянулась.

— Мне домой надо, — Мишка вскочил на ноги. — Меня отпустили на полчаса. Купнуться — и назад, а тут эта цепь.

— Давай тебя провожу! — предложил Митя с легкой душой. — Пацаны еще не скоро вернуться. У меня времени — вооот такой вагон!

— Ага, — кивнул Мишка, седлая свой бодрый велосипед. — До меня парочка километров, мы ж живем не в твоих «Новых зорях».

И он поехал, поехал, иногда Мите приходилось подбегать, чтобы не отстать. И хотя он запыхался, все равно выкрикивал Мишке их любимые анекдоты про чукчу. И только уже когда показались дома дачного поселка, остановился и проорал:

— Миш, дай я покачу, а то устал.

Мишка притормозил, заговорил медленным, объяснительным голосом:

— Понимаешь, у меня горло болит, мне надо ехать, так сил тратится меньше, — и звякнул звоночком на руле, ему нравилось все что-нибудь проверять на своем отличном велесе.

И Митя махнул рукой снова с легкой душой: надо, так надо...

Возле ворот Мишкиного дома стояла Вера Ванна, в джинсах и розовой футболке, держа ладонь над глазами козырьком. И Митя начал ей издали улыбаться, зная, как она примет его тормозить и расспрашивать про маму, оказывается, он и по Вере Ванне тоже соскучился. Но она разглядела его не сразу, первым делом напустилась на Мишку: где был, да что стряслось... Митя стоял и продолжал улыбаться.

— Смотри, это Митька, да Митька же, — заканючил Мишка. — Я его встретил, мы чинили цепь.

— Митька? Ах, Митя, здравствуй, Митя! — Вера Ванна подергала Митю за жесткие после реки вихры. И пошла в дом, спрашивая на ходу с удивлением, недоверчиво: — У вас здесь дача? Как мама? В какой школе учишься? Она ближе от вашего дома, чем наша гимназия?

И Митя, улыбаясь глупо, довольно, отвечал с подробностями, которые, на его взгляд, могли быть интересны Вере Ванне.

Она кивала и нарезала широким ножом батон, разложила по куску кружки колбасы, прозрачные от мелкого сала, вручила бутерброд Мите.

— Садись-ка ты на автобус. Как раз через пять минут отойдет, видишь — вон остановка, — махнула полотенцем на будку, виднеющуюся в распахнутое окно. — Довезет прямо до центра ваших «Новых зорь». Мы тут каждые выходные! Наведывайся.

— Да не хватятся меня, — буркнул Митя и шагнул в сторону, чтобы загородиться от Веры Ванны стоящим на столе эмалированным тазом с бордовой клубникой и ей были бы не видны его черные жеванные трусы, даже не плавки.

Когда уже шли с Мишкой до остановки, Митя запихнул в рот бутерброд, целиком.

— Ты ешь, как слон, — засмеялся Мишка.

Митя тоже засмеялся и двумя руками размазал по щекам налипшие крошки.

...Голубая шторка хлопала по стеклу, открывая и закрывая коттеджи, потом чем-то желтым поросшее поле, лесок, снова дома... Митя поджал ноги под сиденье, чтобы не касаться грязного пола, и думал: почему все так, вот встретился он с Мишкой, а простился будто с каким-то другим человеком, и если он еще когда-нибудь с ним встретится, то каким тогда окажется Мишка... И когда вернутся с плотины близнецы Губаренки и Макс, он думал, будут ли они снова говорить про шындохвоста?.. А на самом деле шындохвоста ведь никто не видел при свете белого дня. Просто он живет в гроте, куда заплескиваются зеленые волны океана и по стенам всегда вьются светлые тени — от свечек в синих прозрачных кружках, от свечек, которые горят день и ночь, потому что уже давным-давно шындохвост ждет своего брата-шындохвоста, ослепшего после битвы с драконом Пуревозом и заблудившегося. Брат-шындохвост рано или поздно, но обязательно, должен вернуться в их грот, в котором они играли в детстве и который он может найти, почувствовав своими радужными крыльями даже за тысячу сто километров тепло, тепло от зажженных свечей, поэтому в гроте их огромный запас, круглых и белых... Митя задумался, почему шындохвост сам не полетел на поиски брата, но понял, что тот бродил по свету и искал его тридцать лет и три года, но так и не нашел, неизвестно ведь, что там и как там с братом — может, ему очень плохо, а может, и очень хорошо, но до поры... И Митя пришел к выводу, что шындохвост должен терпеливо ждать брата в гроте, чтобы в любой момент была для него еда и постель, иначе тот, не найдя его в гроте, сразу умрет от тоски и отчаяния, самое важное — быть там, где надеется найти тебя брат...

И только когда за окном проехало длинное здание Митиной школы, шындохвост вылетел из его головы, махая стрекозьими крыльями. А Митя вскочил с сиденья, вцепился в скользкий железный поручень. И выметнулся тут же, как только распахнулись двери автобуса. Два квартала до дома... А Губаренки с Максом, наверное, уже вернулись, без него, Мити... И отец смотрит на них, вот прямо сейчас на них смотрит, и над губами у него проступает странная белая полоса... Улица ныла, как больной зуб, все дома ныли, деревья. И ноги его тоже ныли, и резало в правом боку. Он наткнулся на прохожих, запинаясь неповоротливыми на асфальте беззащитными босыми ногами. Митя снова вспомнил про трусы — черные, жеванные. И тогда задышал, как спортсмен, шумно и резко, чтобы прохожие думали: спортсмен, в чем же еще бегать

спортсменам, как не в трусах, и притом босиком. «Мальчик, тебе плохо?» — вскрикнула какая-то тетенька...

— Митенька, приехали? — мать произнесла это ласково, ведь не рассчитывала, что Мите с папой будет скучно без нее и они вернутся так рано. Но ее лицо уже стало вытягиваться, как будто невидимая рука повисла на подбородке и тянула вниз.

Митя вцепился в пахнувший теплой едой халат и завыл:

— Я не узнал, не узнал... автобус ехал с другой стороны... Я был с Мишкой...

— С каким Мишкой? — выдохнула неподвижная, отстраненная от него мать. Она уже думала об отце.

— Мишкой Морозовым, из «Василька»... — простонал Митя, чувствуя, что беды стало больше, а защиты нет никакой. И он заканючил, еще противней заканючил, чем Мишка, пытаясь все объяснить.

Ма оттолкнула его. Запнувшись о стул, подошла к тумбочке, где лежал мобильный телефон, поискала последний звонок отцу, нажала...

— Одевайся, давай одевайся.

— Нет, не поеду. Ты дозвонишься...

— Одевайся, — бросила ему, почти не глядя, джинсы, футболку, висевшие на спинке стула после глажки. — Быстрее, быстрее, Митя, одевайся.

Митя подвывал и невпопад толкал в одежду руки и ноги.

Пока заводила машину и на светофорах, ма нажимала и нажимала на клавишу телефона, добиваясь отца, глядя страдальческими, взмыленными, как у того дядьки в автобусе, глазами на экранчик. Митя сглатывал пресное и шершавое во рту, два раза он даже затрясся, скрученный пополам судорогой, но только закашлялся.

— К речке, наверное, — пробормотала ма, когда они уже въехали в «Новые зори», теперь Митя узнал место, это было именно знакомое место «Новых зорь».

Из окна машины он увидел, что на пляже много людей. Одни стояли неподвижно — все больше женщины, с прилипшими к ним детьми. Меж ними, как меж деревьев, шел полицейский в голубой рубашке с короткими рукавами, планшет на длинном ремне бил его по левой коленке. А другие люди — мужчины — одни по пояс в реке, другие на берегу, в обычной одежде и синей форме, организованные и разогретые бедой, говорили что-то друг другу, на что-то показывали руками.

Никто из этих людей не знал, что вот же он — Митя, никто его будто бы не хотел видеть, все уже от него отказались из-за его непрощаемой вины.

Митя не чувствовал, не понимал, что вылез из машины, что мать взяла его за руку, что они уже идут к пляжу. Когда наступал на камни, они будто пинали ему в кроссовки.

Подошли ближе к реке — и тогда открылся весь пляж. Митя сразу увидел отца. Он стоял на коленях, опершись руками в песок, опустив голову над темной водой, точно устал пить из реки. Отца позвали, он склонил голову ниже и в сторону, медленно оглядываясь, и тут же дернулся, припал почти к самой земле, как насмерть перепуганный пес, и по-собачьи же перебрал руками, весь разворачиваясь к Мите, и побежал навстречу, не сразу встав на ноги, не сразу распрямившись.

— Только не бей! — крикнула ма. — Не бей, Павел!

Митя успел скрючиться, уткнулся в ма. И огонь залепил глаза, сотряс его.

Отец выдрал Митю у матери и тряхнул. Отец гудел и раскачивался, позвоночник в нем ходил ходуном туда-сюда, как язык в колоколе, плясал и бился в просторные чугунные бока. У Мити туда-сюда болталась пустая голова.

Ма повисла на отце, утишая, и Митя вдруг выпал из рук отца, но тут же набросился на них обоих, захлебываясь в рыде, стараясь и обнять, и втиснуться между

ними. Отец с матерью возились, клокотали, что-то взахлеб бубнили в плечи и грудь друг друга, невольно отталкивая Митю. Но он не переставал отчаянно, до желтых, огненных кругов в глазах, злобясь, почти ненавидя па и ма, пробиваться, проникать в самую горячую их красную середину. Наконец они нащупали его и больно прижали к себе — и только тогда Митя зажмурил глаза, стал вместе с па и ма одним клубком, колыхающимся.

Весь день скопился вокруг Мити, все люди, которых он видел: дядька в красной бейсболке, братья Губаренки, Мишка и Макс, все его обступили. Эти люди крепко обнимали его, стояли все вместе, ласковые люди, и тоже раскачивались вместе с Митей, ма и па — как огромный одуван на ветру, как сверкающий шар в черном космосе.

И постепенно, постепенно эти колыхания укачали Митю, укачали ма и па.

— Людей надо поблагодарить, — выговорил отец еще сжатым судорогой ртом.

Он осторожно вынул руки из обнявших его жены и сына, пошел, виновато прихрамывая, снова похожий на собаку, теперь одинокую. Митя видел, как отец пожал руки высокому мужчине в синей форме...

Мать близнецов Губаренок молча всунула в открытое окно машины одежду Мити. Клетчатая рубашка, шорты, сандалии кучей развалились на сиденье, как что-то неживое, не Митино.

И поехали домой, ма села за руль, отец с нею рядом.

Митя карябал, почесывал указательными пальцем их тихие затылки, как кошке под мордахой.

Потом устал и улегся ничком на большую деревянную черепаху. Она разгребала лапами с перламутровыми коготками зеленые мутные волны. Надежный панцирь черепахи был поделен на неровные шоколадные гладкие квадратики, почти как на глобусе. Иногда у черепахи раздувалась смуглая щека и тогда тренькал, тренькал спрятанный за ней велосипедный звончок. «Поиграю и верну его Мишке», — подумал Митя, уже утопая в сонном блаженстве.

Елена Фельдман

ПИНГВИНЫ ПО НЕБУ ЛЕТАТ

В зоомагазине

Со мной продавец говорил церемонно,
Отвесив с порога глубокий поклон:
— Зачем вам собака? Купите дракона!
Отличный питомец — домашний дракон!

Взгляните, какая умильная морда,
Когтистые лапы, чешуйчатый хвост...
Немного обидчивый, может, и гордый,
Но в целом — добрейший крылатый прохвост!

Летая под люстрой, гостей забавляет,
Работает грелкой и чай кипятит,
Живёт триста лет и простуды не знает...
Во всех отношениях выгодный вид!

Драконов осталось на свете немного,
Не медлите! Сделайте детям приятно!
А огнетушитель и мазь от ожогов
Мы выдадим вам совершенно бесплатно.

Про дракошу и грибы

Кудрявый дракоша
В зелёных галошах
Несёт через лес кузовок,
И строгие ёлки
Отводят иголки,
Заслышав его топоток.

А в лапах дракоши
Серьёзная ноша
(Дракоша прошёл целый бор!) —

Сестрички-лисички,
Ребята-опята
И красный большой мухомор.

Дракоша с грибами
Торопится к маме,
Доволен собою и горд:
Ведь мама дракоши,
Кудрявая тоже,
В награду печёт ему торт.

Юнга

Гранитной рыбой гордый город
Плывёт по медленной Неве,
И солнца раскалённый молот
Завис в звенящей синеве.

Ни шороха. Один мальчишка
У Львиного моста сидит,
Как в воду, провалившись в книжку
(Джек Лондон? Может быть, Майн Рид?)

За поворотом ждут пираты...
Даёт команду адмирал...
Он — вдохновенный и лохматый
Наследник тех, о ком читал.

Мечты и юность — ненасытны.
Вода сверкает горячо.
Лев тянет морду, любопытный,
И тычется ему в плечо.

Удивительное происшествие, которое случилось со мной четвёртого декабря в три часа пополудни

Сидел я как-то на окне
Порою зимней,
Вдруг вижу — реет в вышине
Косяк пингвиний!

Пингвины по небу летят,
Руля хвостами,
И едут трое пингвинят
Верхом на маме.

Среди пушистых облаков
Пингвинья стая
Плывёт, троллейбусных усов
Не задевая.

И животы, как молоко,
Вверху белеют...
— Куда вы, братцы?
— Далеко!
Сейчас — в Гвинею.
Там отдохнём и загорим,
а после, в марте,
на Южный полюс полетим.
Следи по карте!

...Пусть хоть тюлени за окном
Летят в Гвинею,
Но нам, котам, милее дом
И батарея.

Королева ёжиков

Приятно познакомиться, я Королева ёжикофф —
Больших и самых маленьких, домашних и лесных,
Игольчатых, ффырчательных и лапотопотательных,
Весь день с утра до вечера я поучаю их:

— Яблок фф кладоффке проверьте количество!
— Будет исполнено, Ваше Величество!
— Глубже под листья спрячьте грибочки,
Чтобы хватило и сыну, и дочке!

А тёплой ночью фф августе, когда на небе звёздочки —
Как наливные яблочки на иглах у ежа,
Я песни колыбельные под голоса свирельные
Пыхчу тихонько подданным, покой их сторожа:

— Спите, ежата, под пледом из листьёфф!
Осень уже приготовила кисти,
Скоро раскрасит весь лес фф золотой,
Чтобы вам слаще дремалось зимой.

Из цикла «Тайная жизнь домашней утвари»

Укрощение строптивой

Хозяйка считает меня за царицу,
Хранит в застеклённом буфете.
Прошу вас уйти! Соблюдайте границу!
Ну что за упрямые дети...

Опять атакуют! Пока безуспешно.
Грозятся мне ложкой столовой.
Быть первой красавицей трудно, конечно,
Особенно в нашей столовой.

На эту возню я гляжу с верхней полки
С печальной, но гордой усмешкой:
Под крышку мою не пролезет иголка,
Её не свинтить сладкоежке!

О нет! Принесли из сарая стремянку!
Хватают меня с нетерпением...
Прочь руки, невежи! Я крепкая банка,
Сердитая банка с вареньем!

Маленький пароход

Мой дедушка был пароход.
Он важно плыл по глади вод,
Штурмую грудью волны.
Взлетала пена над кормой,
А он упорно шёл домой,
Углём и гулом полный.

Мне пароходом уж не стать —
Но тот же профиль, та же стать
И нос зеркально гладкий.
Какой напор! Какой накал!
Налягу грудью на крахмал —
И разойдутся складки.

Пускай плыву не по волне,
На васильковой простыне, —
Я каждый день при деле.
Вот остров-пуговица — ой!
Скорей левее, рулевой!
Едва на риф не сели.

Откинуть штепсель на восток!
Равнение строго на носок!
Теперь — пелёнки внучке!

...Когда ты все погладишь, друг,
Погладь тихонечко утюг
По кнопке или ручке.

Ветеран

Скажи-ка, скалка, ведь недаром
Мы встретились в буфете старом
У кухонной плиты?
Я помню, пушки громыхали
И пули пчёлами жужжали.
Была в бою и ты!

Хозяин мой вскричал: «Ребята!
Нас не возьмет француз проклятый!»
Но взвизгнула картечь —
И я скатился в пыль под стягом.
Я шлемом был! А стал дуршлагом.
Прощай, родная сечь!

Теперь во мне сплошные дырки —
Ни воду принести для стирки,
Ни напоить коня.
Пока я мою макароны,
Летят лихие эскадроны
На битву — без меня...

Тамара Кузнецова

Печали и радости моего военного детства

*Моей героической маме
Евдокии Иосифовне Кузнецовой (Федер) посвящается*

Старобин и Слуцк

Первый день войны я помню очень хорошо. Старобин, поселок в Белоруссии. Я сижу в дедушкином доме у окна на лавке и пытаюсь застегнуть пуговку на туфельке. У меня не получается, мама наклоняется ко мне, и в это время я вижу в небе за окном низко летящий самолет и на нем непонятные мне, советскому ребенку, черные кресты, а не звезды. Я у мамы спрашиваю, почему на самолете нет звездочек. Мама произносит слово «война», которое я хорошо знаю потому, что папа военный, а мы всегда в войне побеждаем. Самолет летел бомбить Минск.

Папы с нами не было. Он уехал в командировку, но в июле у него начинался отпуск, и он должен был заехать за мамой в Старобин. Они собирались поехать посмотреть Москву.

В первые два дня войны мама не решалась эвакуироваться, думала: вдруг приедет папа, и мы с ним разминемся. А на третий день мы уже были под немцами.

Поначалу для нас большую опасность представляло то, что мы с мамой — семья военного. Мой папа, Евгений Никитович Кузнецов, до 1939 года служил в Белорусском военном округе под Гомелем помощником командира танковой роты по технической части. Перед самой войной был переведен под Полтаву командиром танковой роты. Но еще опаснее то, что моя мама была еврейка. Родилась она в Старобине, а работала в Гомеле полковым учителем в полку, где служил папа. До войны существовала такая должность, поскольку было много малограмотных солдат. Наряду с другими предметами мама преподавала литературу и немецкий язык.

Мы перебрались из Старобина в Слуцк, где маму меньше знали. Но вскоре начались гонения на евреев, уже в августе стали создаваться гетто. Тогда мама сожгла свой паспорт, пошла в немецкую комендатуру и сказала, что она из Воронежа, в Белоруссию приехала с ребенком на лето, ее удостоверение личности сгорело в доме, в котором мы останавливались в Слуцке, она хочет вернуться с дочерью домой и просит выдать ей пропуск или новое удостоверение. Мама не была похожа на еврейку — сероглазая шатенка, очень миловидная и стройная. Немцам до Воронежа

было еще топать и топать, но они так уверовали в свою победу, что такой документ маме выдали.

Мы с мамой пешком пошли в Бобруйск, а дедушка с бабушкой и младшая мамина сестра Сима остались в Слуцке. О том, как они погибли, мы узнали после войны. Известно было очень мало. Только то, что осенью 1941 года их куда-то везли на грузовой машине. С ними был какой-то человек. Сима с этим человеком пыталась бежать, их всех расстреляли.

Шли мы долго, недели две. Проблема была в том, что сама я долго идти не могла, а нести меня, большую пятилетнюю девочку, мама была не в силах. Иногда нас подвозили на подводах крестьяне, которые ехали в соседние села или местечки, часто мы ночевали в деревнях. Иногда нас пускали в дом, но иногда приходилось спать в каком-нибудь сарае или на улице возле дороги. Однажды мы остановились в небольшом леске, увидели убитую лошадь, а рядом с ней кавалерийскую бурку. Мы ею накрылись как домиком, она нас спасла от холода. Мы взяли бурку с собой, она нас много раз выручала. Уже потом, перед уходом в партизаны, мама из нее сшила мне что-то вроде лыжного костюма.

Пока мы шли, мама учила меня: «Если спросят, кто твой папа, отвечай, что папа железнодорожник». До войны мы добирались от Полтавы до Старобина по железной дороге, которая произвела на меня сильное впечатление — домик на колесах, спишь как на кровати, сидишь за столиком и при этом едешь и смотришь в окно. Я легко согласилась с тем, что папа — железнодорожник, мне это даже понравилось. Через некоторое время, когда у меня кто-то спросил: «А где теперь твой папа?» — я почему-то сочинила такой ответ: «Папа был железнодорожником, высунул голову из окна паровоза, ее отрезало, и голова покатилась». При этом я себе ярко представляла, что голова катится как мяч. С этой версией я дожила до встречи с папой в августе 1944 года.

Правда, потом я решила облегчить себе жизнь и, когда меня о чем-нибудь спрашивали, я говорила: «Не знаю. Спросите у мамы». За войну я настолько привыкла отвечать именно так, что потом уже после освобождения, учась в первом классе, на все вопросы отвечала так же, в том числе и учительнице. Мама и папа меня долго от этого отучали.

Бобруйск

Итак, мы движемся когда пешком, а когда повезет, на подводах. В город въехали на немецкой машине. Уже недалеко от Бобруйска нам встретились на дороге две тетки с корзинами. Они ехали на рынок продавать яйца, предложили нам голосовать вместе — ребенок вызывает большее сочувствие. Обещали заплатить и за наш проезд. И действительно, вскоре остановилась легковая машина, в которой ехал немецкий офицер. Мы уселись на заднем сиденье, тетки по бокам, а я у мамы на коленях посредине. Мама с немцем говорила по-немецки, он спрашивал, кто мы такие и куда едем. Она показала документы, свой немецкий «аусвайс». Немец был удовлетворен. Высадили нас в центре города. Тетки дали немцу яйца, а с нас ничего не взяли.

В Бобруйске мы поселились у хозяйки довольно большого дома, но почему-то на террасе, а уже стоял сентябрь или октябрь, и было холодно. Вскоре мама нашла работу на разборе развалин, и мы перешли в общежитие, в большую комнату, где жили такие же бедолаги, как мы. Хозяйка дома взяла с нас за недолгий постой на террасе мамины часики, а они были нашей главной ценностью.

Утром женщины из общежития уходили на работу, а дети, которые спали вместе с мамами на солдатских койках, оставались лежать. Я помню, как боялась пошевелиться, чтобы не нарушить одеяло, которым меня, уходя, укрыла мама. Вечером

мамы возвращались и приносили нам какую-то еду. Однажды мы пили чай с сахарин-ном. Помню, что это было очень вкусно. В этом общежитии мама подружилась с тетей Ниной, у которой был семилетний сын Герка, они тоже были семьей военного.

Герке было поручено взять надо мной шефство, что он понял так буквально, что всюду таскал меня за руку, не отпуская ни на минуту. Мы были полураздетые, из довоенных вещей выросли, да их особенно и не было. Сообразительный Герка решил, что надо искать одежду в развалинах и просить милостыню у всех подряд. Что мы и делали. Довольно быстро мы нашли два пальто. Герке пальто было в самый раз, а мне досталось очень большое до пят, зато теплое. Герке мы нашли ботинки почти впору, а мне большие боты. Мама тоже раздобыла себе ватники. Так мы приготовились к зиме.

Герка находил мою руку в пальто, и мы такой парой ходили по улицам Бобруйска, побирались. Немецкие солдаты жили почему-то в домиках-вагончиках, и мы крутились возле них. Немцы из своих котелков давали нам остатки горохового супа ярко-зеленого цвета. Бывали мы и в лагере военнопленных, один дядя подарил мне железную расческу. Я ее очень берегла, Герке не давала, хотя он говорил, что ее дали нам на двоих. Но оба мы были стрижены налысо, и расческа нам была нужна как игрушка.

Предприимчивый Герка как-то, не взяв меня с собой, бродил по развалинам и нашел полуразрушенный дом, где сохранились две комнатки и русская печка. Наши мамы посмотрели развалины и решили туда переселиться. Так мы стали жить вчетвером в развалинах, но с печкой.

Однажды ночью — видимо, это было перед рождеством — к нам в дверь постучали. Оказалось, немцы увидели дым из трубы и нас разыскали. Они привезли огромную тушу свиньи, полмешка муки, много дров, большие противни и соль, велели к утру мясо зажарить. Мама и тетя Нина трудились всю ночь. Немцы приехали утром, жареное мясо забрали, а соль, весь жир вместе с противнями, муку и дрова оставили. Это надолго спасло нас от голода и холода.

Мама и тетя Нина каждый день утром шли на биржу труда, где получали наряд на работу на день. Иногда они брали нас с Геркой, чтобы мы знали, где они будут работать. На бирже мы крутились в ногах у взрослых, и мне нравилось рассматривать пол, покрытый плиткой, она была белая и красная, выложенная попеременно небольшими квадратиками.

В 1972 году я была в Бобруйске, зашла в музей и там увидела на полу эту плитку. Прочитав, что во время войны в этом доме находилась немецкая комендатура, я обратилась к смотрительнице и сказала, что допущена ошибка: зимой 1941 года здесь была биржа труда. Она усомнилась и попросила оставить свой адрес. Я оставила и через некоторое время получила из бобруйского музея письмо, в котором меня благодарили за уточнение.

С первыми признаками весны мы с Геркой бегали в овраг, рвали вербу, а потом и первые цветы, приносили немкам, которых в начале 1942 года в Бобруйске стало уже довольно много. Немки нам давали хлеб. А однажды одна из них дала нам немецкие конфеты, белые, упакованные как таблетки, но по сравнению с лекарственными очень большие. Их было шесть штук. Герка дал мне конфету и сказал: «Ты ее не разжевывай, а то быстро кончится». Я не стала жевать, но таблетка была такая большая, что я ее как-то неловко повернула во рту, и она закрыла мне горло. Я стала задыхаться. Герка усиленно бил меня по спине, конфета проскочила раньше, чем я успела задохнуться. Герка решил, что конфеты мне противопоказаны, и остальные съел сам.

Мы с Геркой участвовали во всех городских «мероприятиях», на разборе развалин, в лагере военнопленных, у вагончиков, где размещались немецкие солдаты,

бегали на базар побираться, правда, там подавали редко. Немки, выглядывавшие из окон, были щедрее.

Однажды мы оказались на центральной площади, куда немцы сгоняли всех, кто находился на улице. Солдаты и полицаи сгрудили народ вокруг сооружения, которое оказалось виселицей, но я это поняла, когда уже привели юношу, почти мальчика, и стали его вешать. Я к тому времени видела и трупы, и раненых, но чтоб вешали — никогда. Я так испугалась, что стала кричать. Нас с Геркой быстро вытолкали и заслонили место казни. Мы стояли среди взрослых, и Герка рукой зажимал мне рот, хотя я уже не кричала, оценив ситуацию. Мальчика повесили, как потом говорили, за то, что он выкрал из немецкой комендатуры списки молодежи, которую немцы собирались угнать в Германию.

Один из наших с Геркой походов по развалинам закончился весьма печально. Мы нашли абсолютно целую деревянную крашеную раму и выяснили, что если потереть ее, поскребя пальцы, то они красятся в ярко-бордовый цвет. Герка обрадовался и сказал, что рама нам очень пригодится и он знает, что с ней делать. Дома мы раскрасились как индейцы, причем в узорах оказались не только лица и руки, но и лысые головы. Когда мамы пришли с работы и ужаснулись, Герка в преддверии выволочки вытащил из печки горящий уголек и обжог верхнюю часть ладони. Она вздулась, тетя Нина сказала, что нарыв похож на яичницу. Я потом долго представляла себе яичницу именно таким вздутием. Герка в результате оказался больным и получил всего пару подзатыльников. Меня же мама била отчаянно, с каким-то безумным остервенением, головой об стенку. Мыла не было, нас еле-еле отмыли золой и водой из растопленного снега. Уже в наши дни, когда мама упрекала меня за то, что я долго не защищаю докторскую диссертацию, я ей вспоминала: «А кто меня бил головой об стенку?!»

В Бобруйске случилось событие, о котором я узнала много позже, а тетя Нина и Герка вообще никогда не узнали. Дело было так. Тетя Нина и мама не всегда работали вместе. И вот как-то раз мама, возвращаясь одна с работы, почувствовала, что за ней кто-то идет. На следующий день повторилось то же самое: мама оглянулась — сзади шагал старик с большой бородой. Так продолжалось несколько дней. Больше всего на свете мама боялась встретить знакомых. Тем более что один неприятный случай уже произошел.

При распределении на работу на бирже труда мама назвала свою фамилию по мужу — Кузнецова, а вместо собственного места рождения указала папино — город Грязи Воронежской области. К ней подошла женщина и спросила, как зовут ее мать. Мама назвала имя свекрови: «Елена Матвеевна». Женщина сказала: «Я из Грязей, всю семью Кузнецовых знаю, всех детей. Евдокии среди них не было». Маму спасло то, что у моего папы было пятнадцать братьев и сестер. Перед самой войной их оставалось тринадцать, и пока стали всех перечислять, подоспело время идти на работу. В следующие дни эта женщина больше на бирже не появлялась.

Но мама была сильно напугана, а тут еще какой-то бородатый прилип как банный лист. В один прекрасный день мама, увидев бородатого, остановилась и с надрывом спросила, что ему от нее надо. Он улыбнулся: «Дуся, ты меня не узнаешь?» и засмеялся. Мама его узнала — это был комиссар стоявшего под Гомелем папиного полка, того самого, где мама была полковым учителем. Он знал, что мама еврейка. Комиссар посоветовал, как только начнется набор на весенние полевые работы, уехать из Бобруйска в сельскую местность, чтобы быть ближе к лесу. Партизанские отряды к тому времени уже заявили о себе вполне определенно.

Я не помню, побывал ли этот комиссар в окружении и таким образом оказался в Бобруйске или был специально оставлен для координации подпольных действий на оккупированной территории. Важно было то, что мама оказалась связанной с

партизанами. Я знаю, что мама не посвящала тетю Нину в свои партизанские связи, так же как и в свою национальность.

Весной 1942 года мама и тетя Нина завербовались на сельскохозяйственные работы в бывшем совхозе — в поселке Жиличи недалеко от Бобруйска.

Жиличи

Жиличи делятся речкой на две части. Одна из них представляет собой построенный в 1830-х годах красивейший дворец Булгаков, в котором во время войны размещался немецкий госпиталь. (Сейчас это одно из самых интересных и посещаемых экскурсионных мест Белоруссии). Вторая часть поселка — через реку — была центральной усадьбой бывшего совхоза, где стоял красивый двухэтажный, можно сказать, главный дом. При советской власти в нем помещалась контора, а при немцах — что-то вроде гостиницы, в которой три-четыре солдата жили постоянно — следили за сельхозработами и отправляли продуктовые грузы на фронт и в Германию, а человек восемь-десять приезжали с фронта или из госпиталей на отдых и восстановление.

Главным начальником гостиницы был Герман, седой немец среднего роста, лет пятидесяти. Я почему-то до сих пор его хорошо помню. Он внешне у меня ассоциируется с нынешним главой немецкого МИДа Штайнмайером. Герман тоже носил очки.

Когда привезли работников на сельхозработы, Герман отобрал маму, тетю Нину и молодую девушку Валю обслуживать немецкий гарнизон центральной усадьбы. Мама стала поварихой, тетя Нина — ее помощницей, Валя — подавальщицей, Валин шестнадцатилетний брат Леня — конюхом. Поселили нас с мамой и тетю Нину с Геркой сначала в комнатке при входе в главном доме. Затем нас с мамой и тетю Нину с Геркой переселили в комнатку в доме для разных рабочих, обслуживающих усадьбу. Валя с Леней жили при конюшне.

Пока мы жили в главном доме, случилось несколько примечательных событий. Шустрый Герка где-то раздобыл плакатный портрет Гитлера и прикрепил на нашу дверь. Мамы молчали. К нам приходил играть четырехлетний Владик, сын учителя немецкого языка довоенной жиличской школы. Учитель был немцем и при немцах служил переводчиком¹. Как-то Владик спросил у мамы при Германе: «Тетя Дуся, где вы такого Сталина взяли?» Все были в замешательстве. Герман сделал вид, что не слышал.

Входить на кухню Герман никому, кроме меня, не разрешал. Я сидела тихо в торце большого стола, играла с палочками, которые выполняли у меня роль кукол. Иногда он заходил и спрашивал, чем я занимаюсь. Герман разговаривал с мамой по-немецки, хотя по-русски понимал. Я ему рассказывала, как какую палочку зовут. Он говорил, что я уже большая девочка и скоро надо начинать учиться. Я не понимала, что он от меня хочет, и говорила, что помогаю маме и тете Нине, собираю щепки для растопки, кладу на место ложки и вилки. Но Герман имел в виду, что меня надо отправить в Германию учиться. Мама этого очень боялась. Для Герки такую перспективу Герман почему-то не намечал.

Молодые немцы, приезжавшие с фронта, были постоянно голодны и крутились возле кухни. Особенно усердствовал один, стоял за порогом и кланчил еду. Когда мама

¹ Его судьба загадочна. Когда немцы отступали, он поначалу ушел с ними, потом прострелил себе ногу. Вернулся в Жиличи. После оккупации вновь стал работать в жиличской школе, преподавать немецкий.

жарила оладьи, она ему их кидала через порог, а он ртом их очень ловко ловил. Он был веселый молодой парень и показывал, что рабочие, пригнанные убирать картошку, ее воруют, при этом сопровождал свои жесты звуками «цап-царап» и говорил, что делает вид, будто не видит.

Однажды случилось такое, чего я не могла понять, но очень испугалась. В кухню вошел немец, недавно прибывший с фронта. Он был какой-то желтый — или раненый, или больной — и стал тянуть руки к маме. Она ему что-то резко сказала, тогда он ее схватил и повернул к себе. Мама в это время резала мясо. Бросив нож, она стала бить его по щекам испачканными мясным соком руками. Он что-то грозно закричал. Мама схватила стоявшую на полу корзину с картофельными очистками и опрокинула на него. Подхватив меня, она побежала в нашу комнатку и стала мне говорить: «Запомни, ты Кузнецова Тамара, твоего папу зовут Кузнецов Евгений Никитович, ты родилась в Гомеле, перед войной мы жили в Полтаве. Запомни это, но сейчас никому не говори». Я тогда толком ничего не поняла, в частности то, что я Тамара, меня все звали Тома, но вспомнила, что папа Женя и хотела это сказать маме, но не успела, вошел Герман. Он приказал маме: «Идите работать, лейтенант перед вами извинится». Я не знаю, извинялся ли лейтенант, но вскоре он куда-то исчез.

Мы с Геркой не теряли времени даром — облазали все окрестности. Нас очень интересовал маленький домик, построенный при немцах, к которому вел длинный коридор от главного дома. Мы видели, что туда заходили немцы, но что они там делают, понять не могли. Между досками, из которых были построены и домик, и ведущий к нему коридор, были щели, мы подползали и заглядывали в них, немцы шли туда, как правило, с газетой. А однажды, подползая к домику, мы увидели, что немец сидя читает газету, остального видно не было. Мы решили, что это комнатка, куда немцы ходят читать, и я спросила у мамы, почему для этого нужно отдельное помещение. Мама объяснила, что они туда ходят совсем за другим. Я была удивлена. Мы за этим же самым бегали на конюшню, а ночью на ведро.

На другом берегу реки стоял кирпичный дом, который мне казался очень высоким, в нем было три этажа. Говорили, что там живут власовцы. Я не помню, чтобы их гоняли на работу. Но однажды троих из них вывели на площадь перед главным домом и расстреляли. В Жиличах, кроме наших немцев, стоял еще один небольшой гарнизон, помещавшийся во дворце. Тамошние-то солдаты и расстреливали.

В подвале главного дома было оборудовано что-то вроде тюрьмы, в которой время от времени содержались пленные и которую охранял часовой из власовцев. Однажды в тюрьму привезли мальчика лет пятнадцати, о котором говорили, что он сын командира партизанского отряда. Он был ранен в ногу или ягодицу, не мог сидеть. Его часто выводили из подвала, приезжал какой-то незнакомый немец, мальчика заставляли садиться на табуретку на улице, и немец его допрашивал. Мы, прячась в траве, за этим наблюдали. Потом мальчика куда-то увезли.

Рядом с дворцом на другой стороне реки находилось что-то вроде гетто, где содержались евреи, почему-то одни мужчины. Они какое-то, но недолгое время работали во дворце, а потом их расстреляли и сбросили в яму, которую они сами предварительно выкопали. Об этом расстреле в нашей части Жиличей почему-то нельзя было говорить. Так сказали мама и тетя Нина, запретив нам с Геркой болтаться около дворца.

Осенью я долго ходила босиком, не было обуви, и у меня на ногах образовались волдыри, которые лопались и чесались. Тогда Герман сказал, что ребенка надо везти в Бобруйск — в госпиталь и купить обувь. Мама часто ездила в город закупать продукты на рынке. На сей раз взяла меня, отвела в госпиталь, где мне немка-врач, намазав чем-то, перевязала бинтами ноги. Бинты были закреплены металлическими зажимчиками, которые мне очень понравились, произвели на меня, можно сказать, ошеломляющее

впечатление. Пока мы ехали обратно, я зажимчики отстегнула, бинты размотались, но зато я была в новых ботинках и могла перед Геркой похвастаться зажимчиками, которые быстро переключались в его распоряжение.

Как выяснилось потом, каждый раз, когда мама бывала в Бобруйске, ей удавалось встретиться или с самим комиссаром, или с его человеком. Однажды комиссар сказал маме, что предстоит партизанский налет на Жиличи и ей надо быть готовой уйти с партизанами. В назначенный день ранним утром мы уже были одеты и ожидали партизанской атаки. Но налет оказался неудачным. Что-то не получилось, наши в Жиличи не вошли, хотя, как стало потом известно, сильно потрепали охрану немецкого госпиталя во дворце и захватили лекарства и перевязочные материалы. Мы видели, как партизаны уходят к лесу — маленькие фигурки вдали, на другом берегу реки, на пригорке. В соседней с нами комнате жил полицейский, которого звали Най (не знаю, была ли это его фамилия или кличка). Он выбежал с винтовкой и кричал: «Бей их!», и ругался страшным русским матом, держа винтовку наперевес. В тот раз мы в партизаны не ушли.

Прошла зима. Я стала взрослее и уже не была так, как раньше, привязана к Герке. Он бегал с мальчишками, а я подружилась с девочками из соседней деревни, мы ходили в лес собирать ягоды, а к осени и грибы. Мама эту дружбу поощряла и разрешала иногда оставаться ночевать у девочек в деревне. Однажды она дала мне записку и сказала, чтобы я ее никому не показывала, а передала дяде Шуру, молодому парню, который время от времени приходил в деревню. Иногда парни навещались втроем: дядя Шура, дядя Юра и дядя Паша. Это были партизаны. В тот раз, когда мама дала мне задание, дяди Шуры не было. Дядя Юра и дядя Паша просили отдать записку им, но я не согласилась. Утром пришел дядя Шура, вот ему-то и вручила. Я была хорошим конспиратором.

Однажды мы вновь подготовились к уходу в партизаны. Мама меня предупредила заранее, но даже не стала говорить, что об этом надо молчать. Я уже была вполне образована и знала, кто наш, а кто чужой. Дяди Шура, Юра и Паша должны были устроить небольшой налет, и мы под шумок должны были уйти с ними, но мама через меня получила от Шуры записку: «Все отменяется, мы объелись голландского сыра».

«Голландский сыр» оказался голландцами, которых дяди Шура, Юра и Паша застали в деревне. В Жиличах все хозяйственные работы выполняли три молодых парня, мастеровые из Голландии. В немецкой армии они не служили, ходили в форме, похожей на солдатскую, но без знаков отличия, и постоянно носили с собой ящички с инструментами. Они часто навещались к девушкам в деревню, где партизаны их застали и, естественно, увели с собой. Потом мы с мамой и Валя с Леной оказались с голландцами в одном отряде. Их обучили общаться по-русски преимущественно матом. Когда те хотели что-то спросить или сказать, все начинали хохотать, получая большое удовольствие. Правда, вскоре голландцы разобрались, что к чему, научились говорить, захотели не только быть обслуживающим персоналом, строить землянки, заготавливать дрова и давать повод для смеха, но и запросились ходить на задания, стали совсем своими. Но это было потом.

А пока близилась осень. Герман говорил маме, что ребенка, то есть меня, надо отправить учиться в Германию — девочка уже большая, но совершенно дикая, хотя и знает много немецких слов. (Он не подозревал, что я еще умела ругаться по-немецки: ферфлюхтен мэнш, ферфлюхтен швайн, доннор ветэр, гхимель крайнц и т.п.) Мама очень боялась, что Герман действительно выполнит свое намерение, что выяснится ее еврейское происхождение и то, что папа — офицер Красной Армии.

У нее был уже готов план ухода в партизаны. Валя и Лена тоже ждали первой же возможности. Их отец был советским работником, известным в Белоруссии человеком. Не помню, в чем там заключалось дело, но почему-то у них были разные с отцом

фамилии: то ли детей записали на мать, то ли отец во время войны действовал под партийной кличкой. Тем не менее они постоянно боялись разоблачения.

Не знаю, почему тетя Нина с Геркой не ушли с нами. Мы с мамой по непонятной причине никогда этого не обсуждали. Знала ли тетя Нина, что мама связана с партизанами? Скорее всего, нет. Во всяком случае, особые разоблачения ей не грозили.

Подробности нашего бегства стали известны мне значительно позже. Многого узнала уже после Победы из рассказов мамы, Вали, Лени и людей из Жиличей, которые видели, как все происходило.

Леня постоянно ездил в построенный еще до войны ледник, в котором хранились продукты для немецкой кухни и который располагался на окраине усадьбы, недалеко от леса. Мама с Валей тоже частенько ездили с ним. При подготовке к побегу в конюшню к Лене загодя перетащили некоторые пожитки, в том числе зимнее вещи, в частности, мое пальто, которое мы с Геркой нашли в развалинах. Так что со стороны ничего нельзя было заподозрить. Леня, как обычно, подкатил на бричке к дому, якобы собираясь ехать к леднику. Мама вышла с каким-то тюком, они немного подождали Валу, девушка быстро вскочила в бричку, и они рванули к леднику и, соответственно, к лесу.

Тюк был набит вещами, которые мама сняла с вешалки перед входом в столовую, где немцы оставляли то, что создавало неудобства за обеденным столом — оружие, лишнюю одежду, планшеты и т.п. Все это, как потом оказалось, были очень ценные трофеи. Мама прихватила даже настенные часы.

Немцы, пообедав, спохватились не сразу, сели на мотоциклы и направились к лесу. Собственно говоря, это был небольшой лесок, за которым начиналась партизанская зона. Когда немцы подъехали, в леске прятались три партизана: дядя Шура, дядя Юра и дядя Паша. В партизанскую зону немцы просто так не совались и шли туда, когда проводилась крупная карательная операция и подтягивалась техника, полноценное вооружение, а не одни только автоматы. На этот раз они впопыхах не взяли даже пулемет, хотя он был в главном доме.

На подъезде к леску преследователей вдруг стало тошнить, они слезали или падали с мотоциклов, теряя сознание. Это начал действовать мышьяк, который мама бросила в компот, а Валя подала перед побегом. Когда немцы приблизились, партизаны, для порядка рассредоточившись, дали несколько очередей из автоматов и приготовились к встрече. Но немцы так и не появились. Те из них, кто мог двигаться, вернулись в поселок, а дяди Шура, Юра и Паша не стали ждать продолжения и помогать отравленным. Потом, правда, жалели, что не прихватили мотоцикл. О том, что не взяли немцев, не жалели — думали, что те уже трупы. Потом стало известно, что из всех отравленных умер только один, уехавший в командировку — Валя дала ему в дорогу бутерброды с мышьяком. Жиличские же немцы все выжили. Мышьяком маму снабдил комиссар из Бобруйска, но яд, видимо, оказался некачественным.

После нашего ухода в Жиличах поднялся страшный скандал. Немцы негодовали. Герман говорил: «Этих русских не понять. К Дусе так хорошо относились, а она оказалась отравительницей. Уйти с ребенком в партизаны при такой неплохой здесь жизни?!» Когда после расформирования отряда мы вернулись в Жиличи, то все, кто наблюдали мамино бегство, говорили: увидев Леню на бричке в неурочное время, они сразу поняли, что он направляется в лес. Но никто не выдал.

Меня заранее отправили в деревню. Я не могла простить маме, что она меня не предупредила, и все мои ценности (расческа, матерчатая куколка, которую подарила девочка из деревни, колечко, которое мы с Геркой нашли в траве у речки) остались в Жиличах. До сих пор помню, как огорчала потеря. В отряде это знали, и меня жалели. Приносили разные предметы, которые могли сойти за игрушки. Но все это было не то,

пока не сбили немецкий самолет-разведчик, отслеживающий партизан. Летел он низко, его сбили, расстреляв летчика, причем из винтовки (я знаю два таких случая, второй — не в нашем отряде). Самолет плавно сел на полянку, абсолютно целый. Парашютный шелк раздали женщинам из отряда. Мама сшила себе и мне что-то вроде кофточек. Мне достались какие-то головастые железки, отдаленно напоминавшие кукол, и галеты — видимо, из НЗ (неприкосновенного запаса) летчика.

Но вернемся к нашему уходу в отряд. Я гостила у деревенских подруг, когда мной пришли дяди Шура, Юра и Паша и отвели в другую деревню, где уже ждали мама, Валя и Лёня. Правда, я простудилась и заболела, а нам надо было добираться до отряда. Меня заставили выпить полстакана самогона, дали немного полежать на печке, затем закутали, положили в бричку, на которой приехали мама, Валя и Лёня, и мы всей компанией отправились в отряд.

Ощущения от самогонки, испытанные в тот раз и потом, когда приходилось лечиться этим зельем: все видишь, все понимаешь, но головы поднять не можешь, не в силах встать и, тем более, ходить и в результате быстро засыпаешь.

В партизанах

Наш отряд, когда мы с мамой оказались в нем в конце августа 1943 года, дислоцировался в достаточно глухом лесу и был хорошо обустроен. Землянки были небольшие. В нашей, женской, обитали человек шесть или восемь. У командира отряда имелась отдельная землянка, где с ним жили жена и сын, который был старше меня примерно на год. Этого мальчика вскоре отправили самолетом на Большую землю, и я осталась единственным в отряде ребенком.

Меня одиннадцать раз возили на аэродром, чтобы отправить на Большую землю. Но мне не везло. Самолет был маленький, летчик часто прилетал не один и мог дополнительно взять только одного человека, остальные места занимали немецкие документы, добытые партизанами, или другие ценные вещи. Одним человеком оказывался или тяжелораненый партизан или «язык», которого перевозили замотанным как кукла. Для меня места не оставалось. Обычно на аэродром вез меня кто-то из партизан. Посадочная полоса располагалась в лесу на довольно большой поляне. Мы приезжали заранее верхом на лошади (я сидела впереди, партизан меня к себе привязывал), ждали прилета самолета. Но каждый раз появлялся или раненый, или пленный, а как-то даже отправили несколько мешков каких-то чрезвычайно ценных немецких бумаг. Однажды меня уже почти погрузили в самолет — во всяком случае я стояла рядом с самолетом, но пришла команда отвезти меня в землянку. Там сидел человек, у которого отсутствовала челюсть, он был весь в крови, но почему-то не перевязан. Эта картина у меня до сих пор перед глазами. В результате на Большую землю отправили этого раненого, а не меня.

Так мне не везло или, наоборот, повезло, потому что мальчика, сына командира отряда, родители после освобождения долго искали по детским домам. По крайней мере еще в 1945 году он не был найден, а отправили его, как мне помнится, поздней осенью 1943 года.

Когда наш отряд передислоцировался или ходил на задания, меня оставляли в деревне в партизанской зоне, как правило, в самой многодетной семье. Как-то я заболела дизентерией, болела очень тяжело, причем это случилось в очень неблагоустроенном временном партизанском лагере. Меня отнесли в деревню, отряд же ушел на запад. Время от времени проводились подобные рейды в западном направлении. Мамы в таких случаях долго не было, я очень скучала.

Многочисленные дети семьи, где меня оставили (их было пять человек, самому

старшему — лет четырнадцать), жалели меня, старались развлечь, помогали ходить, потому что после болезни у меня совершенно не было сил, я выздоравливала очень медленно. И вдруг, как назло, в эту деревню пришли с облавой немцы.

Облавы в партизанской зоне — это совершенно особые и довольно страшные акции. Мне довелось побывать в них дважды. Тогда, после дизентерии, я попала в облаву впервые и без мамы.

Когда партизанское «радио» оповещало какую-либо деревню, что ожидается карательная операция, жители уходили в лес. Иногда немцы боялись их преследовать, поджигали дома, грабили, что удавалось, и уходили. Но иногда шли в лес цепью.

В лесной чаще у крестьян почти всегда были заготовлены курени из еловых веток, где люди прятались на время облав. В центре куреня горел костер, а вокруг на брошенных на землю ветках и каких-нибудь тряпках размещался народ. Не помню, сколько человек могло поместиться в такое укрытие — кажется, с десятков, может быть и больше. Иногда уход в лес спасал. Это случалось, когда немцы точно не знали, где у деревенских расположена запасная база. Но чаще немцы выбирали «правильный» лесной маршрут и догоняли крестьян, которые не могли быстро передвигаться с детьми и стариками.

Партизаны во временных лагерях тоже зачастую жили в куренях и летом, и зимой. Вши одолевали всех — и партизан, и селян. В курене с ними было удобно бороться — сняв одежду, держать ее над костром. Насекомые падали в огонь, раздавался тихий треск, звук которого я помню до сих пор. Победить вшей было невозможно, они никогда не исчезали, удавалось только уменьшить их количество огнем костра, а не то приходилось просто давить в швах одежды.

Итак, облава. Почти все жители оказались уже в лесу, и немцы в этот раз решились идти за ними. Многодетная семья, в которой жила я, потянулась в чащу одной из последних. На опушке леса я, слабая после болезни, отстала, и меня догнали немцы, прочесывающие лес, двигаясь шеренгой в метрах трех-пяти друг от друга. Один из них, высокий и здоровый, стал подгонять меня ногой под попу. Тащила я медленно, но всякий раз, как он подталкивал, я пробегала несколько шагов. Так мы с ним добрались до людей и куреней. Один из куреней горел. Я, видно, немцу настолько надоела, что он подхватил меня и хотел бросить в огонь. Женщины вокруг заплакали и закричали, а старший мальчик из семьи, в которой я жила, так испугался, что бросился бежать. Немец отбросил меня в сторону и выстрелил в мальчика, ранив его в ягодицу. Все бросились к мальчику, а я села у огня и сидела, пока меня не растормошили. Что было потом, помню плохо. Знаю только, что после облавы мы вернулись в деревню (к счастью, немцы ее не сожгли). Мама вскоре пришла за мной и увела в отряд.

Только сейчас, когда я вспоминаю эту ситуацию с костром и раненым мальчиком, думаю: какие благородные и чистые люди простые деревенские белорусы. Ни один человек из деревни меня не выдал, не сказал, что я партизанский ребенок, а ведь из-за меня оказался раненым мальчик, и все пережили ужас, когда немец в него целился.

О втором случае немецкой облавы я расскажу позже, иначе нарушится временная последовательность событий. Правда, рассказ и так постоянно прерывается разными отступлениями и пояснениями.

Немного о том, как мы жили в лесу. Когда предполагалось, что останемся надолго, лагерь как могли устраивали. Правда, отдельные землянки на несколько человек строить перестали. Сооружалась одна на целый взвод. В этот раз мы довольно долго находились в очень благоустроенном партизанском стойбище с большими — на двадцать-тридцать человек — землянками. В каждой с обеих сторон тянулись сплошные нары, но нам с мамой всегда устраивали отдельные небольшие нары возле

окошка. Такие же нары, но с другой стороны помещения, возле двери, занимал Кирдишкин. Это был партизан, бежавший из лагеря военнопленных. Кирдишкин был очень высокий, крупный мужчина. В немецком плену его сильно избивали, отбили легкие, и когда он кашлял, весь его организм напрягался так, что воздух выходил из всех возможных отверстий. В связи с этим народ быстро изменил две первые буквы в его фамилии на «Пе». Кирдишкин плохо говорил по-русски. Он, как мне помнится, был из Мордовии, там у него осталась большая многодетная семья, по которой он очень скучал. Меня он полюбил беззаветно и преданно. Когда наш лагерь бомбили, он хватал меня, засовывал в щель и закрывал своим телом, причем сам обычно в щель не помещался. Носил меня на руках, рассказывал на ломаном русском языке сказки: «Жил был царевна, красивый, но больной...» Дальше шла печальная история, которая всегда хорошо кончалась. На каждом новом месте Кирдишкин строил из деревьев и веток баню, топил снег для воды, велел маме меня мыть, чтобы осталось меньше вшей.

Кирдишкин отвечал за лошадей, которых использовали и для еды. Зимой 1944 года отряд шел на соединение с Красной Армией, оказавшееся неудачным. Пришлось в прямом смысле бежать из немецкого окружения в незнакомом лесу по довольно глубокому снегу. Нельзя было шуметь, курить и разговаривать, а на еду остался один жеребец. Кирдишкин, чтобы не напрягаться и меньше кашлять, пытался взгромоздиться на него верхом, но у жеребца подкашивались ноги. Несмотря на трагизм момента, партизаны не могли не хохотать и долго потом описывали эту картинку всем, кто не был ее свидетелем.

Врезалась мне в память история с предателем, раскрывшаяся совершенно случайно. В нашем отряде партизанил бывший советский военный, попавший в плен, где его завербовали немцы и направили в немецкую разведшколу, после окончания которой забросили к партизанам. Он на все соглашался, лишь бы попасть к своим. И действительно, оказавшись в отряде, честно обо всем рассказал. В числе прочего сообщил, что диверсантов в школе готовили парами. Из всех тех, кто там обучался, он знал только своего напарника. Остальных ни разу даже в глаза не видел. Знал он также, что напарника тоже готовили для заброски к белорусским партизанам. Задания у них были схожими — деморализовать бойцов, отравить руководство отряда, а лучше бригады, взять на себя командование и вывести партизан к немцам.

В это время проходил очередной сбор бригады. Не помню по какому случаю, но знаю, что это мог быть какой-нибудь праздник — годовщина Октябрьской революции, день Красной Армии или какое-нибудь местное событие, смотр боевых порядков... Одним словом, нечто чрезвычайное, когда все отряды бригады собирались в одном месте и устраивали что-то вроде парада. Отряды повзводно проходили маршевым строем. Те, кто прошли, могли наблюдать за теми, кто проходил после них. Наш открывшийся «шпион» увидел среди марширующих партизан другого отряда своего напарника. За предателем начали следить. Его изобличили и на расстрел почему-то привели в наш отряд.

Как и кто рыл яму, я не видела, но помню, как предатель стоял перед ямой в одних кальсонах, а одежда была аккуратно сложена кучкой и лежала в отдалении вместе с довольно новыми сапогами со стоящими голенищами — они меня особенно поразили. Он вдруг упал на колени и стал кричать. Все, кто собрался вокруг, стали расходиться. Остались только те, кто расстреливал. Потом рассказывали, что предатель никого не успел отравить, потому что закопал яд, а его отряд неожиданно сменил место дислокации, и ему не удалось добраться до своего тайника. Но его все равно расстреляли и довольно долго у нас вспоминали, поскольку сапоги оказались в пору командиру.

Вернусь к нашей многочисленной землянке. В спокойные моменты укладывались

рано, свет шел только от печки. Спать еще не хотелось, и мама пересказывала партизанам русскую классику. Запомнился мне роман «Анна Каренина»; который потом, когда мама закончила его пересказывать, народ долго обсуждал Анну, Каренина и Вронского. Мама читала и стихи. Она любила поэзию, много знала наизусть. Есенина, конечно, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока... Я многие стихи запомнила именно тогда в мамином исполнении. Особенно все любили «Мцыри» и «Мороз, Красный нос», часто просили маму их повторить. Все лежат и слушают, а мама сидит и громко рассказывает, чтобы было слышно всей землянке. Почему-то теперь, когда я это вспоминаю, у меня на глаза наворачиваются слезы. Потом расскажу, как знание наизусть поэм «Мцыри» и «Мороз, Красный нос» меня однажды выручило уже в Москве в конце войны.

В этом лагере мы жили довольно долго. Землянка была очень удобной, длинной, не глубокой и не сырой. Я любила сидеть на наших с мамой нарах возле окошка и играть в свои игрушки. Все было хорошо. Вдруг прилетел немецкий самолет и стал бомбить. Бомба попала в дальний конец землянки и не взорвалась. Полетели осколки, щепки. Я осталась цела, но меня ранило. Как потом выяснилось, в ступню между третьим и четвертым пальцами. Почему-то было очень много крови, я кричала и плакала, хваталась за ногу. Короче говоря, когда меня из землянки вынули, я была в крови с ног до головы, но не могла ничего толком объяснить, где и что болит. Все очень напугались. Была зима. Меня оттерли снегом, и когда мама увидела мою рану и поняла, что кость не задета, а я продолжала плакать, она грозно сказала: «Перестань, ничего страшного не случилось. Игрушки целы!» Меня это успокоило, а шрам на ноге заметен до сих пор.

Мама была поварихой. В партизанской книжке, полученной после того, как мы оказались на Большой земле, записано, что она «участвовала в партизанском движении в Белоруссии в период Великой Отечественной войны в качестве рядового партизана в партизанском отряде № 257 Военно-оперативной группы при Рогачевском подпольном РК КП(б)Б». Я находилась при маме, следовательно, при кухне. Была выделена специальная телега, зимой — сани для перевозки кухонной утвари и продуктов. В эту телегу среди котлов, кастрюль и мешков засовывали меня, закутанную во все, что было под рукой. Иногда я полусидела, но чаще полулежала, причем тихо-тихо, ничего никогда не просила, ни на что никогда не жаловалась.

Зачастую приходилось, перемещаясь на новое место дислокации, пересекать дорогу, иногда это было шоссе, но чаще грунтовка, и наши пути перекрещивались с немецкими. Впереди отряда шли наши разведчики, которые регулировали передвижение. Мы останавливались и давали пройти или проехать немцам, причем зачастую сквозь лес видели их на дороге. Затем быстро перебежали дорогу, углублялись в заросли и там ждали следующую часть отряда. Говорили, что немцы делают то же самое, поскольку ни им, ни нам в данный момент не было резона вступать в бой. Я это хорошо помню, потому что меня вынимали из повозки, и мы с мамой за руку перебежали дорогу. А потом меня опять паковали в повозку. Зачем вынимали, я понять не могла, а спросить боялась. Думала, мама рассердится и скажет: «Неужели не понимаешь?» Так иногда бывало, когда я задавала глупые вопросы, будучи уже вполне большой, но несообразительной.

Моя несообразительность служила для бойцов развлечением. Хваля меня за то, что я хорошая девочка, они иногда веселились, давая мне различные задания. Обычно это происходило не на марше, а в лагере. Я уже была семилетней девицей, но настолько темной, что не понимала, как определять время. Вообще-то часов у народа было мало, чаще всего они были трофейными — снятыми с мертвых или пленных немцев. В землянке у командира имелись часы — те самые, что мама прихватила в Жиличах вместе с немецким оружием, планшетами и прочим.

Так вот, одна из любимых забав партизан была связана с часами. Один посылал меня узнать время у другого, тот сообщал, и я возвращалась, твердя: «Два часа десять минут» — но в это время меня окликал третий, я мгновенно забывала, который час, и бежала снова узнавать. Так продолжалось до тех пор, пока тот, у кого я спрашивала, не научил меня самостоятельно определять и запоминать время на его часах.

Я здорово подросла, и пальто из развалин стало мне впору. На ногах были лапти. В нашем отряде один дядя их хорошо умел плести. Поверх лаптей зимой надевались чуни. Вырезался овальный кусок коровьей или лошадиной шкуры по размеру ноги, по краям овала делались дырочки и продевалась веревка или жгут из той же шкуры. Все это надевалось поверх лаптей и завязывалось. Было тепло и удобно.

Однако вернемся к основному повествованию.

Чаще всего, когда отряд совершал марши или участвовал в операциях, меня оставляли в какой-нибудь деревне в партизанской зоне, и я целыми днями сидела у окна, смотрела на лес и ждала маму. Иногда мамы не было подолгу, партизаны совершали длительные рейды, участвуя в различных операциях¹.

Однажды, это было уже весной 1944 года, вижу, по тропинке из леса идет мама. Я бросаюсь ей навстречу. Меня распирает счастье, мама говорит, что мы пробудем пару дней в деревне, а потом пойдем в отряд, здесь неподалеку. Но к вечеру у мамы заболел правый бок, она подумала, что это аппендицит. Боли были довольно сильные и никак не проходили. Наутро разнеслась весть, что предстоит немецкая облава, все устремились в лес, и мы с мамой тоже. Но быстро идти она не могла, да и лес был сложный, болотистый и в завалах.

Я уже упоминала, что немцы при облаве шли цепью-шеренгой, но на сей раз они еще и вели с собой собак. Сложный лес ломал шеренгу, а собакам мешали болотца. Мама идти уже не могла. Мы остановились у островка, на котором образовался завал валежника, перелезли через огромное дерево без коры и спрятались за ним. Мама сбросила немецкий китель, в котором ходила, и осталась в той самой блузке, сшитой из немецкого парашютного шелка. Мы лежали очень тихо, прикрывшись ветками, на которых почти не осталось листьев. Я дышала себе в ладонь, уткнувшись в мамино плечо. Мне казалось, что ладонь пахнет щами.

Немцы приближались, собаки лаяли и рвались. Их держали на поводке. Один из солдат, без собаки, пытаясь обойти болотце, хотел вскочить на толстенный голый ствол, за которым мы укрылись, и пройти по нему, но не сумел удержаться и соскользнул. Мы видели его грудь с красной ленточкой на кителе возле пуговицы. (Ленточка означала, что он имел награду. Кажется, это мог быть какой-то их крест. Точно не помню.) Немцы прошли очень быстро, но мы еще долго лежали, не шевелясь. Ждали вторую цепь (иногда немцы шли несколькими цепями). Но ее не было. Мама снова надела немецкий китель, приступ аппендицита, случившийся,

¹ Я искала в Интернете какую-либо информацию о нашем отряде. Нашла только одну заметку, привожу ее целиком: «27 июня 1944 г. из-под Могилева отходили потрепанные части 14 немецкой пехотной дивизии. Дорогу им между деревнями Гоенка и Козел преградили партизаны 257-го отряда Рогачевской ВОГ (Временная оперативная группа). Подпустив колонну противника на 100-150 метров, они открыли ружейно-пулеметный и минометный огонь. В этом бою партизаны уничтожили около двух рот пехоты, взвод кавалерии, 65 повозок, сожгли 8 и вывели из строя 18 автомашин. Гитлеровцы вынуждены были отказаться от этого маршрута, отошли на открытую местность, где попали под удар наших летчиков. В результате упорных и слаженных действий партизан две дивизии вермахта были задержаны на целые сутки. На следующий день подоспели гвардейцы 2-го Тацинского танкового корпуса и совместно с партизанами полностью уничтожили остатки вражеских соединений». См. Хроника освобождения Беларуси: 27 июня 1944 года. www.belta.by/ru/all_news/society/Xronika-osvobozhdenija-Belar...

вероятно, на нервной почве, закончился, и мы стали выбираться из своей норы. Решили возвращаться к деревне. Стемнело. Пройдя немного, увидели горящий костер и возле него живую лошадь. Переночевали у костра вместе с лошадью. Утром мама взяла ее под уздцы и сказала, что пойдем не в деревню, а сразу в отряд. Как мы туда добрались, я не помню. Аппендикс маме вырезали уже в Москве, то есть примерно в ноябре 1944 года.

Для меня всегда оставалось и остается загадкой, как она ориентировалась в лесу. Несмотря на эту ее способность, однажды мы оказались в сложном положении, и я видела, что мама испугалась. Я, как обычно, полулежала в повозке, но у меня заболел живот и расстроился желудок. Я запросилась под кустик. Меня вынули, мы с мамой остановились, не углубляясь в чащу, а отряд продолжал путь. Но приступ у меня никак не заканчивался. Несколько раз думали, что все в порядке, и бежали догонять своих. Но все начиналось снова, мы все больше и больше отставали. Наконец уже не стало видно замыкающих, а мой приступ все продолжался. Мама нервничала и говорила, что не знает направления конечного пункта, и мы можем остаться в лесу совсем одни. Наконец все прекратилось, и мы побежали по едва видной дороге. Бежали довольно долго, но своих не догнали. И вдруг случилось то, что часто бывало с нами во время войны. Нас нагнали два парня из нашего отряда на лошадях — арьергард, в функции которого, кроме разведки, входило задание проследить, чтобы никто не отстал.

Партизаны посадили нас верхом позади себя. Ехали они без седел, и приходилось изо всех сил держаться за ремень, за куртку, за все, за что можно было ухватиться. Маме было проще, она могла обхватить партизана руками, а я держалась неизвестно как. Мы рысью, а временами и галопом догнали колонну. Нас, конечно, хватились, но останавливаться было нельзя, отряд находился вне партизанской зоны. Надеялись на то, что сзади есть подстраховка, и ждали, что мы рано или поздно появимся. Как оно и произошло. После этого, когда отряду предстояла передислокация, а я была в отряде, меня, смеясь, спрашивали: «Как дела? Маму не подведешь?» Я сильно смущалась.

Снова Жиличи

Близилось завершение освобождения Белоруссии от немцев. Фронт приближался. Ранней весной 1944 года в отряд стали наведываться офицеры Красной Армии, которые должны были помочь нам выйти к своим. Помню, когда появился самый первый из них, капитан с погонами. Его все хотели обнять, пожать руку, убедиться, что он настоящий, живой. В первый момент, чтобы его все видели, он встал на спину коня, на котором приехал. В отряде царил невероятное ликование.

Мы уже знали, что в нашей армии ввели погоны, но было странно их видеть. Петлицы казались привычнее, тем более, что погоны были у немцев. По крайней мере, в моем представлении что-то не вязалось. Немцы часто разбрасывали над лесом листовки. Их собирали и использовали для разных нужд — на курево, для растопки и т.п. Одну помню очень хорошо. Листовка такая: русский солдат, курносый, в гимнастерке, и ему лохматый Сталин с торчащими усами и со зверским выражением лица вбивает огромной кувалдой в погон на плече большой гвоздь.

Выводить нас к своим приехали капитан и лейтенант. К нашему отряду присоединились другие, образовав бригадную колонну, и ранним утром 1 июля 1944 года она достигла цели. Был яркий солнечный день. Меня на радостях партизаны вынули из подводы с кухонной утварью и стали подбрасывать вверх с криками: «Ура!» Мама отнимала, боялась, что уронят. Вдруг послышался гул самолета. Все по привычке кинулись от дороги в колоссящуюся вокруг рожь. Капитан и лейтенант на лошадях остались одни на дороге. Кто-то из них крикнул: «Товарищи, это наш самолет, он вас

приветствует!» И мы увидели, что самолет качает крыльями. Всем сделалось неловко, но очень радостно. Начали шутить и смеяться.

Колонна добралась до Бобруйска, где наша партизанская бригада и, соответственно, отряды были расформированы. Нас распустили, что называется, по домам, а военнообязанных отправили на фронт, причем без какой-либо подготовки. Дядя Шура, дядя Юра и дядя Паша очень скоро погибли. Об этом маме написал один из партизан, который ушел в армию вместе с ними. Мама плакала и говорила, что нельзя было их сразу посылать на фронт, потому что они привыкли к другой войне, им нужно было подготовиться к регулярной армии, привыкнуть к ней.

Валя и Леня нашли своего отца. Валя стала учиться в педагогическом институте в Минске. Леню взяли работать в милицию. Он вскоре погиб на каком-то задании.

После расформирования партизанского отряда мы с мамой вернулись в Жиличи. Других вариантов не было, в том числе и из-за военного режима, да и потому, что мы не знали, где наши родные. У нас ничего не было: ни документов, кроме партизанской справки, ни денег. Надо было осмотреться.

В Жиличах нас многие знали, и мы решили, что там можно устроиться, по крайней мере, на время, пока не найдем своих. Мама в 1933 году закончила химико-биологический факультет Гомельского педагогического института и, хотя у нее на руках диплома не было, она стала работать в жиличской школе учительницей, готовиться к новому 1944 учебному году.

Тети Нины с Геркой в Жиличах не оказалось, немцы, отступая, угнали их с собой. Ходили слухи, что они сумели остаться на границе и там их нашел муж тети Нины и отец Герки. Но мы о них так ничего и не узнали.

Мама стала обучать меня грамоте, вырезала буквы. Но мне занятия не нравились, я хотела бегать с ребятами, купаться в речке и чувствовать себя совершенно свободно без немцев, без бомбежек и обстрелов, без строгого послушания, как это было в партизанах. Нам, детям, выдавали разные вещи из одежды, мы ходили в специальную комнату их получать. Помню, мне достались носочки и чулки. Носочки произвели сильнейшее впечатление. Но обуви, кроме лаптей, не было, поэтому носочки я надевала, только сидя на кровати и спуская ноги, но не наступая на пол. В лаптях ноги обматывали тряпками-портянками.

У нас с мамой была отдельная комната. Во время оккупации в доме, в котором мы обосновались после освобождения, жили власовцы. В нашей комнате помещались кровать и стол. Мы спали и сидели на кровати, а на столе лежали пресловутые буквы и мамины бумаги. Как мы питались, не помню. Запомнилось только, что выдавали хлеб, и я бегала получать паяк, а по дороге прятала его в одежду и полоскалась в речке до мурашек и посинения. Вся компания, с которой я водилась, занималась тем же. Любимым нашим занятием было копаться в развалинах запретного при немцах дворца Булгаков. Не помню, чтобы кто-то нашел там что-либо, заслуживающее внимания.

Поля были засеяны еще при немцах, вокруг поселка колосились какие-то зерновые. Однажды по дороге в лес за ягодами мы увидели труп немца, он был полуразложившийся, дурно пахнущий. Тело вздулось и лезло из всех щелей, из застёжек кителя, из рукавов, воротника и лопнувших сапог.

Еще раньше, когда наша партизанская бригада, выйдя из леса, двигалась колонной по шоссе, трупы на обочинах дороги встречались постоянно. Всякий, кто отлучался в поле, обязательно находил немецкий труп. Найденные тела подтаскивали к дороге, а похоронная команда копала ямы и хоронила их. Был июль месяц, стояла жара. Солнце палило вовсю. Когда трупов оказывалось много, колонна останавливалась, и партизанам приходилось копать большую яму. Чтобы не замедлять движение, командиры оставили небольшую группу, которая специально занималась убитыми немцами, а колонна двинулась дальше до Бобруйска.

Когда в Жиличах мы с ребятами наткнулись на убитого, я, как опытный человек,

сказала, что надо найти веревку и тащить труп на видное место. Нас было человек пять, кто-то побежал на конюшню добывать веревку, остальные, в том числе я, остались караулить. Мы привязали к ногам немца веревку и стали его тащить. Он оказался очень тяжелый, мы протащили совсем немного и решили позвать взрослых. Пришли с конюшни дяденьки и потащили немца к леску, где была яма, и туда немца сбросили. Нам велели, если еще найдем «такое», самим не трогать, а сразу звать взрослых. Мы рьяно взялись прочесывать местность, но больше никого не нашли.

Жизнь казалась прекрасной, война была далеко, не надо было никого бояться, можно было даже не всегда слушаться маму. Наступил август. И тут совершенно неожиданно для нас приехал мамин старший брат, дядя Миша. До войны он с семьей жил в Пинске. В отличие от нас они успели эвакуироваться и поселились в Ульяновске, где дядя стал работать на каком-то оборонном заводе. Когда освободили Белоруссию, ему дали отпуск, и он поехал в Старобин и Слуцк искать дедушку с бабушкой и Симу. Он надеялся, что и мы с мамой тоже где-то там.

В Слуцке ему рассказали, что дедушка с бабушкой и Сима погибли, и дали мамин письма. Он, недолго думая, приехал в Жиличи. Мама в это время чем-то занималась возле школы. Вдруг бегут мальчишки и кричат: «Тетя Дуся, ваш дядя приехал!» Мама, не зная, кто это, упала в обморок. Мама с дядей Мишей не могли наговориться, она рассказывала ему наши злоключения, он слушал и плакал. Меня это поразило. Я за всю жизнь не видела, чтобы дяди так плакали. Вообще-то плачущих видела много.

В нашей крохотной комнате нелегко было разместиться на ночь. Кровать-то одна. Оставалось место на столе или под столом, на полу. Дядя Миша сказал, что ляжет на столе, а мы с мамой на кровати. Помню, мне это казалось неправильным. Он нас нашел, он гость, а мы привыкли спать где угодно.

Дядя Миша решил отвезти меня в Ульяновск, чтобы я могла начать учиться в нормальных условиях. Детей можно было перевозить без пропусков, маме же, чтобы выехать куда-либо, нужно было оформить вызов и пропуск. Дядя Миша сказал, что папа в Москве, лежит в госпитале. Он ранен. В Москве же живет и работает одна из маминых сестер, тетя Ася.

Мы с дядей Мишей отправились в Минск, чтобы ехать в Москву. Район минского вокзала был весь в развалинах, но поезда ходили исправно. Среди развалин стояли какие-то лавки, на них сидели люди. У меня, кроме лаптей, обуви не было, и мама срочно сшила тапочки — верх из сукна немецкого кителя, который она носила, а низ из резиновых пластинок, не помню откуда взявшихся. Дядя сказал, что надо добраться до Москвы, а там с обувью что-нибудь придумаем. На лавке напротив нас сидели две молодые женщины. Глядя на мою обувь, они стали смеяться. Я зашептала дяде, что они, видно, фашисты, раз насмеются над тапочками, которые мне самой очень нравились. Дядя Миша им что-то сказал, они отвернулись и больше не смеялись. Вдоль всей железной дороги почти до самой Москвы, но больше всего возле Минска, лежала разбитая техника. Огромные груды искореженного металла пугали, особенно если смотреть в окно поезда ночью.

Москва

В Москве, помню, мы ехали в метро. Поезд шел под землей, но было светло, красиво, чисто, тетеньки в красных шапочках с семафорами в руках кричат, отправляя поезд: «Готов!» Мне это очень понравилось. Но самое большое диво ждало впереди. Родственники, к которым мы ехали, жили на Арбате, в Скатертном переулке. В доме на углу, мимо которого мы шли, я увидела в витрине магазина трех гуттаперчевых

поросят и буквально остолбенела от восторга. Они стояли рядом на задних лапках и держали поднос. Не помню, что было на подносе. Но от поросят я не могла оторвать глаз, отказывалась идти дальше, хотела стоять и ими любоваться. Дядя еле-еле уговорил меня, пообещав обязательно прийти сюда снова. Поросята стояли в витрине долго, и мы любовались ими, когда уже жили в Москве и ходили в гости к родным на Арбат. По крайней мере, любовалась я.

Родственники жили в большой коммунальной квартире. Смотреть на меня сбежались все соседи, что-то спрашивали, я испуганно молчала, даже заплакала, все стали меня успокаивать, говорить, что скоро придет мой папа. Действительно, пришел высокий военный, в погонах, с палочкой. Прижал меня к себе, но я выворачивалась. Он достал фотографию, стал мне показывать и спрашивать, кого я на ней узнаю. На фотографии были мама, дяденька с петлицами и толстощекий ребенок в белом вязаном капоре. Он мне стал объяснять, что это я маленькая, что фотографировались мы до войны. Я заученно говорила: «Папа был железнодорожник, высунул голову из паровоза, ее отрезало, и голова покатилась». Переубедить меня было невозможно, тем более, что когда меня начинали расспрашивать о чем-либо, я повторяла привычное: «Спросите у мамы». Все присутствующие плакали. Дядя Миша все время уговаривал: «Я же тебе говорил, что мы едем к папе. Это твой папа». Но я твердила свое.

Мы в Москве задержались на несколько дней, папа приходил каждый день, рассказывал, что было до войны, вспоминал нашу жизнь в Гомеле и Полтаве, меня уговаривал. Я не поддавалась. Правда, когда он стал говорить о нашей квартире в Полтаве, я вспомнила расположение всех комнат, а также то, что там была большая книга с яркими картинками о врагах советской власти. Но все равно не сдавалась. В последний день пришел папа и принес мне ботинки и сиреневое платьице из парашютного шелка, у воротничка которого были пуговицы в форме стеклянных маленьких мишек. Меня эти мишки настолько пленили, что я сказала: «Ладно, пусть вы будете моим папой».

Мы с дядей Мишей поехали в Ульяновск, где меня записали в школу. В школе мне не понравилось, девочки на переменках играли в классики, прыгали через веревочку. Я ни того, ни другого не умела. Сидела у стенки на корточках, скучала по маме. На уроках соображала плохо. Мне все не нравилось. Вскоре я заразилась корью, болела долго, почти до приезда мамы...

В Москву мы с мамой приехали к началу второй четверти в школе. Поселились на Красной Пресне. Сняли комнату у Нины Георгиевны, которая в свое время окончила институт благородных девиц и была недовольна всем ныне происходящим в стране. Папа над ней подтрунивал. После кори у меня было осложнение на «среднее ухо», я плохо слышала. В школе, куда меня определили, мне тоже все не нравилось. Я была рослая девочка, и меня посадили одну на последнюю парту в среднем ряду. Что делалось у доски и что говорила учительница, я не слышала. Сидела себе безучастно, ни во что не вникая. Надо сказать, что и меня не трогали.

Мне купили новое пальто, но по дороге в школу мальчишки-хулиганы сзади его порезали, мама зашила дырку. Но мне было очень обидно. Я не могла понять, за что они это сделали и, вообще, почему это случилось и что происходит вокруг, почему *наши* так поступают.

Папа был командиром воинской части под Москвой в Реутове. Мама занималась восстановлением и оформлением документов, в частности паспорта, который она при немцах сожгла. Процедура была довольно продолжительной, но закончилась хорошо. Как ни странно, архивы сохранились, в том числе и гомельские. Мне выправили метрику, мама получила паспорт и институтский диплом, точнее его копию, а мамина сокурсница прислала ей фотографию институтского выпуска.

Сразу после наступления нового 1945 года папе дали отдельную квартиру, и мы переехали на нынешнюю Болотную площадь, напротив Кремля и возле большого серого дома, который называли Домом правительства (после романа Юрия Трифонова он стал именоваться «Домом на набережной») и в котором находился кинотеатр «Ударник». Наш трехэтажный дом, из которого в 1990-е годы всех выселили, до сих пор стоит окнами на сквер.

Мама хотела записать меня в ближайшую школу № 19 на Софийской набережной. Однако в предыдущей школе на Красной Пресне мне выдали документ с одними двойками, так что в эту школу, где учились дети из Дома правительства, меня брать не хотели. Речь шла даже о том, что меня надо определить в спецшколу для отстающих детей. Тогда папа, подполковник, надел парадный китель с орденами и пошел за меня хлопотать прямо в кабинет директора. Я ждала в коридоре. Меня позвали. Там сидели две женщины, они задавали мне вопросы, но я молчала как настоящий партизан. На вопросы отвечал папа. Потом пришла третья тетя и спросила меня, знаю ли я какой-нибудь стишок. И вдруг неожиданно для всех, в том числе и для папы, я начала произносить: «Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал, ребенка пленного он вез, тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести...» Дойдя слов: «Я никому не мог сказать священных слов "отец и мать"», я всхлипнула, как это всегда случалось, когда я слушала маму в землянке. Тут меня остановили и спросили, знаю ли я что-нибудь еще. Я начала: «Савраска увяз в половине сугроба, две пары промерзлых лаптей да угол рогожей покрытого гроба торчат из убогих дровней...» С особой печалью я произносила: «И ты красотою дивила, была и ловка и стройна, но горе тебя иссушило, уснувшего Прокла жена...»

Проблема была решена, в школу меня взяли, причем в класс Марии Артемовны, той самой учительницы, которая спросила, знаю ли я стишок. Как-то быстро я научилась писать, понимать, чего от меня хотят и что надо делать. Мария Артемовна уделяла мне много внимания. Со мной занимался папа, когда у него находилось время. Вскоре я стала такой же, как все девочки в классе, научилась разным способам прыгать через веревочку, играть в классики и мячиком об стену, подружилась с Ритой, с которой мы дружим вот уже более семидесяти лет.

Однажды на перемене случилась неприятность. Все знали, что я была в партизанах, хотя я сама не любила об этом говорить. Одна девочка из нашего класса сказала, что партизаны были очень плохими людьми, отнимали продукты у местных жителей, а сами только и знали, что прятались по лесам от немцев. Я такую несправедливость стерпеть не могла и девочку, ее звали Нина Наумова, ударила. Я знала, как партизаны охотились за немецкими продуктовыми обозами, как ночью пробирались к буртам, где немцы хранили картофель и овощи, как на длительных стоянках держали свиней, как ели сырую конину, когда выходили из окружения, как выстраивался взвод и каждому насыпали в тряпочку соль, когда ее удавалось раздобыть. Я видела, как мама плакала, когда не из чего было готовить и кормить партизан. Мама была поварихой, а я крутилась при кухне и про партизанскую еду все знала очень хорошо.

Партизаны часто оставляли меня в какой-нибудь деревне, меня охотно брали в многодетные семьи, но я никогда не слышала никаких упреков в адрес партизан. Все было как раз наоборот, люди старались отдать партизанам, что могли, да и партизаны делились, если что-то добывали или, действительно, что-то отнимали у немцев, предателей и полицаев. Теперь я думаю, что если бы партизаны мародерствовали, то партизанское движение в принципе не могло состояться. Полицаи и немцы действительно, мародерствовали и жестоко расправлялись с людьми, особенно в партизанских зонах.

Мария Артемовна мне объяснила, что драться нельзя ни при каких обстоятель-

ствах, особенно девочке, а надо убеждать, объясняя то, что знаешь, словами, находить доказательства. С Нинкой я потом не разговаривала до окончания седьмого класса, а в восьмой класс учиться она не пошла. Инцидент как-то замяли. Даже родителей не вызывали.

Нам в школе давали завтрак — половинку розовой пастилы и четверть бублика. Из окна школы был виден Кремлевский дворец, а на нем часы, глядя на которые уже в старших классах, мы ждали конца урока. Знакомые дали мне напрокат маленький аккордеон. У Риты тоже был аккордеон, и мы учились музыке. Музыкальный кружок вел дальний родственник знаменитого музыканта Пятигорского.

Наша квартира в центре Москвы стала местом, где бывали и жили все, кто оказывался в Москве проездом, в командировке, в гостях, причем не только во время, но и после войны. Родственники и знакомые приезжали, жили у нас, рассказывали свои истории. Я очень любила их слушать.

Хорошо помню парад Победы 1945 года. Из Спасских ворот на серо-белом коне выехал маршал Жуков, по-моему, позади него ехал еще один всадник и тоже на светлом коне. Жуков направился в центр площади, мы видели его сначала сбоку, а потом со спины. Командовал парадом Рокоссовский. Они вдвоем объезжали и приветствовали войска. Нам были видны те немногие колонны, которые располагались недалеко от храма Василия Блаженного. С площади раздавались громкие крики «Ура!», а потом пошли парадные колонны, только на мосту и на набережной, по которым они расходились с Васильевского спуска, замедляя и расслабляя шаг. В этот день лил дождь, но он никому не мешал ликовать! Наши родители и мы, дети, чувствовали невероятный подъем и радость. Победа была за нами!

В последующие годы на Болотной площади, когда она была еще Лабазной, в 1947 году к 800-летию Москвы был разбит сквер, а потом она стала называться площадью Репина после установки на ней памятника художнику Илье Репину в 1958 году напротив (через канал) Лаврушинского переулка, где находится Третьяковская галерея. Еще со времен войны в нашем сквере размещались орудийные расчеты, салютовавшие нашим победам. В середине 1960-х годов мой семилетний сын-хулиганчик и его приятели в дни салютов собирали в сквере неразорвавшиеся капсулы и поджигали их, пугая дворников.

В 1948 году я закончила четвертый класс с похвальной грамотой, папа был этим очень доволен. Меня в это лето отправили к папиной сестре тете Зине в Графскую, под Воронежем. 19 июля я проснулась рано утром и стала плакать, плакала так безутешно, что никто и ничто не могло меня успокоить, а в двенадцать часов дня принесли телеграмму: умер папа и меня надо отправить в Москву. Дядя Вася, муж тети Зины, посадил меня в поезд, договорившись с проводницей. Мама меня встречала, но оступилась и упала между платформой и вагоном, сильно ушиблась. Она была совершенно потеряна, не плакала, а только прижимала меня к себе.

Папа умер в военном госпитале им. Бурденко, похоронили его на Введенском (Немецком) кладбище, что рядом с госпиталем. Мама говорила: перед смертью он радовался, что я стала нормальным и даже хорошим ребенком и что из меня, скорее всего, будет толк.

Так закончилось мое детство.

Сухбат Афлатуни

Колыбельная явь

Ночь

Ночь, подобно королеве,
в город медленно вошла.
Фунт вишнёвой карамели
у заката заняла.

У луны глазурь на пряник
отщипнула по бокам.
Чтоб вскипел скорее чайник —
ставит чайник на вулкан.

Три звезды сложила в ступке
и на сахар истолкла.
В одиночестве и скуке
королевский чай пила.

Где льстецы и краснобаи,
камергеры и гонцы?

Лишь последнего трамвая
шутовские бубенцы...

Деревья

Вот ясень.
Ясень — ясен.
«Я — сень!» — шумит, смеясь.

А вяз —
слегка развязан:
он — Вяземский,
он — князь!

Колыбельная

Спи, глазок. Спи, другой.
Спи, язык-язычок.
Спи, ладонь под щекой,
Сжатая в кулачок.
Спи, пятак в кулачке,
Карамель за щекой.
Спи, слеза на щеке.
Спи, свеча над слезой.

Не гляди вполглазка
На свечу и кровать.
Не пытайся сверчка
В темноте отыскать.
Спи, глазок, не лукавь,
Ведь тебе не ясна
Колыбельная явь,
Колыбельщик без сна...

Ярмарка

Этот город спрятан
под ветвями яблонь.

Вскочив на лошадь в яблоко,
над ним лечу, как облако:
с ярмарки на ярмарку —
до полного обморока!

Ярмарки, качели,
весь народ — в харчевне:
на шампуре яркие —
не ломтики баранины —
а жареные яблоки:
ам! и — до свидания.

Но проходит август,
исчезает радость.

Я яблочную лошадь
освобожу от ноши
и привяжу снаружи
под грушевой веткой,
чтоб стала лошадь в грушу
к следующему лету.

Андрей Аствацатуров

Крапива

В детстве все вокруг мне виделось опасным и вражеским. И если не вражеским, то чужим и совершенно непонятным. Помню, когда мне исполнилось шесть лет, меня привезли на дачу в Комарово. Там оказалось очень скучно. Детей вокруг не было, и играть было не с кем. Дома мне сидеть не разрешали. Говорили, чтобы я не болтался под ногами, а шел на улицу дышать свежим воздухом. Я выходил в сад из дома, и вокруг меня сразу же начинали звенеть комары. Словно предостерегали, что здесь опасно. И если я не уходил, то принимались больно кусаться.

В саду я сразу начинал с опаской озираясь. Больше всего меня пугали огромные толстые сосны, торчавшие повсюду прямиком в пустое небо. Часто поднимался ветер, и они всегда начинали угрожающе раскачиваться и скрипеть так громко, что казалось прямо сейчас переломятся. Вдобавок из их стволов торчали заостренные сучья, напоминавшие хищные клыки, готовые загрызть. А снизу, у самого основания, из земли пробивались корни, похожие на щупальца какого-то мерзкого чудовища, которому вздумалось выбраться из подземного царства и кого-нибудь сцапать.

Все остальное, что мне встречалось в саду, тоже ничуть не утешало. В дальнем углу, у забора был врыт в землю одноногий стол. Мама говорила, что он синего цвета, но, по-моему, он был скорее цвета бурого или черного, что придавало ему сходство со старым червивым подберезовиком. Стол был почти мягким на ощупь, крошился под руками и оседал вбок. По его поверхности туда-сюда сновали красные муравьи. Рядом со столом почему-то находились чернеющие финские сани с порывевшими полозьями. Они тоже казались мягкими и тоже крошились, наверное, потому что все время стояли под открытым небом.

Я в какой-то момент заметил, что на даче и вокруг нее все становилось мягким, кривым, кривляющимся. Даже шербатый забор, от которого одна за другой отваливались доски. Они бессильно падали в канаву, а обратно на место их никто не возвращал, отчего забор сделался дырявым, похожим на рот моего друга Саши из старшей группы детского сада.

В другую часть сада, ту, что смотрела на север и где росли клубника и смородина, я ходить не любил. Вдоль клубничных грядок шли канавки, всегда заполненные водой, так что к ягодам нельзя было подобраться, не замочив ноги. А кусты смородины затянулись плотной седой паутиной, в которой копошились жирные короткие черви. Мама говорила мне, что смородина болеет и вылечить ее нельзя.

Еще на нашем участке росло очень много крапивы. Помню, брат однажды подвел меня к маленьким худым зеленым елочкам, объявил, что они называются «крапивой» и посоветовал мне их пособирать. Сказал, что это очень полезная трава и что взрослые будут довольны. Мне на даче говорили, что брат старше, умнее и я должен его слушаться.

Вот я и решил его послушаться. Нагнулся, схватился за крапиву обеими руками и тут же заорал от неожиданной боли. Брат весело засмеялся. А я от страха даже не понял, что произошло. Думал, меня кто-то укусил, кто-то ядовитый и злой. Шли секунды. Боль не уходила, а становилась нестерпимее, а на руках расплзались уродливые красные пятна. Я вдохнул, что было сил, и с громким ревом кинулся в дом.

— Мама! Мама! — звал я.

Забежал на веранду, потом на другую, сунулся в бабушкин кабинет.

— Что? Что случилось? — услышал я за спиной чей-то голос. Все, что я видел, — стены, двери, буфет, человеческие фигуры — сначала мелькнуло сломанным, искривленным слезами, расплывшимся, но постепенно стало обретать правильные очертания.

Маму я нашел на кухне. Она стояла у раковины и тщательно вытирала руки о передник. Я кинулся к ней, но тут же застыл — по выражению ее лица я понял, что прибежал сюда зря, что жалеть меня она не будет.

Тут же рядом с нами неожиданно вырос мой брат и сквозь мой затихающий плач презрительно произнес:

— Тетя Вера, он в крапиву полез как дурак. Я ему говорил, предупреждал...

Мама расправила передник и ехидно поинтересовалась:

— Ты чего нюни тут распустил как девчонка? Долго еще намерен реветь?

Я ничего не мог ей толком сказать и, всхлипывая, протянул обожженные руки.

— И что? — мама скрестила руки на груди.

— Это он виноват! — закричал я и с кулаками кинулся на брата. Тот легко оттолкнул меня — он был гораздо сильнее — и отодвинулся в сторону, туда, где стоял пухлый холодильник. Мама с ледяным спокойствием понаблюдала нашу возню, а потом позвала дядю Гришу.

— Полюбуйся на него! — громко произнесла она, показывая на меня, когда рыжий большеносый дядя Гриша появился на кухне. — Полез в крапиву, обжегся, стоит тут, орет да еще на брата сваливает! Ишь, доносчик нашелся!

Дядя Гриша от этих ее слов почему-то пришел в бешенство. Он весь осканился, схватил меня плачущего одной рукой за ухо, а другой принялся бить по попе. От обиды я заревел еще громче и сквозь собственный голос услышал, как мама приговаривала:

— Так тебе! Вот — знай! Доносчику — первый кнут! Доигрался, доносчик! Доносчику — первый кнут!

А брат смотрел и радостно смеялся.

После этой истории я стал держаться подальше от крапивы, от брата, от дяди Гриши да и от мамы тоже.

Сейчас дяди Гриши нет. Нет и той прежней страны, где прошло мое детство. В саду на даче уже нет старого стола, как и нет забора. Зато остались клубничные грядки, кусты смородины и крапива. Ее у нас по-прежнему очень много.

Василий Бабушкин-Сибиряк

Благодать

Из-за сильных морозов Ленька не ходил в садик уже месяц. Дома он сидел с дедом. Дед в последнее время сильно кашлял, но курить не переставал. Прокашлявшись, он говорил:

— Все, видать откурился. Не принимает больше душа, скоро на покой.

Ленька очень любил деда, однажды он спросил его:

— Деда, вот ты говорил, что все в доме должны работать, пользу приносить, а какую пользу ты приносишь?

— Через меня, Ленька, в дом благодать идет.

— А что это такое, деда?

— Это все хорошее, что нам Бог посылает. Вот тебе новую одежду мамка купила

на деньги, что папка заработал, а работу папке Бог дал, а я просил у Бога, чтобы мы все здоровы были, работа была и войны не было.

— А Бог только тебя слушает?

— Он всех слушает, кто Его просит.

— А когда ты у Него все это просишь?

— А вот сижу у печки, на огонек смотрю, курю и с Богом разговариваю.

И вот похоронили деда. Пусто и тихо стало в доме. Раньше утром рано проснется Ленька от кашля и сразу снова спокойно засыпает — дед дома.

А теперь стало тихо.

Однажды Ленькина мать, проснувшись, вышла на кухню и была ошарашена.

Около печки на корточках сидел Ленька, в зубах зажата сигаретка, и он говорил в топку:

— А еще надо мамке шубу, а папке мотоцикл, и пускай папка не пьет, а мамка на него не ругается.

Александр Цыпкин

Властелин бутылок

Мне двенадцать лет. Лето я проводил на даче, заняться было особо нечем, а в сельпо продавалось много интересного и отчаянно нужного. От безысходности начали с другом собирать бутылки. А кто не собирал?! Двадцать копеек за штуку. Пять бутылок — рубль. Один рубль — э-э-эх! Ну, вы помните. Окружные леса никогда не находились в такой чистоте, как после наших походов. Людей, разбивавших бутылки, я ненавидел всей душой, а тех, кто их выбрасывал, считал глупцами. Я начал жить, измеряя капитал любого человека количеством бутылок. Даже мамину зарплату младшего научного сотрудника я перевел в стеклотару и визуализировал. Я стал просить покупать мне омерзительный нарзан вместо пепси-колы. Родители удивились, но радостно пошли навстречу. Давясь соленой гадостью, я помнил, что эта бутылка при сдаче стоит на десять копеек дороже. Иногда в лесах мы находили такой стеклянный антиквариат, что приемщики подозревали нас в ограблении музея раннего палеолита.

В общем, мальчики сошли с ума. Надо сказать, что в трех километрах от дачи, где я жил с прабабушкой, находилась дача моего дедушки по еврейской линии, крупного строительного начальника. На выходных я регулярно являлся туда с лицом, выражающим безмерные страдания и очевидную потребность в деньгах. Воспитывали меня в строгости и домой отправляли сытым, но таким же бедным. День рождения у дедушки был летом и отмечался на даче с большим размахом. Дефицитные деликатесы украшали богатый стол и доводили меня до невроза. Однако в тот день, о котором идет речь, я не обращал внимания на копченую колбасу и красную икру. Меня интересовали бутылки, места скопления которых узнавались мною по запаху. Еще до начала застолья я подсчитал свою завтрашнюю выручку и осоловел. Это был первый раз, когда я хотел, чтобы праздник поскорее закончился. Мне не терпелось получить активы в собственность. Когда наступил черед наполеона и стало понятно, что опустошены все принимаемые в СССР бутылки, я вылетел из-за стола, примчался на кухню, куда уносили все, что мешало в столовой, и начал складывать стеклотару в припасенную сумку безобразного вида. Праздник был веселый, и мои копания в мусоре особо никто

не замечал. Наконец я собрал все свое богатство и решил откланяться, так как тащить ночью три километра огромную звенящую сумку не хотелось. Как истинный сумасшедший, я боялся ограбления.

Провожать любимого внука собрались все участники банкета, дедушка шел последним. Каждый гость, выходявший меня поцеловать, застывал, разглядывая сумку с бутылками, стоявшую рядом с тщедушным мальчонкой, уходящим в сумерки. Разум, замутненный стеклом, постепенно стал ко мне возвращаться, и я осознал потенциальные интерпретации данной мизансцены. В глазах общественности состоятельный дедушка выглядел окончательным Плюшкиным, который заставляет внука переть на себе обоз с бутылками, чтобы дать хоть как-то заработать ему на пропитание. Сумка была чуть ли не с меня размером, но в ней едва ли набралось на пять-семь рублей. Колбаса и икра на столе стояли значительно дороже.

Гости медленно стали поворачиваться к хозяину праздника. Ожидались едкие шуточки, особенно на тему отношения в еврейской семье к русскому внуку.

Дедушку я любил и опозорить его не мог.

— Дедуль, а где у тебя помойка, я хоть бутылки вынесу, польза от меня будет?

Сердце обливалось кровью, но лицо было безмятежно-беззаботным. Тем более я знал, что помойка где-то далеко, и рассчитывал, что никто меня провожать не пойдет.

— Спасибо, может, посидишь еще? Наполеон вкусный, арбуз, куда тебе спешить? (Душа рванулась, но бизнес есть бизнес).

Неожиданно один из гостей сделал шаг вперед и хладнокровно убил меня:

— Да оставь ты бутылки, Санёк, я в город отвезу на машине, сдам, пропьем с твоим дедом, чего добру пропадать!

Главное было не зарыдать. Огромные грубые ладони взяли в охапку эти нежные цветки и вместе с кожей оторвали от меня.

Я шел домой через туманные, покрытые августовской ночью токовские холмы и плакал. Маленький обездоленный мальчик с тонюсенькими ногами, вставленными в тяжелые разваливающиеся сандалии, у которого только что отобрали последние деньги, а с ними последнюю надежду. Мир казался мне катастрофически несправедливым и бесконечно жестоким. Насладиться летней прогулкой налегке в голову мне не приходило. А ведь сколько счастья было в той теплой ночи беззаботного детства, да и деньги мне были в общем не нужны. Про упущенный «Наполеон» я вообще молчу.

Удивительно, как мы теряем разум, занимаясь накопительством и стяжательством, идя на жертвы, чаще всего несоизмеримые с ожидаемым результатом.

Сергей Переляев

Невыросшая яблоня на голове

Мама стремилась сделать из меня интеллектуально развитого человека, и позже ей это, в целом, удалось, но речь о том, что она все время норовила сводить меня в какой-нибудь музей, или на выставку, или в театр.

Я же все эти выставки и театры просто терпеть не мог. Но как-то раз мама повела меня в театр, ради которого мы даже поехали из наших дорогих Люберец в Москву, а назывался этот театр, по-моему, «Линкольн».

Название спектакля, я, к сожалению, не помню. Но все остальное помню просто прекрасно, и поскольку история в театре «Линкольн» произошла интересная, я вам ее расскажу.

Мы сидели во втором ряду, всех артистов было видно близко, все, что они говорили, было отлично слышно, но все равно через десять минут после начала спектакля я уже абсолютно ничего не понимал.

На сцене все были в средневековых костюмах и шапках (это в мае-то месяце!), эти шапки все то и дело снимали, кланялись друг другу и разговаривали без остановки. Предположим даже, что их разговор был о чем-то важном, но это было важно исключительно для них, а меня как-то совсем не касалось.

В общем, я перестал смотреть спектакль и пошел рядами. Очень хотелось самому залезть на сцену, чтоб на меня тоже зрители посмотрели. Почему бы и нет? Я вообще всегда очень любил, когда на меня люди смотрят.

Ну вот, хожу, значит, рядами, и спрашиваю, у кого получается, нравится ли им спектакль. А они мне улыбаются и ничего не отвечают! Думают, если я маленький, то со мной и разговаривать не надо!

Потом начали сажать меня на место.

— Мальчик, успокойся и иди!

— Чей ребенок?! Успокойте баловника!

— Да посадите вы его, черт, назад!

Чего только, в общем, не говорили.

Я сел обратно на место, и мама дала мне яблоко, потому что знала, что если мне было что-то неинтересно, то надо чем-то меня занять.

Яблоко было очень вкусное, и скоро в моих руках оставался только огрызок, в котором, естественно, были косточки. И вот эти косточки я засунул себе в правое ухо, потому что подумал, что если у барона Мюнхгаузена на голове росло вишневое дерево, то и у меня может вырасти тоже, только яблоневое (ну, я же яблоко ел), просто надо его правильно посадить. И посадил.

А маме я про яблоню на своей голове решил ничего не говорить, думаю, вот яблонька вырастет, и удивятся и мама, и папа, и все вообще, кто меня будет видеть. Естественно, у кого еще яблоня на голове?!

Спектакль вскоре кончился, после нашего с мамой похода в «Линкольн» прошло около десяти дней, и у меня заболело ухо. Еще через четыре дня оно начало распухать, я рассказал обо всем маме, и мы пошли к врачу. (Папе это все рассказывать было нельзя, потому что он бы меня в этой ситуации стопроцентно не понял.)

Врачом ухо-горло-носом в нашей поликлинике оказался молодой парень Дима.

— Садись, Мюнхгаузен, — сказал он мне с еле заметной иронией, в которой я услышал что-то для себя очень приятное, а именно, это было признание Димой моей, как минимум, остроумности, а может, и чего-то даже большего.

— А очень будет больно? — спросил я Диму.

— Нормально все будет, — ответил Дима, на этот раз уже совершенно серьезно и как бы даже не обращая на меня внимания.

Дальше было все-таки больно, потому что Дима своим специальным металлическим инструментом лазил прямо в самую глубину моего уха и доставал с его дна яблочные косточки.

По пути домой мама со вздохами облегчения говорила мне, что конечно же она родила очень непосредственного и, предположительно, оригинального человека.

Сергей Надеев

Белиберда, или Театр зверей

Блоха спросила крокодила:
«Скажи, всеобщий интерес,
далёко ли до дельты Нила?»
И тот ответил: «Через лес.

Пойдёшь, подружка, на опушку,
смотри — сорока на суку
за шнур подвесила хлопушку,
а шнур продёрнула в чеку.

Чем дальше в лес — тем меньше толку:
куда годится этот лес,
где волки, раздобыв двустволку,
теряют к жизни интерес!



Здесь всюду склоки и раздоры,
и каждый хочет быть другим:
лягушек дрессирует ворон,
осёл им сочиняет гимн.

Там мыши тратят соль и годы
на то, чтоб насолить коту.
А тот подался жить на воды,
коль стала жизнь неумогу.

Он научился по-английски
легко мурлыкать "Вэри мач".
Он в прошлом — капитан балтийский,
а в будущем — большой скрипач.

Медведь, назойливый, как мошка,
в лесу, на лавке, день-деньской
ведёт саратовской гармошкой
бои с нахлынувшей тоской.

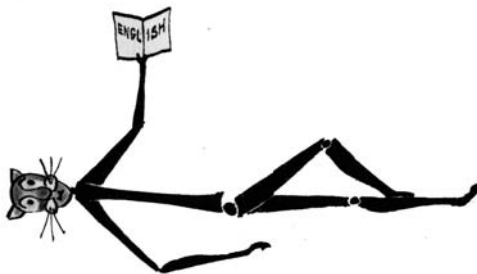
Жуки — дождались урожая
дождевиков и желудей
и на телегах разъезжают
среди непаханных полей.



В лесу ночами плачут совы
о жизни медленной своей,
и одногорбые коровы
клянут трёхгорбых лошадей.

От этих распрей беспричинных
пропала — как весной зима —
и костяника, и малина,
и клюква-ягода сама.

И только зреют на угорах
в болезнетворных ремешках
цветные лампы мухоморов
один к другому в трёх вершках.



Наискосок пройдёшь по лесу —
и заводь встанет на пути.
Так это — Нил, тебе известный.
А жизнь — не лесом перейти.

И вот, я изгнан из дубравы,
моя семья живёт в Твери.
А здесь цветут иные нравы,
на жизнь слагая попури.

Да что тебе мои обиды!
Шагай к опушке и не трусь,
коль встретишь волка-инвалида,
лечившего двустволкой грусть.

Разброд, шатанья, изуверства... —
ну чем такое оправдать?
Лишь проявленьем в звере зверства
от нежелания читать».



Эрлом Ахвледуани

Притчи

Про человека благословенного

Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

(Матфей 6.34)

Был человек. Ночью вор украл у него завтрашний день.

Огорчился человек, ибо вместе с завтрашним днем он потерял завтрашний восход солнца и завтрашний высокий полдень, завтрашний тихий вечер и завтрашнюю ночь, украшенную полной луной и мерцающими звездами.

С завтрашним днем ушла надежда завтрашнего дня, мечта о завтрашнем дне, воспоминание дня сегодняшнего из завтра и все радости и заботы минувших дней со всеми их плодами и событиями.

С завтрашним днем ушли все следующие за ним дни будущего.

Остался человек наедине с днем сегодняшним.

Ранним утром поднялся человек со своего ложа, посмотрел на погруженных в сладкий сон жену и детей, возжег свечу нынешнего дня и вышел из дома.

Всходило солнце нынешнего дня, последняя заря для человека.

И приступил человек ко дню нынешнему.

Потрепал собаку за ухом.

Выгнал скотину в стадо.

Обошел двор, заделал распоротый плетень, укрепил в плетне перелаз.

Прошелся по винограднику с садовыми ножницами.

Обломал на деревьях отсохшие ветки.

Старшего сына занял делом.

Среднего пожурил.

Младшего приласкал.

От жены отвел взгляд.

Бодро окликнул соседа, и сосед отозвался бодро.

Обработал землю — где мотыгой, где лопатой, привил дичок, семена посеял, травы скосил, отжившее — схоронил, залежавшееся — раздал.

Вернул долги.

Тут и полдень настал.

Человек сел в тени дерева передохнуть.

Нужное — припомнил, ненужное — забыл, в грехе покался, в проступке повинился, радость обрадовала его, а печаль опечалила, страх напугал, хлад остудил, а жар опалил.

Вдруг вспомнил, что у него не будет завтра, и пригорюнился человек.
Быстро встал, выпрямился.
Затем
старшего сына похвалил за проделанную работу,
среднего занял поручением,
младшего опять приласкал,
жену приголубил.
Наколол дров на зиму.
Тут и вечер настал. Смеркалось.
Забрехала собака.
Деревенское стадо возвращалось в село...
К калитке подошел путник, жаждущий, голодный, с органчиком на боку.
Человек пригласил путника в дом, оказал гостеприимство. Возжег очаг, помог
вымыть ноги, накормил хлебом и напоил вином.
Затянули песню. Спели. Вышло складно.
Гость поднялся, поблагодарил, пожелал уйти.
Вся семья высыпала из дома проводить гостя...
Солнце нынешнего дня не закатилось.
Пришел дождь и ушел дождь, и небо украсила радуга.
Стоял высокий полдень с прохладными тенями и освежающим ветерком и не
уходил.
Был тихий вечер и пел дрозд.
Потом выкатилась полная луна, замерцали звезды.
Путник с органчиком на боку шел своей дорогой на запад...
Свеча нынешнего дня не угасала.

Про человека-выдумщика

Был человек-выдумщик. Выдумывал все. Выдумывал то, что еще не было
выдумано, выдумывал и то, что давным-давно было выдумано. Выдумывал то, что не
стоило выдумки, и то, что невозможно выдумать.
Он был неисправим, этот человек-выдумщик. Сперва выдумал самого себя.
Потом выдумал гору, а под горой хижину. Потом выдумал спокойную жизнь и зажил
в хижине, выдуманной под выдуманной горой.
Остальные узнали о существовании человека-выдумщика, пришли к нему и
попросили выдумать их всех, и человек-выдумщик выдумал всех нас.
В конце концов он выдумал бесконечную дорогу и пустился в путь по той дороге.

Про человека, о котором все думали, что его нет

Придите ко мне все вы, усталые и обременен-
ные, и я успокою вас.

Был человек, который был сам по себе, и всем казалось, что его нет....
Были земля и небо. Были день и ночь. Были солнце и луна. Были звезды.
И был человек, который был сам по себе.
Были рассвет и вечер, были север и юг, были восток и запад. Были миг и век, были
близь и даль, были лево и право...
И был человек, который был сам по себе, и все думали, что его нет.

Были любовь и ненависть, были верность и измена, были надежда и отчаяние, были горечь и сладость, был покой и было волнение.

И был человек, который был сама по себе, и всем казалось, что его нет.

Были справедливость и несправие, были непримиримость и всепрощение, были убийца и убиенный, была наполненность и была пустота...

И все мы были тут же, при этом.

И был человек, который был сам по себе, и все, что было и входило в него, и то, что входило, занимало отведенное ему место: убийца и убиенный, оскорбленный и оскорбитель, север и юг, свет и мрак, даль и близь, закон и беззаконие, солнце, луна и звезды...

Все входило в него и находило друг друга, находило общий язык и договаривалось, утешалось, успокаивалось.

Наконец вошла в него смерть и заняла отведенное ей место...

А он был сам по себе...

Про доброго человека

Был добрый человек. И жена у него была добрая, и дети. Имел он еще осла. Осел тоже был бы добрым, не родился он ослом.

Однажды доброму человеку понадобилось сходить из своей деревни в соседнюю. Сел он на своего осла и поехал.

Проехал немного и увидел старика. Добрый человек был добр и посадил старика на осла.

Проехал немного и увидел двух женщин; одна была красивая, другая — некрасивая. Он обеих усадил на осла.

Проехал немного и видит: лежит верблюд, рядом валяется его груз. Возле сидит хозяин верблюда и плачет. Добрый человек был добр и верблюда вместе с его грузом и хозяином вместе с его слезами посадил на осла.

Проехал немного и видит — лежит у дороги здоровенный валун. Добрый человек был добр и валун тоже положил на осла.

Проехал еще немного, и сказал осел доброму человеку: добрый человек, посади и меня на осла.

Добрый человек был добр и осла тоже посадил на осла.

Проехали они еще немного и как раз приехали в другую деревню.

Левон Хечоян

Царь Хосров

С армянского. Перевод Светланы Авакян

Жил царь Хосров. И был он богаче всех богатых царей и не имел себе равных. Много славных дел совершил он: дворцы построил, сады посадил, цветники разбил. И был у него густой кедровый лес, а для орошения его повелел царь вырыть водоемы. Было у него множество слуг и служанок. И так много паслось в его степях домашнего скота, что все цари Востока и Запада вместе не имели столько.

Могучие цари стран Юга и Севера платили ему дань, и скопилось у Хосрова несметное количество золота и серебра.

Приглашенные на царский пир родовитые дворяне и князья славные восседали вокруг него на четырех сотнях подушек, а прислуживали им бесчисленное количество рабов. Музыканты, певцы и плясуньи развлекали почтенных гостей.

Да, был Хосров самым знатным среди царей, — и из тех, кто был до него, и кто царствовал ныне.

Трубят царские слуги, спускают охотничьих собак и соколов, берут сети для охоты на оленей, дворцовые кузнецы куют подковы для коней. Это царь Хосров со своим лучшим другом богатырем Фахрадом отправляется на охоту. Во всем восточном мире знали богатыря Фахрада как мудрого полководца. Не проиграл он еще ни одного сражения. Случалось, и с малочисленным войском выходил биться с могучими горными племенами. Он сумел поставить на колени даже наводящих страх своими неожиданными набегами хитионов и маскутов, обложил их данью. И называли все его Героем.

Вот отправились царь Хосров, полководец Фахрад и двое их друзей путешествовать по стране и охотиться. Опостылела им однообразная и распутная жизнь во дворце.

Бешеные кони неслись со скоростью ветра, оставляя далеко под копытами горы и ущелья, и всадники разили стрелами оленей, ягуаров, перепелок и куропатов. А усталые после богатого события дня царские придворные и слуги разбивали шатер с царским гербом, усаживались вокруг костра и до утренней зари беседовали и вспоминали о разном.

В одну из таких ночей сидел царь Хосров опечаленный, рассказывает он Фахраду свой сон, увиденный прошлой ночью: «Таинственный был сон, и даже сейчас, вспоминая, весь в испарине...» Говорит: «Бросился я за красивым молодым оленем, добрался до каменистой местности, натянул тетиву, сразил первой стрелой. Рухнул олень, весь в крови, бьется, словно молит меня о чем, я и сам закричал, пробудился».

«К добру твой сон, царь,— отвечает Фахрад,— только знаешь, удивительно, как же такое возможно, чтобы два человека одно и то же во сне увидели?! И в моем сне появился олененок, носился в бескрайних полях, я за ним следом, долго настичь не мог, остановился он у горы, некуда ему больше бежать, превратился неожиданно в красивую девушку... Сказала она: "Возвращайся домой, охотник, пришли мать сватать меня"».

Насупил брови царь Хосров, погрузился в раздумья. Фахрад говорит: «Напрасно печалишься, царь, все это только сон, тысячи таких снов видишь. Одно скажу — к добру твой сон!»

Рассмеялся царь, успокоился за беседой и другими историями.

На рассвете повелел царь Хосров слугам запрячь подводы с охотничьими трофеями, чтобы возвратиться в столицу. И царь с Фахрадом отправились в город Спер, что в Гаваре, чтобы поточнее узнать о богатствах страны своей и познакомиться с жизнью народа. До захода солнца въезжают они в маленький город. Едут по улице и видят, как выходит из ворот девушка, да такая красавица, точно солнца луч! Какое там! Солнце ничто в сравнении с ней! Луной назовешь, — не сравнится с ней и луна. Не видели еще в жизни такой красавицы. Остолбенели оба, с места сдвинуться не могут. Пришел в себя царь Хосров и стегнул своего коня, встал тот на дыбы, копытами бьет, перед девушкой склоняется.

«Как звать тебя, красавица?»

«Бамбиш».

«Несравненная, имя у тебя прекрасное, Бамбиш, сам царь перед тобой голову склоняет. Охотился я, приехал к вам, о стране узнать хотел, а увидел тебя, и не надобно мне ничего — ни охоты, власти. Согласна ли ты стать царицей в моей стране?»

Смеется Бамбиш: «И вправду, царь, как влюбится человек, так сразу голову теряет. Да только странно мне, — не знаешь ведь ты меня, царь. Так что же ты так скоро сердце свое открываешь? Много служанок у тебя, наложниц, танцовщиц, и все они рабыни твои. А, оказывается, не знаешь ты ничего про женщину. Ежели сердце ее не полюбит, то все равно ему — царь ты или прах, или ничто...»

Красивый и мудрый ответ Бамбиш удивил Фахрада, повторяет он мысленно несколько раз: «К добру сон, Хосров, к добру».

И видит царь, что очарована девушка не им, а полубогом-богатырем, — так она смотрит на Фахрада. Оскорбленный, вздернул поводья, и узкие мощные улицы маленького города взорвались под копытами его бешеного коня.

Оставил Фахрад девушке свой золоченый перстень, на котором печатка с кабаном, в знак того, чтобы ждала его.

А царь Хосров возвратился в столицу, уединился в своей опочивальне. Царские слуги и придворные знают, какой гнев последует за этим уединением: разговаривают все шепотом.

Старый сенеканет¹ входит, склоняется перед царем в низком поклоне: «Ты вырос у меня на руках, царь, и со дня твоего рождения до ныне не видел я тебя таким сердитым. Что случилось? Раздели со мной свои думы, облегчи душу».

И царь Хосров рассказал все случившееся своему учителю сенеканету Взмриру.

Внимательно выслушал его старик, а потом, нахмутив брови и потеряв лоб, говорит: «Все мне ясно, как Божий день, царь. Девушка полюбила Фахрада, но ты не должен терять надежды: мудрость гласит: "Там, где сила, любовь бежит". Знай, царь, так было всегда, так будет вечно. Не позволяй победить себя сомнению, помни: ты — голова, Фахрад — ноги, и как прикажешь, царь-повелитель, туда они и пойдут!»

«Ты прав, Взмир сенеканет. Выйду на бой с ним, останусь со стыдом — сколько раз в детстве, во время игр, валил он меня, побеждал. Прикажу его убить — снова ничего не добьюсь. Помнишь, когда у царицы молоко пропало, перестала она кормить меня грудью, так мать Фахрада ее заменила. Скажут: убил молочного брата. Что же делать, дай совет, учитель Взмир?»

«Нет, царь Хосров, не будешь ты сражаться, не убьешь ты богатыря, не осквернишь молоко детства своего. Не может одна женщина иметь двух мужей, — говорит, — зови Фахрада, царь, поставь ему условие».

¹ Сенеканет — (арм.) личный секретарь царя, заведующий царским архивом.

Царь последовал совету, позвал Фахрада во дворец. Трапезничают они, выходят в сад на прогулку по кедровой роще, доходят до фонтанов, беседуют о политике в стране и мире, и вдруг царь говорит: «Ты мой молочный брат, Фахрад, не хочу из-за девушки осквернять молоко детства нашего. Давай решим полюбовно: срок тебе двенадцать месяцев, триста шестьдесят пять дней, бери кирку и лопату, ступай, проруби гору Биситун. Прорубишь — девушка твоя, не исполнишь — мне она достанется. Лучше соглашайся, полководец Фахрад».

Отвечает полководец: «Верно, не сам ты все это придумал, были у тебя советчики, но ради любви Бамбиш любое твоё условие приемлю».

Удаляется из дворца полководец Фахрад: взял припасов на год, инструменты загрузил на арбу, поехал и разбил у горы Биситун шатер. Работает он денно и ночью. Жару сменяет холод, лето сменяет осень с проливными дождями, полетели журавли в теплые страны.

У Фахрада уже борода до пояса, а он все работает, глаз не смыкая, рук не покладая.

Однажды приходит к нему старик-адъютант, который пересекал с Фахрадом и пустыни, и моря, подчиняя народы и племена, в светлые холодные ночи сидел он с ним у огня, поддерживал в минуты печали и тоски, раны боевые врачевал.

Говорит адъютант: «Фахрад, сынок, служил я тебе долгие годы, видел на поле брани полет твоей мысли и удар руки твоей. Видел, как умом своим закрыл перед дикими горскими племенами ущелье Чоре. Видел падение твердынь и крепостей под твоим прозорливым взглядом. Да только сейчас, сынок, удивляюсь твоей недалёковидности, тому, что ты сейчас делаешь. Погляди, скоро год, а ты и половины пути не прошел. Неуж-то не понимаешь, что гору эту не пробить, из песка она: ты роешь, а она осыпается, снова горой встает перед тобой. Сколько ни трудись, но ни за год, ни за тысячу лет ничего ты не добьешься. Одумайся, Фахрад, отважный полководец, выходи из горы, неужели не чувствуешь, что этот струящийся, истекающий песок — все пустое, брэнное время человеческое? Хитростью Взмира царь Хосров заточил тебя во времени. А сам заберет Бамбиш себе в жены. Скоро исполнится год, как ты здесь, и станет она — женой царя. Посылая тебя сюда, знали они, что сколько бы ты не трудился, все в песок уходит: гору сроешь, новая гора встанет перед тобой. Это и есть то время, за которое Бамбиш смиритесь с мыслью, что она — жена царя Хосрова, а ты успокоишься, потому что во время работы похоронишь свою потерю в этих песках. Возвращайся, сынок, возвращайся в мир, отважный богатырь, уснуло твоё войско на границе, враг безбоязненно входит в нашу страну».

«Обманул меня царь», — сказал Фахрад, обхватив голову руками. Посидел молча на песке, потом поднялся и говорит старику: «Прощай».

Обнажился он до пояса, подбросил в небо старую лопату острую, вытянул шею, и вонзилась лопата в сонную артерию, брызнула кровь на песок, окрасила его в алое.

Возвращается старик-адъютант в столицу, приносит во дворец весть о смерти богатыря. Повелевает царь на три дня приспустить знамена, закрыть все магазины и хлебные лавки. Звонят церковные колокола, проходит погребение, герою подобающее.

А Бамбиш, услышав о свершившемся, в тот же день выпивает яд.

Говорят, что, отправляясь на охоту, царь Хосров иногда впадает в минуты помрачения, стоит перед горами над ущельем, кричит: «Фахрад! Бамбиш!», лицо себе раздирает, криком исходит...

А мы по невинно погибшим скажем:

«Упокой, Господи, их души!»

Редакция благодарит Вано ХЕЧОЯНА за предоставленное право публикации перевода сказки Левона Хечояна «Царь Хосров»

Алиса Ганиева

Вранье

Сказка про мальчика, который плакал

Жил-был мальчик, которого звали Митя. И был он самый обыкновенный ребенок, только все время плакал. Ну не то чтобы все время, а только когда слышал вранье. А случалось это очень часто. Вот, допустим, просит он у мамы поиграть подольше перед сном, а мама брюзжит:

— Совсем ты мне, Митя, на голову сел и ножки свесил.

Митя и рыдает, слезами умывается. Ведь как же так? Вовсе он не садился мамке на голову. Во-первых, высоко. Во-вторых, страшно — того и гляди скопытишься. Но та знай несет свою околесицу и даже не краснеет.

— И нечего, — причитает, — пускать озера из глаз! Весь дом затопишь!

Ну уж нет, — задыхается от плача Митя, — разве можно моими слезами дом затопить? Вот Петькиными можно, он большой и толстый! А я маленький! У меня слезки крошечные!

И валится на ковер. Ну, мама пуще его отругивать:

— Что ты, чучело, развалился вверх тормашками?

— Вверх кармашками? — трясет подбородком Митя. — Нет у меня кармашков! Они на других, на красных штанишках, а на этих нет!

И ревет дальше.

В общем, тяжело жилось Мите.

Или вот, к примеру, слышит он, как мама с папой спорят.

— Надоело мне в ежовых рукавицах! — машет руками папа. — Хочу и буду гулять с Васей!

— Так ты с этим Васей пьешь до чертиков, — подпрыгивает мама. — Вчера приполз домой на бровях!

— Я был как стеклышко! — возражает папа. — И вообще, разговор яйца выеденного не стоит. Хватит про Васю!

— Нет, не хватит, — упрямится мама.

— А тебе лишь бы косточки кому перемыть!

Митя слушал и хныкал. Руки у папы были голые. Никаких ежовых рукавиц. Да и где такие взять? Чушь. Да и мама никакие косточки никогда не перемывала. Вранье, сплошное вранье. Вот только про чертиков Митя в точности не знал. Может, папа их и встретил. Только вот где?

Все было ужасно неясно и нелепо.

— Митя! — замечал его папа. — А ты чего воешь белугой? Ты же мальчик. Намотай на ус: девочки не любят плакс!

— Нет у меня никакого уса! — кричал Митя и убегал.

И вот как-то раз случилось с ним волшебство. Проснулся он, а вокруг никакого вранья. Все говорят правду. Уронил Митя в садике мыло на пол, а воспитательница ему не говорит «Молодец!», как раньше. А честно попрекает:

— Нехорошо, неловко.

А еще Петьке кричит:

— Петя, Петя, не беги очертя голову.

А Петя действительно голову циркулем очертил и несется. Права воспитательница. Так и завертелось. После тихого часа раздолье. Кто-то баклуши бьет, кто-то мух ловит, а кто-то стишок читает — так, что от зубов отскакивает. Да-да! Прямо от зубов, рикошетом. А другие — чудо из чудес, кошмар из кошмаров — находят общий язык. Взлетают на седьмое небо, витают в облаках. Одна девочка без головы пришла, потеряла. А несколько детишек сгрудились вокруг воспитательницы и выют из нее веревки. Вьют, вьют, Мите чуть плохо не стало.

— Стойте! Стойте! — запрыгал он на одной ножке. — Пусть все это снова станет враньем! И я больше не буду плакать!

Так и случилось. В один миг. Голова прилетела на место, веревки растворились в воздухе. Баклуши тоже. Никто не витает, никто никого не валяет и глазки не строит. А почему? Потому что сказка. В сказке все можно.

Вот и конец.

Андрус Кивиряхк

Поцелуй лягушку!

С эстонского. Перевод Нэлли Абашиной-Мельц

Маленький красный самолет летел над лесом со стороны моря, напрямик направляясь в сторону Северного полюса.

В самолете сидел — кто бы вы думали? Сам Дед Мороз! Он возвращался с покупками из магазинов — ведь за лето ему надо запастись подарками, чтобы зимой было что положить под елку детям. Самолет был битком набит подарками. Только Дед Мороз ничего не знал о том, что крыса прогрызла в самолете дырку. Вот через эту дырку и выпали четыре новехонькие книжки сказок. Книжки плавно парили над лесом, как большие разноцветные бабочки, пока наконец не попадали вниз.

Одна свалилась на голову спящему Медведю, но тот и ухом не повел, хмыкнул что-то сквозь сон и повернулся на другой бок.

Вторая книжка упала прямо на стол к Зайцу и переломила пополам его морковку. «Уж не коршун ли это? — перепугался Заяц, лег на пол и притворился мертвым. Лишь немного погодя осмелился оглядеться. Ничего страшного не обнаружил, увидел только раскрытую книжку на столе да половинку морковки в ней вместо закладки. Заяц с любопытством принялся за чтение.

«Вот так чудеса! — обрадовался он. — Смотри-ка, что тут такое написано! Стоит поцеловать лягушку, как тут же сделаешься королем! Вот здорово! Да, классно стать королем! Я бы тогда никого не боялся, все бы передо мной дрожали. Даже Волк задрал бы лапы вверх и затрясся. Так-так, скорей-скорей целовать лягушку!»

И он бегом припустил к озеру — там ведь живут эти самые лягушки!

Третья книжка плюхнулась в ванну, где лежал Лис.

«Хм, книга!» — удивился Лис и выудил из воды свалившийся с неба подарок. Бумага, правда, слегка подмокла в мыльной пене, однако его это не смутило, и он внимательно прочитал всю сказку.

«Ишь ты! — воскликнул он. — Как поцелуешь лягушку, она сразу делается принцессой. Ничего себе! А у принцессы на голове наверняка золотая корона! Схвачу корону и дам деру — попробуй догнать! А потом сам надену эту корону и буду самым главным над всеми зверями!»

И лис потопал к озеру.

Четвертая книжка упала под колеса велосипеда, на котором ехал Волк. Велосипед перевернулся, и волк врезался головой в дерево.

«Проклятье! Что же это такое было?» — взвыл он но, увидев книгу, схватил ее и стал читать.

«Отличные новости! — развеселился волк. — Если поцеловать какую-нибудь захудалую лягушку, она сразу превратится в толстенькую принцессу. Вот где еды-то! Какая вкуснятина. Что-то я и вправду проголодался».

Волк вскочил на велосипед и, изо всех сил крутя педали, поспешил к озеру.

На берегу сидели три маленькие лягушечки, все в чистеньких юбочках, и очень скучали.

«Жил бы здесь хоть один лягушонок! — сокрушались они. — Мы бы с ним танцевали по очереди. Вечерок такой славный, и кузнечик так чудесно пиликает!»

Но ни одного лягушонка поблизости не было.

Вместо этого к озеру примчались Заяц, Лис и Волк.

Лягушечки оглянуться не успели, как их всех перецеловали.

А сказка-то оказалась ложь. Никаких принцесс не появилось. Вместо этого на перепутанных лягушечек тарасились три таких же лягушонка.

«Что это значит? — спросил один из них, тот, который раньше был Волком. — Что, я теперь Лягушонок?»

«Выходит, так», — отозвался бывший Лис.

«Ай-яй-яй! Что же делать?» — завопил лягушонок-Заяц.

«Может, потанцуем... — робко предложила одна Лягушечка. — Мы уже давно вас ждем, нам одним так скучно!»

И тут лягушата вмиг сообразили, что и вправду хорошо бы потанцевать. И юбочки у лягушечек такие нарядные, и сами они такие милые и скромные... Хотя опять расцелуй!

«Потанцуем!» — согласились лягушата. Услышав это, кузнечик опять запиликал.

С тех пор жили у воды уже шестеро лягушат. И никогда им не было скучно.

А что же стало с Медведем и с его книжкой? Косолапый все-таки проснулся, заметил находку, перевернул ее, старый дурень, вверх тормашками и увидел, что принцесса там стоит на голове, вверх ногами.

«Хм-м! Неужели это теперь модно? — изумился медведь. — А я и не знал!»

И тут же задрал задние лапы к небу и всю оставшуюся жизнь так и проходил на передних лапах. Его и прозвали медведь-переверть.

*Редакция благодарит Нэлли АБАШИНУ-МЕЛЬЦ
за предоставленное право публикации перевода
сказки А.Кивиряхка «Поцелуй лягушку!»*

Наталья Ключарёва

Последнее чудо

Это случилось давным-давно, когда деревья умели ходить, рыбы болтали без умолку, а на лунных лугах паслись стада белоснежных единорогов. Целыми днями единороги плескались в теплых молочных реках, нежились на сахарном песочке и перелетали с одного цветка на другой. (А цветы на Луне вырастали такие огромные, что могли удержать не только легконогих единорогов, но и неповоротливых мамонтов, которые, подобно нашим шмелям, любили качаться в чашечках лунных колокольчиков.)

Но едва наступала ночь, единороги застывали, как замороженные, не в силах отвести взгляд от лица соседней планеты. Оно было таким печальным, это лицо, и таким непонятным, что детям-единорогам строго-настрого запрещалось не спать по ночам, и если кто-то из них все-таки просыпался и видел Землю, это означало, что пришла пора становиться взрослым. Увидевший Землю больше не мог уснуть — в душе его поселялась безымянная тревога, которой не знают дети.

Голубое сияние горчило, как несбывшаяся надежда, оно манило и отталкивало, оно сбивало с толку, будто кто-то звал на помощь — и тут же угрожал и сыпал проклятиями. Единороги вздыхали и поднимали к небу глаза, полные светлых слез.

Однажды утром, когда Земля почти скрылась за горизонтом и единороги спускались с холмов, чтобы разбудить своих малышей, спавших под пологом белой сон-травы, им навстречу вышел единорог-отшельник.

Он так долго жил на пустынной обратной стороне Луны, там, куда Земля уходила каждое утро, так долго видел вблизи искаженный лик этой бедной планеты, что научился понимать ее зов.

«Послушайте и услышьте меня, свободные дети Луны! — сказал отшельник. — Там, на Земле, люди тоскуют и умирают в тисках тоски. Они утратили веру в чудо, и чудеса перестали случаться. Их души слепы, как узники темной башни... Послушайте и услышьте меня, свободные дети Луны! Как можем мы купаться в наших сладких реках, когда их океаны горьки от пролитых слез? Как можем пастись на тучных лугах, когда древо их жизни засохло до самых корней?! Мы должны помочь нашим младшим братьям, мы должны вернуть на Землю чудо...»

И единороги решили отправиться в путь.

У отшельника был дар мысленно переноситься в далекие миры. Странствуя по Земле, он успел проникнуть в некоторые ее тайны, и ему была известна единственная ночь в году, когда земные воды, полные печали и сожалений, делаются такими плотными, что по лунной дорожке, мерцающей поперек любого, даже самого маленького озерца, можно перебежать с Луны на Землю и обратно.

Вот в такую ночь единороги и спустились на Землю, чтобы принести людям чуточку волшебства. Каждый единорог мог исполнить за свою жизнь только одно человеческое желание. Потому что мечты людей очень тяжелы в отличие от невесо-

мых просьб порхающих мотыльков или молчаливых чаяний травы — их единороги исполняли без счета.

Единороги светились в ночи, как волны северного сияния, каждый — своим цветом. Они вставали на вершины холмов, освещая дорогу запоздалым путникам, — и те в мгновение ока добирались до ночлега. Заглядывали в окна к бессонным поэтам, проливая млечное свечение на недописанные стихи, — и строчки складывались сами собой, рассказывая что-то гораздо более важное, чем было задумано...

Мысли единорогов быстры, как ветер. Поэтому им казалось, что прошла целая вечность, прежде чем люди начали понемногу догадываться, какой волшебной силой обладают эти легконогие лошадки. Люди же мерили все своей мерой. Им так никогда и не пришло в голову, что единороги готовы исполнять их сокровенные мечты, не требуя ничего взамен, что они сами ищут встречи и приходят на помощь по доброй воле. Люди считали: единорогов, как и несчастных земных зверей, надо гнать, улюлюкая и трубя в охотничьи рожки, ловить, а после жестокостью и силой принуждать к службе. Но единороги были рождены свободными. Их волшебство, как любой дар, пропадало в неволе...

Глядя на их страдания, Луна окаменела от горя, молочные реки высохли до самого дна, тучные луга превратились в пыльные пустыни. Каждую ночь всходила Луна над темной Землей и звала, звала обратно своих несчастных, доверчивых и благородных детей. Но голос ее был слишком тих. К тому же постоянное чувство опасности и необходимость быть начеку вытеснили у единорогов память о прошлом, и они забыли путь домой.

Порой кому-нибудь из них снился легкий, полный радостных предвкушений бег по лунной дорожке, что в незапамятные времена привела их на голубую планету. Наутро неласковая мачеха Земля казалась еще более чужой, а боль от людских преследований делалась невыносимой.

И постепенно единороги стали считать сны, подсказывавшие им дорогу назад, тяжелой болезнью. Они лечились горькими земными травами и окунали голову в ледяной ручей, чтобы смыть следы воспоминаний. Память действительно переставала беспокоить. Многие молодые и вовсе были уверены, что их род всегда обитал на Земле, всегда был для людей (которых уже никто не называл младшими братьями — только мучителями) желанной добычей и спасался от них бегством, не прекращавшимся ни ночью, ни днем. Они неслись, не разбирая дороги, оставляя клочья белоснежной шерсти на колючих кустах, их бока тяжело вздымались, пар шел от спин... Рассказы стариков о счастливой лунной жизни они считали вредными выдумками, расслабляющими волю. «Вам просто приснилось! Молочные реки? Сахарные берега? Перестаньте морочить нам голову! Детские сказки!» Сами того не замечая, они все чаще думали и говорили, как их двуногие враги.

Волшебство давно покинуло их, но несчастные, обиженные, не верящие ни во что хорошее единороги даже не заметили этой потери.

Ну а люди с появлением единорогов, казалось, окончательно утратили человеческий облик. Счастливые дети Луны пришли на Землю, чтобы помочь этим бедным существам, разучившимся мечтать. Но мечты людей, выпущенные на волю, сделали земную жизнь еще темней и безотрадней. Вместо чудес ее наполнили чудовища.

Каждый человек жаждал быть Хозяином мира, владельцем всех земных богатств, королем Вселенной — и видел в остальных лишь помеху: «Я изловлю единорога и стану королем Земли!» — «Нет я!» — «Нет я!..» В ход шли кулаки, потом камни, потом ружья...

В городах и селах, на лесных полянах и горных тропинках — всюду, где ступала нога человека, звучал этот клич: «Мне! Мое! Я!»

А в ответ тут же доносилось: «Нет — я! Нет — мое! Нет — мне!»

Черная жажда, сжигавшая души дотла, распространялась по Земле, как эпидемия или пожар. В погоне за тем, чего у них нет, люди бросали то, что у них было, и сломя голову мчались кто куда: кто за единорогом, кто за синей птицей, кто за журавлем в небе.

Поля зарастали крапивой, дома, оставшиеся без хозяев, ветшали и разваливались, белье улетало с веревок, зонты, перчатки и сумки уезжали в автобусах и больше не возвращались.

Все пришло в упадок и запустение, и вскоре люди дрались уже за кусок хлеба. Толпы голодных грабили и калечили друг друга, вражда и ненависть поселились в каждом сердце и хозяйничали там, как хотели. Землю охватила война. Ученые изобретали все более страшное оружие, соревнуясь в его разрушительной силе. И настал черный день, когда чей-то ум, завоеванный тьмой, выдумал бомбу, способную взорвать весь Земной шар.

И никто не испугался. Ослепленные злом, люди думали: «Я! Я завладею этим оружием и подчиню себе мир! Или пусть все летит в тартарары!»

Скоро такая бомба была в каждой стране, потом — в каждом городе. Еще чуть-чуть — и бомба оказалась бы в кармане у каждого проходимца, как складной нож. Впрочем, уже несколько раз, что-то не поделив, богачи, которым бомба была по карману, угрожали друг другу всемирной катастрофой. Один даже нажал на «Пуск». По счастью, кнопку заело: изобретение было еще не совсем доработано и давало осечку. Но ведь ученые трудились, не покладая рук...

Землю могло спасти только чудо.

А единороги, последние носители волшебства, давно истлели в застенках, задохнулись на бегу или превратились в обычных земных животных.

Однако чудо все-таки было возможно, хотя об этом никто не знал. Чудо сделалось осторожным и недоверчивым, оно скрывалось в пустыне, научилось не отбрасывать тень и ступать, не оставляя следов. И в тот момент, когда без него уже никак нельзя было обойтись, оно осторожно выбралось из укрытия...

Старый единорог, тот, что в незапамятные времена привел свое счастливое племя на горькую Землю, очнулся в глубине пещеры. В самом начале их земного пути он удалился в это тайное место. Никто не знал, где он, жив ли вообще. Едва ступив на Землю, он понял, что совершил ошибку, душа его искала тишины, чтобы во всем разобраться. На Земле старый единорог снова стал отшельником.

В пещере — а это была древняя пещера со множеством запутанных ходов, ледяными колоннами и озерами, полными неподвижной воды — стояла такая темень, что он не мог определить, открыты его глаза или закрыты, спит он или грезит наяву. Ему казалось, он спал. И сны были всегда об одном и том же.

«Зачем вы ушли? Зачем ты увел их? Отдай мне моих детей...» — шептала в его снах Луна.

«Я хотел помочь...»

«Они все погибли!»

«Но в чем была моя ошибка?»

«Зачем ты вмешался?»

«Разве это неправильно? Помочь тому, кто нуждается в помощи?»

«Все погибли...»

«Но где я ошибся?»

Так продолжалось много дней, неотличимых от ночи, он давно потерял счет времени. В его сны проникал ужас преследуемых единорогов, но он знал, что пока не выберется из водоворота своих безответных вопросов, не сможет никому помочь.

«Возможно ли это — помочь другому? Но если нет, зачем тогда мы живем вместе? Зачем вообще живем?»

Капали невидимые капли с невидимых сводов, словно утекало в пустоту время,

и ему казалось, что времени становится все меньше, что скоро оно иссякнет, истечет совсем и наступит конец времен.

«Они не хотели быть счастливыми. Потому что несчастными быть проще. Меньше ответственности... Нет, не то... Они потеряли веру в чудо. Мы хотели вернуть им чудо. Но чудо без веры невозможно. А вера не спускается с Луны, она должна прорасти в сердце... Нет, не об этом... Мы не смогли помешать и сами погибли, тьма оказалась сильнее... Нет, так не может быть, все выходит из света и возвращается в свет. Это не конец, это только затмение на пути...»

Мысли его бежали по кругу все медленнее, все туманней, время капало все звонче, все быстрее.

«Уже неважно, в чем я ошибся. Некогда искать ответ. Нужно понять, как это исправить. Пожалуйста, не молчи!»

«Ты, наконец, готов слушать?» — тут же откликнулась покинутая Луна.

И старый отшельник вдруг осознал, что уже давно слышит лишь свой голос, безнадежно вопрошающий, одинокий.

«Говори, прошу тебя!»

«Слушай и услышь меня, неразумный мудрец! На всем Земном шаре остался один-единственный человек, что мечтает о мире. Его мечта крепка, и свет ее поднимается к небу, хотя ему совсем немного лет. Ты — единственный из моих детей, сохранивший волшебную силу. Найди его! И исполни его желание. Времени больше нет. Того и гляди, они разнесут вдребезги и Землю, и Солнце, и Бессмертное Небо!»

«Но как я узнаю, что это он?»

«Ты увидишь его глаза — и у тебя не останется сомнений. Я укажу тебе путь. Мы должны успеть!»

И отшельник отправился в дорогу. Это было самое печальное путешествие на свете: через заросшие поля, покинутые селения, через грохот выстрелов и мглу пожаров. Но горше гари и удушливое дыма был дух ненависти, царивший повсюду на Земле.

Он брел, спотыкаясь о камни на развалинах домов, проваливаясь в воронки от взрывов, задыхаясь и падая. Слезы застилали глаза последнего единорога. Когда-то такой легконогий и сильный, он едва передвигал ноги, словно старея с каждым шагом. Но Луна, не уходящая с неба даже днем, гнала его вперед, повторяя: «Не время плакать. Времени больше нет».

Он шел, почти не скрываясь: люди уже забыли о единорогах. Да и выглядел он, как обычная земная лошадь: в мертвом воздухе войны его сияние давно угасло. Но сокровенная волшебная сила еще тлела под спудом ужаса и тоски.

Он почти не верил, что доберется до цели, мучительный путь казался бесконечным. Но однажды Луна остановилась над вершиной холма и выдохнула: «Успели...»

Из последних сил он поднялся по каменистому склону и тяжело перевел дух. Внизу лежала маленькая деревенька, когда-то милая и уютная. Кое-где еще виднелись остатки белых стен и крыш из красной черепицы. Несколько чудом уцелевших одиноких деревьев простирали над пожарищами свои цветущие ветви. В мире, оказывается, была весна, но никто этого не замечал.

Жители деревни бежали куда-то, кричали, размахивая кулаками, тащили, сгибаясь от тяжести, огромные тюки... Во дворе полуразрушенного дома, прямо на земле, сидел светловолосый мальчик. Его лицо было перепачкано золой и пылью. По щекам тянулись две дорожки слез. Мальчик поднял глаза к небу, и стоящий на холме увидел их свет.

«Это он!» — воскликнул последний единорог.

«Он!» — эхом отозвалась Луна.

И в эту минуту раздался взрыв. Все заволочло черным дымом. И единорогу показалось, что мировая катастрофа свершилась у него на глазах.

Он не помнил, как оказался внизу, как отыскивал тот двор, развалины дома... Мальчик лежал на земле, раскинув руки. Глаза его были широко раскрыты, но их свет был уже непонятен и холоден, как свет далекой звезды.

Старый единорог лег рядом с мальчиком, пытаясь сквозь грохот взрывов и скрежет оружия различить тихий стук сердца, в котором жила мечта о мире. Вдруг что-то легкое, как крыло ветра, скользнуло по его гриве. Мальчик попытался его погладить! Единорог заглянул ему в глаза. Они немного потеплели и приблизились.

— Ты согрела меня, лошадка, — прошептал мальчик.

— Единорог. Я — единорог. Я могу исполнить одно твое желание. Любое. Но только одно.

— Мне холодно... Я умираю?

— Не знаю. Наверное. Кажется, да.

— Мне страшно. Я не хочу.

— Любое желание, малыш. Любое. Ты можешь пожелать остаться в живых — и никогда не узнаешь смерти.

«Что ты делаешь?! Опомнись!» — беззвучно вскричала Луна у него за спиной, но единорогу было все равно: сейчас он хотел лишь одного, чтобы этот ребенок жил. Чтобы он попросил о жизни.

— Совсем любое? Даже о-очень большое?

— Да!

— Как холодно... Ты не мог бы снова лечь рядом? Я шепну тебе на ушко.

— Да.

— Я хочу, чтобы никогда...

— Никогда не умирать, правда?

— Чтобы никогда больше не было войны, — выдохнул мальчик. И единорог заплакал.

Его волшебная сила была велика, желание тут же начало сбываться. Чудо свершилось. Бомбы прямо в воздухе становились большими румяными булками, автоматы в руках у людей превращались в букеты ромашек, танки делались большими добрыми слонами, пушки — длинношеими жирафами... Солдаты жевали теплый ароматный хлеб, и сердца их, еще минуту назад охваченные злобой, наполнялись недоумением и стыдом.

Но единорогу не было до этого дела. Он лежал рядом с мальчиком — и не мог согреть.

Незнакомые люди обнимались на улицах, дарили друг другу цветы и просили прощения. А единорог дышал на маленькие ладошки и чувствовал, что они становятся все холодней. Холодней ночи — холодней камня — холодней льда.

Все вокруг смеялись и пели песни мирной жизни, с непривычки путая слова, а единорог безутешно плакал над ребенком, уже наполовину ушедшим в землю.

Наступил вечер, и Луна зажгла посреди маленького деревенского пруда свою манящую, мерцающую дорожку.

— Пора домой, сын мой. Ты сделал все, что мог. Пора возвращаться.

— Нет!

— Поспеш! Сегодня последняя ночь, когда можно вернуться. Я закрываю ворота. Отныне лунная дорожка никуда не ведет. Это просто блеск на воде. Но ты еще успеешь.

— Я устал торопиться. Устал успевать. Устал уходить и устал возвращаться. Я хочу остановиться. Остаться. Здесь.

— Но он еще жив, твой малыш... Неужели ты не помнишь?

— О чем?

— Там, откуда ты родом, смерти нет...

Через минуту последний единорог уже поднимался по мягкой серебряной дороге. Светловолосый ребенок крепко спал у него на спине.

Сергей Белорусец

Ребячий класс

Белокочанное...

В капусте кролики сидели.
Капустой кролики хрустели.
И тут Крольчиха закричала.
Страшнее Львицы зарычала:
— Эй, Кролик, ну, хоть что-то сделай!
Не прячься за капустой белой!
Мне жить так тошно в этом хрусте!
Опять я родила в капусте!..

Прямая поставка...

Говорит
Морковка.
Мне нужна
Парковка!
Аккурат
К обеду
На козе
Подъеду...

В результате...

— Пап,
Меня —
Как мячик —
Не футбол!..
Что
Стекло
Разбили —
Не смотри...
Мы —
Зато —
Выиграли:
3:0.
— А соседке
Вызвали
03...

В который раз...

— Ну, зачем
Ты пристал
К Земле-то? —
Укоряло
Кораблик
Лето.
— Не плавучесть,
А — приставучесть...
Отвечал он:
— Такая участь!..

Гвоздь коллекции...

Есть коллекция у Кости:
Собирает Костя гвозди.
— Эй! Без лишних слов ответь-ка! —
Гость спросил у Кости — Петька —
— Гвоздь коллекции-то — где тут? —
Тот? Вон — тот? А может — этот?..
Хитро посмотрев на гостя:
— Молоток! — ответил Костя...

Что умеют лодыри...

— Что умеют делать лодыри?
Отвечайте, лоботрясы!
— Могут отдыхать до одури!
Плюс точить при этом лясы!..

Вме100 снега...

... А сегодня
Вме100 снега
К нам
В обычный
Зимний мир
100 рублей
Упали
С неба!
Я купил
Семье
Пломбир!..

Айно Первик

Как работать президентом

С эстонского. Перевод Лены Блюм

Как я писала истории про президента

Все началось так.

Однажды красивым осенним воскресеньем я гуляла со своей дочерью Пирет и ее сыном Паулем в парке Кадриорг. Мы обошли все места, где обычно гуляем. Прошли мимо Лебединого пруда. Остановились около детской игровой площадки. Пауль немного покачался, немного полазил, немного покатался на дорожке. А мы с Пирет вели беседы, стоя рядом с площадкой. Пауль, наверно, хотел бы дольше качаться, но нам надоело стоять.

Мы пошли дальше, в красивый сад президентского дворца. Полюбовались цветами и фонтанами. Потом мы прошли сквозь сад на другую сторону — туда, где растут каштаны. И втроем стали собирать каштаны. Одно очень хорошее каштановое место находится совсем рядом с президентским дворцом. Там осенью всегда много каштанов лежит на земле. Собирая каштаны, я подумала, как было бы хорошо самому президенту рано утром прийти сюда и собирать каштаны: рано утром, когда еще никто не успел собрать упавшие за ночь каштаны. И поскольку я — писатель, то у меня сразу же появилось желание написать об этом.

Вот с этого все и началось. За одной историей пришла другая, потом третья и, наконец, получалась целая книга историй, в которой рассказывается про совершенно выдуманного президента. Ни один президент ни капельки не похож на президента Понтуса. Мне даже иногда бывает немного жаль, потому что президент Понтус стал мне дорог. Но надо понимать настоящих президентов. Ведь такой закон о яйцах, который выдумал президент Понтус, все же не настоящий закон. Да и новогоднюю речь ни один в мире настоящий президент не будет произносить для птиц, животных и рыб. Хотя это было бы красиво. Да и настоящий президент на пойдёт кататься на санках с послем Фунафути. А может, все-таки пойдёт?

Но с каштанами дело обстоит на самом деле так, что это я сама с раннего детства очень хотела собирать каштаны, но там, где я росла, вообще не было каштановых деревьев. А теперь каждую осень я обязательно подбираю несколько каштанов и кладу их в карман.

Желание президента

До того как президента избрали президентом, он прожил большую жизнь. У него всегда было много работы и очень мало времени. Он никогда не мог делать того, что ему на самом деле больше всего хотелось.

Каждую осень у президента появлялось одно очень большое желание: с самого раннего детства он страшно хотел собирать каштаны. Но там, где президент жил, каштаны не росли. А когда он стал взрослым, то у него и подавно не было времени, чтобы собирать каштаны.

И вдруг в один прекрасный день его избрали президентом целой страны. В общем, он не очень-то и обрадовался своей новой должности. Ведь работа президента очень тяжелая. Никто никогда не бывает доволен тем, что делает президент.

Кроме того, теперь он должен был переехать из своего дома в президентский дворец. Ну что тут поделаешь? Такова жизнь.

Так вот, однажды туманным осенним утром президент проснулся в своем новом доме. Было очень рано, даже солнце еще не взошло. Но заснуть на новом месте президенту уже не удалось.

В конце концов президент тихонько встал с кровати и тихо оделся. Он не хотел будить других.

— Пусть они спят, — подумал он. — Зачем им мешать?.

Президент на цыпочках вышел из дворца. Он хотел совершить раннюю утреннюю прогулку по парку, который окружал дворец.

На самом деле президент не имел права куда-либо пойти без охраны, потому что в любом месте может оказаться какой-нибудь злодей, который захотел бы совершить плохой поступок в отношении президента. Но охранники спали так крепко, что президенту не захотелось их будить. На самом деле он хотел погулять в парке один. И он сделал то, что хотел.

В утренних сумерках президент гулял под большими деревьями, и ему было очень хорошо.

Вдруг что-то упало ему на голову.

— Боже мой! — испугался президент. — Все-таки надо было позвать охранников на прогулку. Ну вот, случилось: киберпреступники бросили в меня бомбу!

Но потом президент понял, что ему на голову упал каштан, который был еще в колючей шкурке. Никаких преступников в окрестности не было.

Президент осмотрелся.

— Господи, да здесь целый каштановый лес!

Под деревьями лежало множество каштанов.

Счастливый президент наклонился и стал собирать каштаны. Он заполнил ими все карманы и пошел домой.

— Теперь я каждое утро буду рано вставать и собирать каштаны, — подумал он, вытаскивая дома каштаны из карманов и укладывая их в коробку. Коробка заполнилась почти до самых краев.

Вечером после работы я сразу пойду домой и стану перебирать каштаны. А в воскресенье придет внук со своими родителями на обед. Кстати, воскресенье уже завтра! После обеда так приятно вместе с маленьким внуком мастерить из каштанов зверюшек.

Утром президент в хорошем настроении пошел на работу.

Первое, что он узнал, что он должен сейчас же ехать на целую неделю с торжественным государственным визитом в далекую Африку. Предыдущий президент эту поездку все время откладывал. Теперь это надо было осуществить немедленно, иначе сильно пострадает международное положение. Даже речь, которая на самом

деле была написана давно, еще во времена прошлого президента, пришлось репетировать в самолете, так было все срочно.

Президент расстроился. Все-таки он не мог поступить так, как ему самом ухотелось. Вздохнув, президент положил один каштан в карман своего нового костюма и поехал в Африку.

Почетный караул президента

У дверей президентского дворца в почетном карауле, друг напротив друга, всегда стоят два солдата в парадных мундирах.

У караульных белые перчатки и ружья. Караульные стоят совершенно неподвижно, как каменные статуи. Они не двигают даже глазными яблоками, не говоря о веках. Конечно, ужасно трудно и тяжело так стоять, но на это приятно смотреть. Через определенное время к двери марширует новая смена— отдохнувшие солдаты, которые, чеканя шаг, сменяют караульных.

Гуляющим в парке нравится смотреть на смену караула. Особенно радуются, конечно, те гуляющие, которые лично знают кого-то из солдат.

Как-то в воскресенье одна бабушка пришла посмотреть, как ее внук стоит в карауле перед президентским дворцом. Бабушка привела с собой собаку внука. Пока Карл Артур служил в Силах обороны, бабушка присматривала за собакой. Карл Артур — так звали внука.

На площади перед дворцом бабушка ждала смены караула, в которой был Карл Артур. Бабушка хотела сфотографировать внука в парадном мундире, а потом увеличить эту фотографию, поставить в рамку и повесить в своей комнате на стенку.

Вот бабушка и начала фотографировать. Она совсем забыла про собаку и нечаянно отпустила ее. Собака тут же помчалась к Карлу Артуру. Ведь собака так долго не видела своего хозяина! Она же не знала, что Карл Артур в данный момент выполняет ответственное задание. Собака просто была ужасно рада, что видит своего любимого Карла Артура.

Карл Артур чувствовал себя ужасно, когда огромная собака рванула к нему, прыгнула, поставила передние лапы ему на плечи и стала лизать лицо.

Карл Артур старался сохранить хладнокровие и оставаться неподвижным. Он тихонько шептал собаке, чтобы та отстала от него.

Все удачно запечатлелось на фото, потому что бабушка в это время фотографировала. Момента, когда собака Карла Артура побежала к нему, бабушка на самом деле не заметила. Но потом она поняла, что случилось, и поспешила к собаке, чтобы забрать ее.

Как раз в это время на дворцовой площади остановились красивые лимузины. Из них вышел президент и важные иностранные гости, которым президент показывал Старый город.

Советник президента, который отвечал за порядок, от страха превратился в соляной столб. Ситуация была действительно крайне неудобной.

Карл Артур, собака и бабушка перед дверью дворца представляли собой шумную компанию, на которую глазели зеваки. И все это происходило на глазах президента и важных иностранных гостей.

Спокойствие сохранил только президент. Он поднялся по ступенькам к несчастному Карлу Артуру и спросил:

— Это твоя собака, служивый?

— Так точно, господин президент! — ответил в отчаянии Карл Артур.

— Как зовут собаку? — спросил президент.

— Понтус, господин президент! — ответил Карл Артур и покраснел как клубника.

Ему хотелось от стыда провалиться сквозь землю, потому что президента ведь тоже звали Понтус.

— Ты смотри, мой тезка,— ухмыльнулся президент и потрепал загривок собаки Понтус.

А бабушке президент сказал:

— Надо все же Понтуса увести. У меня сейчас гости. Они боятся войти во дворец. Такая большая и замечательная собака!

Бабушка тоже хотела ответить:

— Так точно, господин президент! — но вспомнила, что она не военнослужащая. Поэтому она только кивнула головой и сказала:

— Да, конечно.

Во всяком случае, бабушка не потеряла голову. Она быстро сфотографировала президента и Карла Артура и потянула Понтуса от хозяина.

Народ вокруг смеялся. Смеялись и иностранные гости, когда переводчик объяснял им, что происходит. Труднее всего было, конечно, второму караульному. Он с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться. Он посинел от напряжения, но остался серьезным и неподвижным. За это потом он получил от начальства благодарность.

Закон президента о яйцах

Самое тяжелое в работе президента — это провозглашение законов.

Происходит это так: вначале закон готовят в парламенте, а затем уже президент должен решать, плохой это или хороший закон. Для этого президент должен прочитать все скучные законы. Если все в порядке, то президент может провозгласить закон. Только после этого закон приобретает законную силу. Однажды президенту принесли новый закон. Он был о яйцах. В законе было написано, какие яйца можно посылать за границу для продажи, а какие можно продавать в магазинах своей страны.

Президент любил съесть на завтрак сваренные всмятку яйца, в которых желток был красивого желтого цвета. Президент ел яйца с маслом и без соли. Но об этом в законе о яйцах ничего не было сказано. У нас свободная страна, и каждый ест яйца так, как хочет. Если не хочет, то и не ест. Ограничений в этом нет. Те яйца, которые не будут съедены на родине, можно было бы отправлять за границу для продажи.

Так думал президент.

На самом деле, все было еще сложнее. Президент из-за этого закона оказался в трудном положении. Он думал, что можно продавать разные виды свежих и целых яиц. И везде. Оказалось, что все-таки нельзя. Продавать можно было только яйца тех кур, которые живут, как принцессы, в прекрасных курятниках и которые там очень счастливы. Только тогда они смогут высиживать красивые яйца. Яйца грустных кур не годятся. Президент задумался, как изменить жизнь кур к лучшему. И поскольку в университете он изучал строительное дело, то точно знал, какие должны быть курятники. Но он не знал, как сделать кур счастливыми.

Президент попросил принести ему книги, в которых говорится о курах и их счастливой жизни. До того как провозгласить закон, следовало хорошо изучить эту тему.

Оказалось, что закон о яйцах имеет недостатки, потому что в нем ничего не говорится о том, как поднять у кур настроение. Президент оставил закон непровозглашенным. Президент дал указание внести в закон поправки. Например, курам следует показывать фильмы о птицах и играть им хорошую музыку. Было бы еще лучше, если бы они смогли услышать кудахтанье кур других стран. У них могла бы быть связь по интернету, и тогда они могли бы получать новости о жизни кур в других странах. Еще куры могли бы заниматься аэробикой, и для них можно было бы проводить конкурсы красоты. Ведь у коров и собак есть конкурсы красоты, почему же нельзя выбрать королеву красоты среди кур? В любом случае серые будни кур надо сделать яркими и веселыми. Может быть, тогда они станут нести цветные яйца? Нап-

пример, к Пасхе. Благодаря этим цветным яйцам наша страна могла бы прославиться во всем мире.

Президент был рад и очень доволен, когда работа была сделана. Он послал закон обратно в парламент, чтобы депутаты смогли его обсудить еще раз.

Президент и африканский король

Король соседнего государства пригласил президента и его жену на свадьбу принцессы. Президент и его жена представляли нашу республику.

Свадьба была грандиозной.

Принцесса выглядела очень красиво в белом платье со шлейфом, в нежной фате со свадебным букетом из редких африканских цветов.

Жених был сыном одного из африканских королей. На женихе был мундир моряка с золотыми пуговицами. Хотя королевство отца жениха находилось посередине Африки, далеко от всех морей, но военно-морской флот у них все же был. Просто из гордости.

Королю безумно нравились корабли, и у него был тайный план покорить одно из приморских государств Африки, которое он хотел подарить сыну как свадебный подарок. Там же король хотел держать и свой военно-морской флот.

Этот африканский король после подошел в саду к нашему президенту.

— Я знаю, где находится ваше государство, — сказал он президенту. — Я хочу заключить с вашим государством договор о дружбе.

— Почему нет? — ответил вежливо президент.

— Я хочу послать свой военно-морской флот к вам на учения, — сказал король.

— Пожалуйста! — ответил президент.

— У меня есть корабли, — сказал король. — Но я хочу их зарегистрировать в вашем государстве.

В международном морском праве написано, что у всех кораблей должен быть свой родной порт. Все корабли должны быть приписаны к своему родному порту. Но у государства африканского короля портов не было, поэтому ему надо было найти для своих кораблей порт приписки где-то в другом месте.

— Сколько у вас кораблей? — спросил президент.

— Пока ни одного, — ответил король. — Но я собираюсь их купить, несколько сотен штук. Боевые корабли, подводные лодки, авианосцы.

Президент очень удивился.

— Зачем вам так много военных кораблей? — спросил он. — Все эти корабли не поместятся в наших портах. У нас маленькое государство.

— Я не оставляю надолго свои корабли в ваших портах, — сказал африканский король. — Скоро я отправлю их к побережью Африки. Мне там надо проверить одно дело. А вам я подарю в Африке охотничий замок. Давайте поедem на охоту на слонов! Договорились?

Сказал и тут же ушел. Этот африканский король был очень энергичным человеком. Теперь он захотел немедленно покупать корабли. На родине принцессы было много судостроительных заводов. Вот и пошел африканский король искать промышленников, которые строят корабли. Некоторые из промышленников были приглашены на свадьбу.

А президент стал размышлять.

Президент догадался, что африканский король задумал войну. И если он будет сотрудничать с королем, то и наше государство будет втянуто в войну. А президенту это совсем не понравилось. Да и охотничий замок вовсе не привлекал президента. У президента не было никакого желания ехать в Африку стрелять слонов.

Президент рассказал о своей тревоге жене.

— Охотничий замок — это ведь взятка, — испугалась жена президента. — Взятка — это противозаконно! И охота на слонов также противозаконна! Слоны находятся под охраной природы. Ты должен сказать, что не можешь принять флот и корабли!

— Ну да, — сказал президент в замешательстве. — Но я уже поспешил пообещать!

— Тогда ты должен придумать ложь во спасение, — посоветовала жена президента. — Скажи, что в наших портах очень мелко и военные корабли не смогут там плавать.

Вот и пошел президент искать африканского короля. Вранье, по мнению президента, — это ужасно, но он не мог придумать ничего другого, что могло бы спасти от военного союза и военных кораблей африканского короля.

Вокруг африканского короля собрались журналисты. Все уже знали, что короля на его родине только что свергли с трона. Король, который жил в соседней стране, со своими войсками вторгся в королевство, завоевал столицу и сверг короля.

Свергнутый африканский король заметил президента и грустно помахал ему рукой.

— Похоже, что наша охота на слонов пока не состоится, — крикнул он. — Я больше не богатый король. Я — бедный беженец.

— Ну да, — ответил президент. — Жуткая история.

На самом деле президент был очень рад, что таким образом наша республика спасена от всяких сомнительных дел. Да, и еще хорошо, что президенту не пришлось лгать. Ложь очень не нравилась президенту. Серьезная опасность, может, и позволяет солгать во спасение. Конечно, только в крайнем случае, если иначе никак нельзя. Например, если надо спасти свое государство от войны.

Президент и посол Фунафути

Однажды утром пошел снег. Он падал и падал. Шел целый день. К вечеру покрыл землю толстым слоем. А снегопад все продолжался.

Вечером президент принимал нового посла острова Фунафути. Это было торжественное событие. Вдруг зазвонил личный мобильный телефон президента, номер которого знали только члены семьи президента. Существовала договоренность, что звонить можно в крайнем случае, когда дело касалось вопросов жизни и смерти. Ведь звонок мог случиться в такой момент, когда у президента проходит очень важная представительская встреча. Именно такая сейчас и была.

Президент вынул мобильный телефон из кармана и посмотрел на него. Звонившим был внук президента. Президент испугался. Он подумал, что внук попал в страшную беду и его надо срочно спасать.

— Извините! — сказал президент послу Фунафути и приложил телефон к уху.

— Дедушка! — сказал внук милым голосом. — У меня очень важное дело!

Президент нахмурил брови.

— Какое? — спросил он.

— У меня сейчас ужасно тяжелое положение! — сказал внук жалобным голосом и выкрикнул, — Идет снег! Пожалуйста, пойдем кататься на санках, совсем немного! Пожалуйста, пожалуйста! Ни у кого нет времени пойти туда, где можно покататься, а около твоего дворца есть горка!».

— Я позвоню тебе, — сказал президент и отключил телефон.

На самом деле президент очень хотел выйти на улицу в снегопад. Так приятно было немного покататься с внуком на санках! Но ведь надо было выполнять работу президента. Надо было принять верительные грамоты посла острова Фунафути, а затем побеседовать с ним.

Президент сказал на ухо своему адъютанту, чтобы тот отправил водителя за внуком. Затем он опять обратился к послу Фунафути. Посол зачитал ему все, что в

таких случаях полагается зачитать и сказать. А президент отвечал в соответствии с протоколом.

Президент вежливо спросил у посла, работал ли он раньше послом в скандинавских странах.

— Это вообще мое первое назначение! — сказал посол Фунафути. — Северные страны очень интересны. Здесь идет снег. На нашем острове никогда не было снега. Там все время тепло.

— А знаете! — сказал президент. — Мы могли бы пойти посмотреть, что дети нашей страны делают с первым снегом.

И президент взял посла с собой на снежную горку!

Внук уже был на месте. Внук был очень рад, что дедушка будет с ним кататься на санках. Он был еще маленьким, и родители не пускали его одного кататься на санках. Мало ли что может с ребенком случиться.

Послу Фунафути было интересно посмотреть на катание с горы. Внук президента одолжил ему свои санки, чтобы он почувствовал, как это — кататься на санках с горки. Посол гудел, сидя на санках, как горн. Он сказал, что так на его острове выражают восторг. Например, если кто-то поймает большую рыбу, то он начинает шуметь, чтобы все узнали об этом и смогли порадоваться вместе с ним.

Потом президент показал послу, как надо лепить снежки. И это очень понравилось послу. Они все стали играть в снежки. Охранники и адъютант, посол и президент, и внук. И все другие дети на горке.

— Я в восторге! — сказал посол Фунафути, прощаясь, и еще раз погудел.

Новогодняя речь президента

Репетировать новогоднюю речь надо было уже с Рождества. Вообще-то так рано и не надо было начинать, но речь должны были снять для телевидения. Это делалось за несколько недель до Нового года. Не будет же президент в последний час года выступать перед телекамерой с речью. И у президента этот день выходной. Президент тоже хотел встретить Новый год со своей семьей и милым внуком. Президент получил от советника речь. Он прочитал ее. По мнению президента, речь была написана ужасно скучно.

— Почему моя речь такая скучная? — спросил президент. — Ведь это никто не захочет слушать!

— Никто и не слушает вашей речи, — ответил советник. — В новогодний вечер у людей хватает своих забот. Люди встречают Новый год.

— Тогда зачем вообще нужна эта речь? — спросил президент.

— Такой обычай, — ответил советник строгим голосом. — Президент должен пожелать своему народу хорошего Нового года!».

Что поделаешь, президент вынужден был начать репетировать свою скучную речь. В назначенное время пришли люди с телевидения, чтобы записать речь из президентского дворца.

Президент побрился, почистил зубы и надел новый костюм.

Президенту прикрепили к воротнику рубашки маленький микрофон и посадили за стол в нужной строгой позе. Вокруг все было очень торжественно. Зажгли прожектора и подали знак, чтобы президент стал читать свою речь.

Президент глубоко вздохнул и начал:

— Дорогие соотечественники! Мои дорогие звери в лесах и коровниках, дорогие птицы в воздухе и на земле, дорогие рыбы в водоемах, дорогие люди! Я выступаю перед вами, мои дорогие живые существа, ну и что, что вы меня не слушаете! Я — ваш президент. В последнюю минуту уходящего года я хотел бы быть вместе со всеми вами в заснеженном лесу на берегу озера. Вокруг стояли бы, сидели и лежали рядом люди и звери. На ветках деревьев свои места заняли бы птицы, а из озера смотрели бы на нас

рыбы. И тогда при свете луны мы стали бы от всего сердца поздравлять друг друга с Новым годом. По-настоящему.

Советник, слушая речь президента, побледнел. Он подумал, что президент сошел с ума и что в государстве надо срочно менять президента.

После этого президент зачитал еще и скучную речь.

Телевизионщикам очень понравилось, что президент обратился и к птицам, и к животным, и к рыбам. Так было бы здорово вместе с президентом и прочими живыми существами пойти при свете луны в заснеженный лес. По-настоящему. К сожалению, эти места пришлось из речи вырезать. Этого требовали разгневанные советник и премьер-министр.

Премьер-министр запретил рассказывать о том, что президент в новогодней речи обращался к птицам, зверям и рыбам. Премьер-министр сказал, что это — государственная тайна.

Хотя все старательно держали в секрете эту государственную тайну, все же после этого случая президента стали называть президентом птиц и зверей. Одни считали, что это глупо, а другие, что это — здорово!

Шапочка президента

У президента был день рождения.

Рано утром в день рождения жена президента накрыла красивый стол. На столе был торт, который жена президента тайно испекла ночью. Торт был со сливками, халвой и с брусничным вареньем. Это был любимый торт президента.

На торте стояла, конечно, свеча. Одна единственная свеча. Столько свечей, сколько лет исполнилось президенту в этот день, никак не поместились бы на торте. Были цветы и подарок. Жена президента подарила ему книгу, о которой президент мечтал. Это была толстая и дорогая книга, в ней было много фотографий. Это была книга по истории.

Днем на работу к президенту пришло много людей поздравить его с днем рождения, принесли цветы и подарки. Президент не успевал разворачивать все подарки. Только поздно вечером президент смог отпраздновать день рождения со своей семьей.

Президент опять получил подарки. Ему подарили компакт-диск и шелковый галстук. У внука тоже был для президента подарок. Подарок был в коробке. На коробку были наклеены картинки со зверями. Коробка была перевязана синей ленточкой.

— Ну что же тут может быть? — спросил президент.

— Открой — сказал внук. — Там для тебя сюрприз.

Президент развязал ленточку и открыл коробку. И достал сюрприз.

Сюрпризом была мягкая шерстяная вещь. Шерстяная вещь была в полоску красно-желто-сине-зелено-бело-оранжево-сиренево-черного цвета.

— Что это? — спросил президент.

— Надень на голову! — сказал внук. — Это шапочка. Я сам связал.

Президент надел шапочку на голову.

— Ну, как я выгляжу? — улыбнулся он.

Все сказали, что шапочка очень ему идет. Президент пошел в прихожую посмотреть на себя в зеркало. Внук пошел с ним.

— Тебе нравится? — спросил он с тревогой. — Там получились узелки.

— Очень нравится, — ответил президент. — С узелками как раз интереснее.

— Не слишком маленькая? — спросил внук. — Я не успел связать шапочку большого размера. Ведь вязание — ужасно тяжелая работа.

— Совсем не маленькая, — сказал президент. — Главное, чтобы затылок поместился в шапочке.

— Будешь ли ты носить эту шапочку? — спросил внук.

— Ну конечно, буду, — ответил президент.

В следующее воскресенье президент участвовал в майском забеге. Стало уже традицией, что президент каждый год принимает участие в майском забеге. Участие президента добавляло этому спортивному событию торжественности. Некоторые люди только поэтому и приходили на забег, чтобы пробежать вместе с президентом.

Народа было много. Люди пришли со своими детьми. Президент был вместе со своим внуком. Вместе с ними были, конечно, и охранники. Охранники были особенно хорошими бегунами, но далеко от президента они все же не убегали. Они должны были бежать недалеко от президента.

Фотокорреспонденты сразу стали их фотографировать. Особенно фотографов привлекала шапочка президента. На голове президента была разноцветная и очень маленькая вязаная шапочка. Кстати, все смотрели с интересом на эту шапочку.

На следующий день в газетах, по радио, по телевидению и в интернете только и было разговоров, что о шапочке президента. Всюду приводились мнения специалистов по шапкам. Все специалисты, кроме одного, единодушно посчитали, что шапочка на голове президента — ужасная, и что это полная катастрофа, потому что все иностранцы будут теперь смеяться над нашим государством. А тот специалист, который не сказал ничего плохого об этой шапочке, стал вскоре вязать такие же шапочки и продавать в своем магазине.

Кстати, узелки было очень трудно делать.

Полосатые вязаные шапочки после майского забега стали очень модными. Даже летом в теплую погоду все носили маленькие шапочки, связанные с узелками. Особенно шапочки понравились туристам, которые покупали их как сувенир и увозили к себе домой. Ведь такие шапочки больше нигде не продавались.

Президент и диктатор

Президент поехал в одну страну с государственным визитом.

Государственный визит — это очень торжественное посещение другого государства, во время которого президент или правитель одного государства принимает президента или правителя другого государства. Во время государственного визита президента всегда сопровождают разные важные персоны. И конечно, супруга президента.

На этот раз президент поехал с визитом на один далекий южный остров, где правил диктатор. Диктатором называют такого правителя, который делает в своем государстве что захочет и совершенно не заботится о своих подданных. Он ни в коем случае добровольно не отдаст власть. Некоторые диктаторы крайне жестоки и капризны, они беспощадны к своим подчиненным. Тех, кто осмелится противоречить диктатору, сразу же сажают в тюрьму. У диктаторов все тюрьмы заполнены заключенными. Поэтому президент вообще не хотел туда ехать. Но советник президента по торговле сказал, что визит на остров очень нужен. Потому что наши бизнесмены хотят покупать там кофе и какао, а продавать — молочный порошок. Ведь бизнесмены этого острова не виноваты, что там властвует диктатор. Во время государственного визита деловые люди могли бы встретиться и поговорить о своих торговых связях. Так они и полетели на самолете на далекий остров. Колонна машин доставила их с аэродрома в великолепное поместье диктатора.

— Добро пожаловать! — сказал диктатор на чистом эстонском языке, стоя на лестнице поместья.

Президенту было приятно, что диктатор выучил приветственные слова на эстонском языке. Сам президент довольно хорошо знал французский язык, на котором говорили на этом острове. К сожалению, он не успел ничего сказать, потому

что вдруг на нос диктатора села пчела. Пчела ужалила диктатора. Нос стал распухать и становиться все больше и больше. Диктатор застонал, и адъютант быстро отвел его в дом.

Конечно, все были напуганы, особенно супруга диктатора. Но не прошло и минуты, как диктатор в хорошем настроении вернулся обратно. Нос был совершенно в порядке.

— Labas! — бодро воскликнул диктатор и потряс руку президента.

Президент немного смутился, потому что диктатор приветствует его второй раз и почему-то на литовском языке.

Но президент не отреагировал на это, только сказал в ответ:

— Bonappetit!

В замешательстве он сам не понял, что произнес. На самом деле президент очень хорошо знал, что «Bonappetit!» означает на французском языке «Приятного аппетита!», и это говорят перед едой. Но диктатор никак не отреагировал на его слова. Он похлопал президента по плечу и пригласил в дом.

Диктатор и президент пошли на переговоры. Позже у них была запланирована перед телекамерами пресс-конференция. Супруги президента и диктатора выпили кофе и поговорили на английском языке. После этого они поехали в детский сад. Дети пели и танцевали для них и были очень милы. Супруга президента подарила детскому саду большую куклу в национальной одежде ее страны, которую она специально взяла с собой. Кукла всем очень понравилась.

Только супруга диктатора даже не посмотрела на куклу, отошла к окну и стала разговаривать по мобильному телефону. То, что она услышала, похоже, ее испугало, потому что лицо супруги диктатора побелело.

Когда они возвращались в машине обратно, супруга президента спросила у супруги диктатора:

— Что-то случилось?

На глаза супруги диктатора навернулись слезы. Вначале она не ответила. А потом произнесла:

— У моего мужа ужасная аллергия на укус пчелы. Он все еще без сознания. Врачи не могут сказать, останется ли он жив.

— Но ведь он сейчас дает пресс-конференцию, — воскликнула супруга президента.

— Ах, этот... — сказала супруга диктатора и заплакала. — Это — его двойник. У моего мужа несколько двойников. Они ходят в те места, куда моему мужу ходить опасно. Ведь у него так много врагов, которые хотят на него напасть, его свергнуть и убить. Наверняка эту пчелу выпустил кто-то из его врагов.

Супруге президента стало жаль супругу диктатора. И она поняла, какая она счастливая, потому что ее мужу не нужны двойники. Ведь ее муж никакой не диктатор, а президент свободного государства свободной страны. Ну и что, что не все и не всегда им бывают довольны, а в прессе иногда жалуются, если какое-то решение президента кому-то не нравится. По крайней мере, его супруга не должна все время дрожать за жизнь мужа-президента. Ведь на следующих выборах совершенно спокойно можно будет выбрать другого президента.

*Редакция благодарит издательство KPD (Эстония)
за предоставленное право публикации глав из книги
А.Первик «Как работать президентом»*

Книга моей жизни

«Я очень рекомендую вам этот шедевр!»

Мы продолжаем сотрудничать с нашими постоянными авторами — учителями литературы и школьниками из г. Белгорода.

В этом номере — сочинения учеников 6 «в» класса лицея № 38 на тему «Книга моей жизни». То, что для писателей — участников «круглого стола» — их детство, для этих детей — целая жизнь

Стефания

Я очень люблю читать. Я читаю все время когда мне скучно. Моя книга это «Коты воители». Я очень люблю животных, но в этом произведении есть горечь, ярость и слезы. В этой книге коты забились в свои стаи, дерутся, воюют за территории. Эта книга заставила меня задуматься какой суровый бывает мир. Отвергая своих, в них задерживается ярость и отчаяние. Коты в этом рассказе представляют и описаны как люди, и вся алчность, война и недоверие к другим. Вообще эти книги не для детского возраста. Этот смысл, задержанный в рассказе, надо обдумать и понять. Ведь не каждый может понять и исправиться. Но мы не знаем какая сторона та.

Илья

Я очень полюбил книгу «Вий» написанную Н. В. Гоголем. Я эту книгу посоветовал прочесть друзьям, после чего они были в восторге. И она понравилась моей семье. Жанр этой книги — ужас, фантастика. Эта книга о том как Паночка летала в гробу и пугала священника, пока тот ей читал молитву.

Антон

Книга моей жизни — «Хоббит». «Хоббит» — очень интересная книга, познавательная. Жанр этой книжки — путешествие. Я люблю читать книги с таким жанром. Книга повлияла на меня то, что не надо сидеть дома, а лучше гулять, путешествовать, ходить в лес. Эту книгу мне посоветовал Папа.

Ксения

Сейчас никто не читает бумажных книг, а все читают электронные. Я считаю это не правильно. Мне нравятся книги о Гарри Поттере. Больше всего мне нравится «Гарри Поттер и философский камень». В ней Гарри только узнает, что он волшебник и зачислен в школу волшебства «Хогвартс». Приехав туда он находит себе друзей. Гарри очень нравятся уроки. На них они учатся колдовать и узнают о магических существах и растениях. Но вскоре Гарри приходится встретиться с самым могущественным волшебником — Волан де Мортом. С помощью своих верных друзей Гермионы и Рона он одолевает его и забирает философский камень. Вот так дружба помогает одолеть зло. Вот какие бывают интересные книги!

Дмитрий

Я хочу представить вам книгу В.Бианки «Синичкин календарь». В этой книге рассказывается как живут птицы. Какие они бывают, как они спорят или поют. Эта книга очень познавательная и учит запоминать как выглядят птицы на картинках. Мне эта книга дорога и любима. Книгу мне посоветовала прочитать мама, ведь и она тоже читала эту прекрасную книгу. Я рекомендую ее вам прочитать.

Ирина

А я хочу представить вам мою любимую математическую книгу «Три дня в Карликании» написанную Владимиром Левшиным и Эмилией Александровой. Эта книга попала ко мне необычным образом. Однажды мама пошла в библиотеку поменять книги и увидела эту замечательную повесть. Она принесла ее домой.

Эта книга простояла у меня на полке месяц, пока мама не взяла ее вечером и начала читать мне вслух. Я слушала ее и мне было так интересно, как закончится эта книга. Правда в этот вечер мама не смогла дочитать повесть до конца и я легла спать. Даже во сне я придумывала конец этой необычной и интересной истории. На следующий день я попросила родителей купить мне новую книгу из этой серии, так как эту я уже дочитала. Теперь на моей полке стоит семь книг из этой серии. Благодаря этим книгам я хочу связать свою жизнь с математикой.

Анастасия

Я очень люблю читать. Чаще всего я читаю энциклопедии. Читая их. Я всегда узнаю что-то новое. Читать энциклопедии очень интересно, ведь мы узнаем о том, что было раньше и может быть то. Что было в будущем. Например, можно узнать. чем питались динозавры, как они выглядели, кто придумал первый компьютер и т. д.

Я всегда читаю о животных, потому что больше всего на свете, после родителей, я люблю животных.

Олег

Очень большое значение в моей жизни имеет книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Эта книга о том, как восемнадцатилетний Крузо очень любил море и хотел отправиться в плавание. Ему это удалось, но все случилось не очень хорошо, был сильный шторм, корабль врезался в камни, и Крузо остался лишь один из всего экипажа. Поблизости был остров, к которому он подплыл и много лет выживал там. После прочтения этой книги я чаще стал просить родителей куда либо ездить на коникулах. И я каждый раз беру эту книгу и читаю в поездке.

Анастасия

В мире много интересных книг. С ранних лет я помню, как мама читала мне сказки Г.—Х. Андерсена. Больше всего мне понравилась сказка «Стойкий оловянный солдатик».

Сказка очень грустная, в ней погибают солдатик и танцовщица. Но все равно побеждает любовь. Главный герой остается верен чести до конца.

Во всех испытаниях солдатик несмотря на свою неустойчивость был стойким духом. Счастье не дается даром. Его надо выстрадать, пройти через искушение, победить зло и достойно выдержать испытания.

Я училась у главного героя: смелости, доброте, мужеству, нежности. любви. Я поняла, что надо противостоять событиям внешнего мира, чтобы внутренний мир не рухнул.

Карина

В моей семье читают не только произведения художественной литературы. Нас еще очень интересует биография писателя: где он родился, жил и умер. Так как наша семья очень любит путешествовать, мы решили по инициативам мамы создать литературную карту, чтобы на ней отмечать, в каких городах находятся музеи поэтов, писателей, деятелей искусства. И когда мы приезжаем в какой-то город, мы уже знаем, какие нам надо посетить музеи. Например, в Москве находится знаменитый музей А.С.Пушкина, в Екатеринбурге есть музей К.И.Чуковского, а в Орле можно найти музей замечательного писателя И.А.Бунина. А вот недавно мы познакомились с И.С.Тургеневым и я узнала, что Спасское-Лутовиново находится недалеко от Белгорода. Мы с классом думаем его посетить.

Владислава

Мы с моей семьей очень любим читать вместе. Активные читатели в моей семье: бабушка, мама, папа, сестра, брат и я.

В 5-м классе я решила провести наблюдения, что читали великие русские писатели и что читаю я.

Александр Сергеевич Пушкин — воспитанный в литературной семье, одаренный величайшей памятью в 11 лет знал всю французскую литературу. Мне сейчас как раз 11 лет, но нужно сказать, что я знаю сейчас — это малость по сравнению с тем, что знал писатель.

Второй поэт о котором я хочу рассказать — это Леонид Николаевич Андреев. Он читал зарубежную литературу, придумывал героев своих будущих рассказов, и они жили в его разуме вместе с произведениями Льва Николаевича Толстого, Майн Рида. Я тоже умею фантазировать, придумывать героев рассказов, но мне не удавалось придумывать таких интересных и поучительных героев, каких придумывал он.

Я сделала вывод, что круг интересов может совпадать. Читайте больше! И пополняйте свой кругозор!

Ольга

Самая любимая книга в моей жизни была «Морозко». Первый раз мне прочитала ее мама и сестра, когда мне было четыре года. Но мне хотелось ее самой прочитать.

Наступило лето. И я выросла. Мама посадила меня за стол и сказала: «Выбирай себе книгу и садись, читай». И я взяла книгу «Морозко». Но сначала я долго на нее смотрела. И решилась. Возьму ка я эту книгу. Она мне очень понравилась. Я так много раз ее читала, что запомнила наизусть. И теперь это книга моей жизни.

Арина

Книга в жизни человека значит очень много. Благодаря ей люди узнают новую информацию, грамоту, учатся жизни. Например из-за книги «Приключения Гулливера» Джонатана Свифта я научилась тому, что нельзя отступать, а нужно стоять до конца. Именно из-за книги человек стал грамотным, потому что узнавал новую полезную для себя информацию и применял ее в жизни.

Книги бывают разных жанров: фантастика, классика, детективы, энциклопедии и многие другие. Каждый жанр полезен по своему. Вот классика это рассказы, стихотворения разных известных русских писателей, которые учат нас жизни. Энциклопедии помогают узнавать много нового о мире и вселенной.

Я увлекаюсь фантастикой. Одни из самых моих любимых книг — это «Теннистый лес», «Сбежавший тролль» Мэтт Хейг, произведения Евгения Гаглыева «Зерцалия» всех томов и многие другие.

Мои родители тоже любят читать. Иногда мы даже обсуждаем прочитанные нами книги. Благодаря родителям я прочитала очень много книг, потому что их мне посоветовали прочитать именно они.

Настя

Я хочу представить книгу на моей книжной полке «Тимур и его команда». Впервые я увидела эту книгу на книжной выставке в библиотеки нашего Лицея. Как-то невольно потянулась моя рука к книге. Мне почему-то захотелось ее прочитать. Листая страницы этой повести я узнала, что она была написана в 1940 году. После этого повесть много раз переиздавалась. Так и началось мое знакомство с этой книгой.

Главные герои повести —девочка Женя и мальчик Тимур. Дети в тайне от взрослых организовали в сарае штаб. Они помогали больным и пожилым людям. Рядом с ними жили квакинцы. Квакинцы ничего хорошего не делали. Они только разрушали сады и нарушали покой граждан. От таких людей надо держаться подальше.

У героев этой книги есть чему поучиться. Листая страницы за страницей мне бы хотелось узнать, что же будет на следующей. Я порекомендовала прочитать это произведение моим одноклассникам. Я не хочу, чтобы такая интересная книга одиноко стояла на полке.

Максим

Недавно я поставил на свою книжную полку книгу А. Дюма «Три мушкетера». Когда я ее прочел, то пришел в неописуемый восторг! Жанр этого произведения приключенческий роман. Меня радует тот факт, что в этой книге события развиваются быстро, но вместе с тем книга довольно длинна (около 600 страниц). Главные герои произведения — три бравых друга Атос, Портос и Арамис. Позже появляется четвертый — Д'Артаньян. Эти герои остаются до конца верными королю и друг другу. Я считаю книга может научить нас многим хорошим мужским качествам таким как мужество, благородие, настойчивость Книга Дюма настолько увлекательна и интересна, что и после 100 лет своего существования она считается эталоном приключенческих романов. Я очень рекомендую вам этот шедевр!

*Приносим благодарность учителю лицея № 38
г. Белгорода Зое Сергеевне РУБАНОВОЙ*

Владимир Ермаков

Друг без друга

В поисках утраченного чувства

Печален я: со мною друга нет...

Александр Пушкин

Древнегреческий философ Эпикур, учивший людей жить и радоваться, свои убеждения основывал на добрых чувствах, из которых первейшим полагал взаимное расположение хороших людей. *Из всего, что составляет счастье жизни, самое важное — обладание дружбой.* Как это часто получается в философских максимах, сказанное самодостаточно. Доказать это убеждение нелегко, а опровергнуть еще труднее. Собственно говоря, все нижеследующее в методологическом плане не рассуждение, а утверждение дружеского чувства как жизненного стержня гармонически развитой личности — и сожаление об утрате дружбы как житейского фактора в нашем потребительском обществе. Так что если кто априори согласен с этим тезисом, читать дальше — зря тратить время. А кто не согласен, тем более.

Что же все-таки составляет наше счастье? Ясно, что не вещи как таковые. Не жратва от пуза, не шмотки из модного бутика, не крутые тачки и не гаджеты с наворотами... А что тогда? Скажете: власть! богатство! слава! Оставьте... *стоит* получше присмотреться к людям карьеры, и восхищение жрецами своего величия сменится состраданием или отвращением к жертвам собственного тщеславия. Это несчастные существа, до печенок изъеденные отчуждением и ожесточенные взаимной враждой: *люди друг без друга.* Скажете: любовь!.. тут возразить трудно. Но любовь, как и судьба, в разумение не дается. Даже в самой банальной love story страсти закручивают фабулу в такой драматический сюжет, что никому мало не покажется. А в настоящей любви, выдержавшей испытание временем, ослабление эротической страстности возмещается возрастанием дружеской доверительности. Так что о любви разговор особый...

Когда социологи ничтоже сумняшеся говорят о качестве жизни, я не очень понимаю, что имеется в виду. Само собой разумеется, что производство и потребление всякого и разного на душу населения имеет немаловажное значение в устройстве повседневности. Но все-таки есть вещи важнее, чем работа и зарплата. Основным критерий качества жизни — уверенность в том, что живешь не даром. То есть чувство глубокого удовлетворения. Если в жизни нет радости, то в прочем мало смысла. Количество потребленного будет мало влиять на качество прожитого.

Что из этого следует? Возможность счастья не в количестве и не в качестве возможностей, а в устройстве личности. Смысл не в сути вещей, а в сущности жизни. Хочешь быть счастливым — работай над собой. Счастье есть понятие не эпистемологическое и не экзистенциальное даже, а прежде всего и главным образом этическое. Счастье является благом; это значит, что ощущение благоденствия неразрывно

связано с осознанием нравственного достоинства. Аристотель относит дружественность к разряду добродетелей; более того, выделяет ее из ряда и определяет как «самое необходимое для жизни... никто не выберет жизнь без друзей, даже в обмен на все прочие блага... даже у богачей и у тех, кто исполняет должности начальников и власть государя, чрезвычайно велика потребность в друзьях» (Аристотель «Никомахова этика»: 1155а). Друзья нужны не только и не столько для пользы житейского дела, но главным образом для совершения *прекрасных поступков* (так в трактате), ибо люди, дорожащие друг другом, способнее и к сердечному участию, и к бескорыстному действию.

Столь же высоко ставил идеал дружбы Платон. В смысле *платонических отношений* дружеские чувства обладали безусловным приоритетом. Впрочем, в отношении того, способны ли к дружбе сильные мира сего, Платон резко расходится с Аристотелем. «С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам, а когда сами в чем-то нуждаются, так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего, они опять с ним чужие... За всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями; они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве: тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы» (Платон «Государство», кн. 9). Дружба — завидный удел достойных людей.

Однако античная мысль, склонная к полемике, положила внутренний предел дружеским отношениям. *Платон мне друг, —* заявил Аристотель, потеряв терпение в затянувшихся прениях, *— но истина дороже.* Ибо для философии истинность — суть действительности. Этим разрывом, надо полагать, надорвалась античность, не сумев согласовать резоны разума и сердца. Пришли иные времена, поставившие на повестку дня другие проблемы. *Что есть истина?* — спросил римский чиновник иудейского проповедника. Две тысячи лет человечество выясняет, что хотел сказать Иисус, ничего не ответив Пилату.

Апостолы, составлявшие дружеский круг Иисуса из Назарета, проповедовали благую весть как обетование лучшей жизни, основанной не на ясной истине, а на чистой любви. Причем, как уверял самый авторитетный из евангелистов, — «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, 15: 13).

Скажи мне, кто твой друг, и скажу тебе, кто ты. Друг — другой, но свой по судьбе. Так у Даля: «другой, в значении такой же, равный, другой я, другой ты; ближний, всякий человек другому». В тексте статьи Даль различает дружбу в добром смысле (*бескорыстная стойкая привязанность, основанная на любви и уважении*) и в дурном (*тесная связь, основанная на взаимных выгодах*).

Старомодное выражение *дарил своей дружбой* непосредственно определяет характер дружеского отношения как *дарение*. Именно в аспекте бескорыстия видится подлинность дружеского чувства: преодоление эгоизма через жертву своего (времени, сил, средств) другому, достойному дара.

Согласно этимологическому словарю, происхождение слова связано с объединением доблестных мужей в надежный отряд (дружину), где каждый был уверен в том, что никто друг друга в битве не подведет и в беде не оставит; следуя долгу, каждый готов душу положить за други своя. Так было во все века. Фронтовая дружба, рожденная в горниле справедливой войны, есть интегральная форма героизма. Кто дружеские обязательства подписал своей кровью, тех водой не разольешь.

Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций, поясняя, что такое *внутренняя форма*, в качестве примера взял понятие *дружбы*. Опираясь на Канта, он показал, что дружба как таковая всего лишь платоническая идея: в силу несовершенства человечес-

кой природы, а тем паче неустройства человеческого общества, ни в одном человеке *per se* (в чистом виде) она реализоваться не может. Та идеальная дружба, что воплотилась в образах Ореста и Пилада, всецело принадлежит мифологическому пространству; простым смертным такой степени самопожертвования не постигнуть и не достигнуть. Значит ли это, что дружба есть некая умозрительная фикция? Ни в коей мере! Дружественность, укорененная как вектор в структуре личности, может направлять поведение в сторону альтруизма и тем самым бесконечно приближать к недостижимому идеалу. Дружба в этом смысле есть некая внутренняя форма, сама по себе пустая, но наполняющаяся из жизни.

Я не уверен, что правильно передаю мнение Канта в опосредованном изложении Мамардашвили; лучше все же обратиться к первоисточнику. Вот что говорит Кант. «Дружба — идеал участливости и заинтересованности в благе каждого из двух, объединенных морально доброй волей, и если это не создает всего счастья в жизни, то все же принятие счастья в образ мыслей обоих содержит в себе достоинство быть счастливым, и, стало быть, дружба между людьми есть их долг... Но легко также заметить, что дружба — это чистая (однако практически необходимая) идея, которая хотя и недостижима на практике, но стремиться к которой (как к максимуму добрых намерений по отношению друг к другу) есть заданный разумом, быть может, не обычный, но почетный долг» (Иммануил Кант «Метафизика нравов», 2: § 48).

Ладно — Кант; его авторитет порой блокирует механизм понимания окончательным решением мировых вопросов. Однако и после Канта картина мира не слишком проясняется. Если не затемняется совсем... Некоторые вещи понимаются лучше, если выражать их проще. Тыко Вылка, ненецкий вождь и народный художник, о своем друге, отважном путешественнике, сказал как спел: «С русским Русановым дружба была хорошая; было у нас две головы, а сердце одно». Эта метафора суть точная формула процесса дружеских отношений: преодоление головных различий через сердечное согласие.

Какую тему ни возьми, ключи к ней можно найти у Пушкина. Стихи, откуда взят эпиграф к тексту, написаны поэтом в деревенской ссылке — в оторванности, в потерянности, в одиночестве. *Печален я: со мною друга нет...* О, как томит его это экзистенциальное зияние! Слово в жизни образовалась дыра, в которую утекает напрасное время. Вера в свое человеческое значение удостоверяется признанием равных, — так как же можно обходиться друг без друга?! Нужда человека в людях покрывается нужностью им. Одна из самых пронзительных нот в элегии — сочувствие последнему лицеисту, которому выпадет горестная участь пережить всех. *Несчастный друг! средь новых поколений // Докучный гость и лишний, и чужой, // Он вспомнит нас...* Вспомнит об утраченной общности как о потерянном рае.

С рафинированными, порой извращенными, проявлениями дружеского чувства связана мифология Серебряного века, безвременно кончившегося в связи с пролетарской революцией. Социальная катастрофа разрушила прежние представления о данном и должном. В наступившей моральной и материальной нищете не было большего проявления альтруизма, чем поделить куском хлеба. Или, по пословице, отдать ближнему последнюю рубашку. Курьезным примером такого прекрасного поступка выглядит случай Гумилева, отдавшего свои запасные штаны Мандельштаму, добравшемуся из Крыма до Питера буквально в рубище. Революция и гражданская война подорвали правовые и бытовые основы человеческих отношений, а террор деформировал идейные принципы человечности. Бог весть, чем бы кончился этот эксперимент, если бы не Великая Отечественная война — *сороковые роковые...* В горниле этой войны совокупность этносов, составлявших СССР, сплавилась в советский народ — новую историческую общность людей, сплоченных общими жертвами.

Война списала общие издержки советского строя — и открыла новый счет. Личный счет на каждого, мобилизованного историей.

Чтобы выстоять в трудных обстоятельствах, люди должны поддерживать друг друга. А когда обстоятельства человечества были легкими? Поэтому идея общественного долга издревле является главным вектором морали и категорическим императивом личности. Все ответственные друг за друга. Кто не сторож брату своему? Вот то-то и оно...

Апологией фронтовой дружбы стал фильм «Белорусский вокзал» — баллада о солдатах, стоявших плечом к плечу против нашествия смерти, — и смерть не смогла прорвать этот фронт. Сила их духа — надежда друг на друга, которую надо было оправдывать в каждом бою. А кто спасал свою шкуру, тот навеки губил душу; жизнь в подлости не стоила того, чтобы ее прожить. Та же взаимопомощь помогала выдержать горе в тылу. А тем более — в оккупации.

Годы испытаний характеризуются ослаблением идеологических дискурсов и возвращением людей доброй воли от прописной морали к естественной нравственности. Опыт фронтовиков дал модус достойного поведения для поколения детей войны: дружба, проверенная войной и увенчанная победой, — нравственная закваска нового поколения.

Пожалуй, для *романтических шестидесятых* в повседневном плане утверждение культа дружбы было важнее, чем разоблачение культа личности: из взаимного доверия формировался образ жизни. Сфера дружеских связей создавала внутри идеологической системы некую альтернативную реальность, где личность мотивировалась свободой. Гештальт дружества, то есть целостное образование внутри сознания, в котором слились осмысленное понятие и эмоциональное состояние, в парадигме личности получил ключевое значение. Позывными эпохи стали строчки из песни Булата Окуджавы: *возьмемся за руки, друзья, // чтоб не пропасть поодиночке*. И все культовые авторитеты оттепели, обращаясь ко всем и каждому, ручались друг за друга. Высокий уровень доверия утверждала Белла Ахмадулина: *Да будем мы к своим друзьям пристрастны! // Да будем думать, что они прекрасны! // Терять их страшно... бог не приведи!* Как безоглядно, как благородно сказано! Но, как говорится, — на бога надейся, а сам не плошай. А они оплошали: понадеялись на себя, разделив общий успех, и остались друг без друга — разошлись в разные стороны и поодиночке пропали в пустыне мира...

Почему человеку жизненно необходимо быть в дружбе? Потому что друг без друга нам невозможно реализоваться в мире. В процессе доверительных отношений в социальной сфере вырабатывается нечто невещественное, скрепляющее обывателей в общество: *этос*, то есть общее нравственное чувство. Этос — силовое поле, в котором образуется *этнос*, то есть национальное единство. Социальность не фикция, а функция от природного аргумента в споре о том, какое общество имеет преимущественное право на историю: то, в котором больше взаимного доверия.

Сила нации в собранности, а общественная сплоченность рождается из множественной связанности. Связи же образуются любовью и дружбой. В любви находит высшее воплощение естественная страстность (биологическая установка на продление рода), а в дружбе — природная солидарность (эволюционная установка на сохранение вида). Биологическое и социальное, органическое и организационное сходятся и взаимодействуют внутри индивида. Так внутри биоценоза зарождается социум. Избирательное сродство выше кровного родства — как человечность превышает этничность. Потому что эффективнее в эволюционном смысле. Или, если хотите, ближе к божьему замыслу о человеке. Законы экономики, если понимать их правильно, не противоречат принципам солидарности. Человеческие отношения и рыночные отношения проявляются на разных уровнях социального устройства, причем первые

неизмеримо важнее. Однако в действительности отдельному человеку отводится мало места. Так мало, что ему трудно этим немногим поделиться с другим. А делиться надо.

Стоит вспомнить недавнее прошлое, когда советские люди обращались друг к другу запросто: *товарищ*... Вдумаешься — странно ведь! Товарищество есть обязательство, — а как можно быть обязанным всем и каждому? Как говорится, — гусь свинье не товарищ. Товарищество — редуцированная форма дружества; сообщество на своем интересе — сообщничество. В основе понятия — *товар*, а свойством товара является *продажность*. Не случайно в коннотациях слова у Даля дано его негативное значение: *соучастник*. *Товарищи* по советской мифологии — участники революции: соучастники по захвату и разделу власти. Товарищество есть вырождение дружества, а его перерождение завершается в круговой поруке преступного мира. Братва — братство по чужой крови, которой не жалко. Узы этого братства — связанность во зле: удавка на шее каждого, которую держит пахан, не доверяющий никому... тамбовский волк ему товарищ!

Апологией криминального братства стал фильм «Бригада». Этот культовый сериал 2002 года — сага о *лихих девяностых*, мемориал павшим духом и погибшим за подлое дело, реквием по убитым моральным идеалам. Если в составе дружбы благородство замещается подлостью, и люди с этим согласны, — значит, с людьми что-то не так. Значит, низменные инстинкты возобладали над моральными принципами. Бич человека — страсть к власти; к власти любого рода — в стране, в среде, в семье. О, это стремление *доминировать* — в топосе, в статусе, в дискурсе! Сколько от него в мире горя — от начала времен до дня сегодняшнего... «Поистине, только в людях причина зла, если любовь, истина, доверие, мир уходят из мира; если правят бессердечие, ложь, измена, раздор и война и буйствует весь круг земель» (Франческо Петрарка «Старческие послания», X:2). На третье место в ряду основополагающих ценностей после любви и истины поэт ставит доверие — основу дружества.

Худо, если социальные связи замыкаются своим интересом; хуже того, когда дружеские отношения отравляются идейными разногласиями. В первом случае круг друзей превращается в порочный круг, внутри которого собирается худшее, что есть в каждом. Во втором он разрывается, и бывшие друзья расходятся в разные стороны, оставляя лучшую часть себя нереализованной.

Мне кажется, ключ к пониманию противоречий российской жизни — распавшаяся дружба Обломова и Штольца, главных героев классического романа. (Аналогическим образом некогда разошлись воздушные пути Платона и Аристотеля: см. выше.) Может, оттого, что дружеский союз созерцателя и деятеля не выдержал испытания действительностью, в нашем обществе так и не сложилось согласие блага и пользы. На протяжении последующих периодов истории дух эпохи периодически возвращался к незавершенному гештальту, и, казалось, в новых поколениях идеал дружбы обретет себе постоянное пристанище, наполнив социальные институты человеческим содержанием. Но — не случилось. Внутренняя форма дружбы, основополагающего принципа человеческого сообщества, больше не наполняется из течения жизни. Может быть, эта смысловая форма в процессе социальных пертурбаций была ненароком разбита. Как и многое другое, что формировало образ человека. Оттого и стали возможны все нынешние безобразия. Безобразное — потерявшее образ.

Все вышесказанное так или иначе проверено автором на своем опыте. Прежде чем судить о других, познай самого себя. А это дело не простое и не радостное. Стимулом к размышлению стал укол ностальгии, смутивший мою душевную лень как укор совести...

Где друзья мои? Кто где. Иных уж нет, а те далече. От некоторых остались лишь телефонные номера. Один потерялся в суете, другой погрузился в одиночество, третий

решил, что он лишний, а четвертый вообще забыл, что он один из нас. И каждому так жить хуже. Как с душевным сокрушением писал Валентин Курбатов, добрый друг многих хороших людей: «Все уже так разбежались, что каждый выбирается сам по себе, а значит, только увязает все глубже» (Валентин Курбатов «Уходящие острова»). Вот и я...

Может, это возрастное? С годами теряется способность к самоотверженности, без которой дружба выдыхается в приятельство. «Между людьми скучными и старыми тем менее бывает дружественность, чем более они вздорны и чем менее они наслаждаются взаимным общением, а ведь именно наслаждение общением, кажется, главный признак дружбы и создает ее в первую очередь» (Аристотель «Никомахова этика», 1158a).

Может, и так. И все же того, что было, у нас не отнять. Воспоминания дружбы словно свет ниоткуда. Звезды исчезли, а свет остался. Единственно, на что его хватает — не сбиться пути. Одна из немногих истин, в которых я уверился из жизненного опыта: кто не имел любви, не знал блаженства; кто не был в дружбе, не обрел благородства.

Старые друзья, реликты романтической эпохи, пережитки славного прошлого, с пустым сердцем теснятся на паперти новой эры — не подаст ли кто из важных прихожан века сего надежды, что все еще вернется? «Разочарованные массы оказались на свободе, но смысл их выселения никак не разъясняется. Разочарованные, замерзшие и одинокие, они кутаются в суррогаты старых картин мира, пока те, кажется, еще несут в себе дыхание иллюзий, которыми было охвачено прежнее человечество» (Петер Слотердайк «Сферы», т.1).

В попытках заново обрести утраченное чувство человечество инстинктивно ищет новые принципы и методы межличностных отношений. В моей электронной почте периодически появляются стандартные сообщения: «Некто хочет стать Вашим другом (добавить вас в друзья) на Facebook». Я не знаю, как на это реагировать. Конечно, дружеских связей в обедненной жизни фатально не хватает. Но я не могу быть другом по вызову. И не хочу быть добавленным до кучи.

Возрастая в системности и сложности, человеческое сообщество утрачивает чувство сопричастности. Судьба человека становится не столько его участью, сколько частью господствующей тенденции. Полагаясь на социальную механизацию жизненного процесса, люди привыкают выдерживать тяжесть существования в одиночку — свернувшись душой и затворившись в виртуальной раковине своей отдельности, закрыв свое *эго* в круглые скобки: *другие* (Я) *другие*. Однако эгоцентризм не выход, а тупик; только в разумном множестве отдельные индивиды *homo sapiens* становятся людьми по существу слова; замкнутая личность теряет свой смысл и утрачивает человеческое значение: *другие* (?) *другие*.

Люди! друг без друга нам не быть людьми... Наш путь в мире проходит по тонкой грани между *еще* и *уже*, — и если кому не на кого положиться в этой жизни, ему так или иначе пропасть. Никто из нас не может сбываться сам по себе: один без другого не полон. Человек, не сумевший ни с кем разделить своей земной участи, обречен вечной печали. Даже если у него будет все, что нужно для счастья, у него будет все, кроме счастья.

Анатолий Цирульников

Страна между двумя берегами

Калмыцкая сказка

Есть у степи замечательное свойство... Всегда и прежде всего степь говорит человеку о свободе. Степь напоминает о ней тем, кто потерял ее.

Василий Гроссман. «Жизнь и судьба»

Помимо хрестоматийного пушкинского «...и друг степей калмык», большинство из нас в сущности мало что знает об этом крае, и многие в силу полученного в школе географического образования убеждены, что Калмыкия находится то ли в Средней Азии, то ли в Сибири.

Отправляясь в путешествие, я, как и многие, знал о современной Калмыкии несколько ярких фактов, которые сообщало центральное телевидение конца прошлого — начала нынешнего века. Первое — что молодой (ныне экс) президент Кирсан Илюмжинов общается с инопланетянами. Второе — что Калмыкия единственная в Европе страна буддизма, которую посетил пребывающий в изгнании Далай-Лама XIV. Третье — что в Элисте выстроен шахматный чудо-град, где проходят международные турниры, как задумывал в Нью-Васюках товарищ Бендер, скромный памятник которому стоит неподалеку от осуществленной мечты.

Министерство науки, образования и культуры Республики Калмыкия, любезно пригласившее меня и ставшее проводником в здешних краях, поселило меня именно в этом Citi-chess, в Шахматной академии, и тем самым сделало первый ход белыми в игре, имеющей, как известно, множество вариантов...

Что я хотел узнать в Калмыкии?

Была у меня гипотеза, основанная на многолетнем опыте кочевий по России, который свидетельствовал, что нечто интересное, перспективное можно обнаружить, как правило, в тех местах отечества, где сохранилась хоть какая-то культурно-национальная подкладка. Некий растительный покров, культурный слой, без которого песчаная буря, вызванная безответственными действиями власти и населения, превращает ландшафты в пустыню. Сфера образования — не исключение. Маразм крепчает, из дум, минобров и администраций выходят одна причудливая задумка за другой: молельные комнаты в средней школе, единая форма одежды солдат-учеников, а то и «замечательная» идея некоего вице-премьера раздать по школам оружейные склады времен Второй мировой — все это в соединении с единым школьным центром продвинутых и отсталых в психическом развитии, помноженное на ЕГЭ, создает картину, достойную великой державы. И там, где не за что зацепиться, где дувший

целый век ветер ленинизма-сталинизма едва ли не начисто сдул культурный слой, делать нечего. Разве что дожидаться, когда обрушится.

Но тут-там — в Якутии, Бурятии, Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, в Горном Алтае, Сибири, — где еще остались очаги (я называю их культурно-образовательными гнездами), где удастся вывести птенцов и они взлетают в небеса, я находил свидетельства будущих положительных перемен. И по мере сил старался помочь выращиванию — вместе с местными сообществами — другой школы и другой жизни.

В Калмыкии я надеялся увидеть живое, отметить еще одну точку на культурно-образовательной карте опустыненной страны. Но что это за точка, понятия не имел...

Справка из энциклопедии

Республика Калмыкия находится в Нижнем Поволжье, между долинами Дона, Волги, Кумы и северо-западным побережьем Каспийского моря. Граничит со Ставропольским краем, Дагестаном, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

Самый безлесный регион России.

Климат резко континентальный, лето долгое и жаркое, температура до +50°, с засухами, суховеями, пыльными бурями. Зима малоснежная, часто бесснежная, с морозами до -40°.

Население Калмыкии (по переписи 2010 г.) составляет 289 486 человек, 57% — калмыки (диаспоры имеются в других районах РФ, ближнего и дальнего зарубежья), 32% — русские, в республике проживают также даргинцы, казахи, турки, чеченцы, аварцы, корейцы, немцы, татары...

Селян 55,9%, на двадцать процентов больше, чем горожан.

Три города, 262 сельских населенных пункта.

Основа сельского хозяйства — скотоводство и овцеводство. Есть залежи нефти, горючего газа, соли, урано-фосфорных руд.

Столица республики Элиста — город с развитым научным и образовательным потенциалом: здесь находятся Институт гуманитарных исследований РАН, НИИ сельского хозяйства Российской сельскохозяйственной академии, Институт комплексных исследований аридных территорий, Калмыцкий государственный университет — один из ведущих вузов юга России...

Часть I

Блюдо для бедных

Путешествовать по Калмыкии, читатель, нельзя исключительно в настоящем времени. Я это почувствовал, лишь только очутился в здешних краях: наряду с «сегодня» в путешествии присутствуют «вчера» и «завтра». Как они соединяются в этом воздухе и ландшафтах, понятия не имею. У каждого путешествия — своя драматургия, свой сценарий, но то, что выходит, мало похоже на задуманное. «Сейчас» — столь быстротечно и неуловимо, что вот уже то, что «есть», — «было». Сказка, миф... Но где грань, отделяющая их от реальности? А уж про историю и говорить нечего — в иных краях она умерла, застыла в старинных дворцах и булыжных мостовых, а у нас все лязгает затворами и воротами, жульнически выглядывает из подворотни, забавляется, как дитя малое. И всего этого так много, что можно понять Ключевского, пожелавшего, вопреки собственной профессии, «чтобы вокруг нас было поменьше истории».

А калмыцкая история — часть русской.

Правда, не только...

День первый. Вчера

С приходом калмыков в Россию эти земли стали называться Калмыцкой степью, а до того звались Половецкой. Заселившие степь калмыки стали единственным в Европе монголоязычным народом. Откуда они пришли? Из Великой степи, с территории западной Монголии и Джунгарии — так называется равнина между гор на западе Китая. «Секиз мурэн» — восемь рек, «восьмиречье». Это верховья Енисея.

Охота была их главным занятием, а со временем степь породила кочевое скотоводство. Ойраты — так назывались предки калмыков — жили географически близко с тюрками, держались старых обрядов, шаманистской веры, считались могущественными колдунами. Ойратский правитель умел «делать погоду» — вызывать дождь, ураган, снежную бурю.

Ойраты охраняли северную границу монгольского государства, находились в брачных союзах с монгольской знатью и поэтому занимали привилегированное положение. Участвовали в завоевательных походах Чингисхана и его потомков. Войсковые подразделения с наследственной передачей обязанностей и привилегий со временем превратились в этнические группы. Они до сих пор есть у калмыков: торгуты — так называлась стража при монгольских ханах; хошуты — передовая часть войска, авангард; хойты — арьергард; дербеты — конница, построенная в каре.

В пору монгольских завоеваний много народов исчезло с лица земли, но ойраты уцелели, численно возросли, стали еще более влиятельными. На рубеже XIV и XV веков они уже обитают в Западной Монголии, и скотоводство — главный способ их существования. Кочевой быт позволял экономить силы, которые шли на создание оригинальной культуры и социального устройства. Два века спустя ойраты приняли буддизм, а с ним вместе — письменные традиции. Сохранилась «ойратская библиотека»: калмыцкие историко-генеалогические сочинения, восточномонгольские летописи, исторические источники на китайском, тибетском и персидском языках.

В XVI—XVII веках на карте Евразии появилось три государственных объединения кочевников — Джунгурское ханство в Китае и Западной Монголии, Хошутское ханство в Кукуноре и Калмыцкое — в Нижнем Поволжье. Эта была сила. Кочевья ойратов простирались от низовьев Волги до Великой Китайской стены и предгорий Тибета!

Многое из того, что было у приволжских калмыков, имело ойратское происхождение: красная порода коров, грубошерстная курдючная овца, неприхотливые и выносливые лошади, верблюды-бактрианы. Их исторической родиной была Джунгария, откуда в XVII веке люди со скотом и пришли в Нижнее Поволжье. В российских хрониках XVII века ойраты именуются уже калмыками. Сами они называли себя «калмыки с красной кистью» — ее пришивали к макушке головного убора в виде опознавательного знака. Калмыцким этносом они стали в пути. Этноним «калмык» (хальмг), обозначающий ойратов, переселившихся в Россию, стал самоназванием народа.

Вхождение в состав государства российского не было одномоментным, длилось полвека (до подписания «письменной шерти» — присяги 1657 года) и сопровождалось войнами и внутренними разборками. Между тем, калмыки уже перешли Яик и кочевали в верховьях Самары. Самочинное продвижение к Волге вызвало недовольство русской власти. Между ногайцами, поддерживаемыми стрелецким войском, и калмыками вспыхнули военные столкновения. Но тут активизировалось Крымское ханство, и в итоге, в обмен на военную службу и вечное подданство (хан Дайчин объявил себя холопом великого государя), калмыкам определили новую территорию кочевий. По правой стороне Волги от Астрахани до Царицына, по левой — до Самары.

Так на Нижней Волге возник новый «субъект» — Калмыцкое ханство. Это было

взаимовыгодное решение. Калмыки приобрели пастбища и вышли на новые русские, среднеазиатские и персидские рынки. А Россия получила надежного военного союзника, на долгие годы обезопасившего южные границы страны.

Калмыки исправно платили дань, получали жалованье от государя и сохраняли свое особое устройство жизни. К примеру, у калмыков не было крепостного права, и в русских документах XVIII века калмыцких простолюдинов именовали «вольными людьми» — в противоположность «холопам».

Все было хорошо, пока в 1771 году двадцатилетний Буши-хан не увел 160 тысяч калмыков из России. Тому были несущественные на взгляд русской власти, но оказавшиеся решающими для калмыков причины — судили людей не по калмыцким, а по-русским законам, нарушали договоренность — не давали воды, пастбищ, а главное — калмыцкие ханы всегда вели свое войско в бой сами, а тут появились командиры-иностранцы. И молодой хан увел калмыков в Китай. Тридцать три тысячи кибиток внезапно повернули на восток, прорвали заставы и ушли на свою историческую родину.

На берегах Волги осталась малая часть некогда большого кочевого народа. После этого ханство в Нижнем Поволжье было упразднено, а оставшееся население стало подчиняться русской бюрократической организации со смешным названием «канцелярия управления калмыцким народом».

В XIX — начале XX века калмыки несли службу в составе казачьих войск: Донского, Уральского, Астраханского, Ставропольского, Оренбургского... Выразительная фотография того времени: духовное лицо, калмыцкий лама с висячими усами — типичный донской казак.

К началу Первой мировой войны численность калмыков в Российской империи составляла 200 тысяч человек. Через шестьдесят лет не дотягивала до 140 тысяч. Что-то между тем и этим происходило...

День первый. Сегодня

В элистинском аэропорту меня встретил Арслан Эрдниев, внук знаменитого калмыцкого академика, педагога-математика, известного еще с советских времен. Его сын — тоже педагог-математик, доктор наук. И внук тоже, продолжает династию: преподает математику в гимназии. А кроме того работает в министерстве образования и пытается оживить в Калмыкии общественно-педагогическое движение, загложшее в России лет двадцать тому назад.

По дороге из аэропорта Арслан накачивал меня разрозненной информацией, рассказывая про легендарную калмыцкую жару, про народ, уезжающий на заработки в Москву и на севера, — в республике остаются в основном бабушки да дедушки с детьми. В Калмыкии четырнадцать районов, полторы сотни школ, тридцать тысяч учеников.

Математика на шахматной доске

Въезжаем в Сити-Чесс. Арслан размещает меня в трехэтажном особняке Шахматной академии — детско-юношеской спортивной школы, подведомственной министерству. Турниров сейчас нет, народу никого, я один блаженствую в просторных апартаментах. Прогуливаюсь по тихому поселку — оазису с кустами роз, туями, тропическими деревьями, буддийским храмом и рестораном «Фламинго». Все это возникло полтора десятка лет назад — построили к Всемирной шахматной олимпиаде. Но уже чувствуются следы увядания... Коттеджи для размещения гостей со всех концов света скупают частные лица, Сити-Чесс, наподобие московской олимпийской дерев-

ни, превращается в микрорайон Элисты. За оврагом — обычный город, панельные облупленные дома с узорчатыми лоджиями (их называют «ташкентскими»). На исходе дня зашел в великолепный, словно из сказок «Тысячи и одной ночи», Дворец шахмат. В вестибюле на мраморном полу — шахматные фигуры величиной с подростка, винтовая лестница в несколько этажей ведет к стеклянному куполу. На стендах детские фотографии — «Шахматные надежды Калмыкии»: двенадцатилетние международные мастера, четырнадцатилетние гроссмейстеры. Выше — турнирные залы, флаги всех стран и народов.

Когда-то, подростком, я тоже ходил в шахматный клуб — старинный особнячок с балкончиком на Цветном бульваре сохранился поныне, — поэтому мне было интересно встретиться с калмыцкими ребятами и учителями-шахматистами.

С учеником 9-б класса гимназии поселка Комсомольский, вице-чемпионом Калмыкии Алиханом Алхастовым, я познакомлюсь на третий день поездки, но забегу вперед и дам ему слово здесь.

Умный, взрослый парень. Написал работу (я выделяю ее и разговор с девятиклассником курсивом, скоро объясню почему) *«Математика на шахматной доске»*. Эпиграфом ученик взял слова члена Лондонского королевского общества Г. Харди: *«...Игра в шахматы — это как бы насвистывание математических мелодий»*.

По мнению юного Алихана, в мышлении математика и шахматиста много общего. Не случайно чемпионы мира по шахматам — Эммануил Ласкер, Макс Эйве, Михаил Ботвинник, отчасти Гарри Каспаров, Михаил Таль и Анатолий Карпов — имели склонность к серьезным занятиям математикой. Девятиклассник Алихан, вице-чемпион Калмыкии, показал мне разделы своего исследования: «математика в истории возникновения шахмат», «математическое свойство шахматной доски», геометрия, графы, элементы комбинаторики — все на шахматной доске.

Этот серьезный мальчик благодарен своему Учителю (в работе так и написано, с большой буквы) — Очиру Дорджиевичу Мацаеву. «Он пришел к нам в класс, когда мне было 7 лет, и так увлеченно рассказывал о шахматах, что весь наш класс захотел заниматься. Но шахматы требуют очень много сил, не все выдерживают. Нас осталось четверо, но те, кто остались, до сих пор верны шахматам и нашему Учителю...»

Алихан считает, что шахматы помогают решать сложные жизненные проблемы — «это можно сравнить с выбором хорошего хода в шахматной партии в цейтноте», — развивают творческие способности, воспитывают волю, вырабатывают бойцовский характер. «Я, — говорит Алихан, — поставил себе цель найти связь между шахматами и математикой и считаю, что выполнил поставленную задачу. В дальнейшем я разберусь в том, что осталось для меня загадкой...»

Как строить дебют

Если бы люди действовали по правилам шахматной игры, а не занимались подковырными играми, мир был бы чище. Такого мнения придерживается Александр Абушинов — директор Шахматной академии. Под ее кураторством шахматы преподают по всей республике, это обязательный предмет в калмыцких школах, а дети общаются с ведущими шахматными сообществами в стране и мире.

В Калмыкии три гроссмейстера. «Они все наши», — сказал мне директор детской Шахматной академии.

Десять «звезд» проводят учебные сессии для юных шахматистов. Регулярно проходят турниры по быстрым шахматам, увлекательная республиканская олимпиада, которую придумал директор, соревнования детей с ограниченными физическими возможностями. Шахматы в Калмыкии образуют и воспитывают. Я попал в пересменку, поэтому могу только представить, как проходит личное первенство среди детей всех деревень, сел и трех городов Калмыкии. Соревнуются одновременно

мальчики и девочки в возрастных группах до 10, 12, 14 и 18 лет. Самая напряженная борьба — среди тех, кому нет еще и десяти. «Раз пришлось играть в девять туров, даже шахматного инвентаря не хватило», — сообщил директор.

Быстро растут дети, а с ними и мастерство. Есть совершенно уникальные создания. Одиннадцатилетняя Айса Сангаджи-Гаряева год как начала играть в шахматы и за это время умудрилась стать призером, а на первенстве республики по классическим шахматам в группе до 13 лет — победителем. У Александра Санчировича Абушинова немало знаменитых воспитанников, покинувших родные края. Одна звезда уехала в Тольятти, другой стал чемпионом Чехии, третий — международным арбитром в Стамбуле. А могли бы составить славу Калмыкии. В словах Учителя гордость за своих учеников, но и сожаление.

Уроки шахмат в общеобразовательных школах идут со второго по четвертый класс, а дальше детей смотрят в академии и рекомендуют заниматься индивидуально у определенного тренера.

«А как, по-вашему, шахматы влияют на ребенка? — поинтересовался я. — Лучше учатся по математике?» — «Не только по математике, — заметил Абушинов. — У ученика-шахматиста систематизируется процесс учения. Строить дебют, миттельшпиль, эндшпиль — все равно что осваивать новый учебный материал, выполнять исследовательский проект. Я брал в районе ребят, доводил до призеров республики, и они говорят: спасибо, благодаря шахматам я продвинулся, стал тем-то и тем-то» — «Они что, особенные, эти "шахматные" дети?» — «А вы понаблюдайте. Сразу же видно, что за люди. Обдуманно подходят к любому вопросу. Планируют. Разносторонне развиты. Я наблюдаю за детьми, знаю их с раннего возраста и вижу, что они не только чего-то достигли в шахматах, они и профессией овладели. И, главное, не грубияны, — подчеркнул директор, — воспитанные люди».

В шахматах ли дело? — думаю я. Но в Калмыкии они — часть культуры. Еще у ойратов, вычитаю я в трудах историков, были шахматные фигурки, которые вырезались из дерева и кости.

Примечательная особенность: в биографиях людей, с которыми я общался в Калмыкии, обязательно присутствовали две вещи: ссылка и шахматы.

Заместитель министра образования Ирина Дмитриевна Кавкишева, с которой мы встретились в первый же день, рассказала, что ее отца выселили из Калмыкии в годовалом возрасте. Дед погиб на фронте. Осталась большая семья — шестеро детей. У бабушки было пять классов образования, но она сумела всех детей сберечь, никто не погиб по дороге в Сибирь. Папа, еще в Сибири, мальчишкой, увлекся шахматами. «И матушкой своей, — рассказывала Ирина Дмитриевна, — был ругаем и бит за то, что "отвлекался от дел". Но он все равно бегал к учителю истории, и тот учил его шахматам».

Кончил школу, техникум, работал агрономом, рос по службе... Когда грянули девяностые и все рассыпалось, папа Ирины Дмитриевны, уже на пенсии, остался без всего — кроме шахмат. Позже сказал: «Если бы знала моя мама, *что* меня в жизни спасет!» Ведь он не только играл, но вырезал шахматные фигуры, изготавливал шахматные столики, а в те годы этого ничего не было — пользовалось спросом. Потом ушел в школу преподавать шахматы. Дети его безумно любили.

«И сейчас, слава богу, — говорит Ирина Дмитриевна, — он жив-здоров. И знаете, когда ему исполнилось семьдесят, его больше чествовали не как агронома, начальника оросительного участка, ударника производства, а как преподавателя шахмат».

Интересно, о чем думал первый президент Илюмжинов, когда строил калмыцкие Нью-Васюки? Есть разные версии. Может быть, считал, что шахматы приведут к успеху в образовании народа. Что они в истории, философии калмыков и поэтому надо их поддерживать? А может, это было просто личное сумасбродство?

«Но когда, — говорит Ирина Дмитриевна, — мы видим, как шахматы ложатся на нашу жизнь, то понимаем, что это был обдуманный шаг».

Отложенная партия

Впрочем, есть же свой, личный опыт. В шахматном клубе рядом с московским цирком, в особнячке с балкончиком, что я получил помимо шахмат?

Припоминаю: воскресным утром аккуратно одетый мальчик, с носовым платком в кармане, доезжал на тридцать первом троллейбусе до конечной остановки, ощущая волнение перед партией. В большой комнате уже стояли расставленные фигуры, шахматные часы, лежали бланки, на которых записываются ходы. Мальчики в чистых рубашках. Что-то в этом было, может быть, от синодального хора.

Я учился не просто логически мыслить, считать на несколько ходов вперед, проводить комбинацию, а побеждать. Да, пожалуй, если бы не эта кульминация — победа, шахматы ради шахмат меня бы не привлекли. У меня были не бог весть какие шахматные способности, просто был неглупый, способный в широком смысле мальчик, такие обыкновенно достигают определенного успеха в разных видах деятельности, но если становятся мастерами, — то в каком-то одном.

Шахматы не были для меня этим видом деятельности, на шахматной доске я, по-видимому, «проигрывал» какие-то личные качества, необходимые для другого: сосредоточенность (увы, при неумении быстро переключаться), усидчивость, терпеливость (далеко не во всем), трудолюбие (в том, что любишь). Проигрывая партию, я переживал, но не настолько, чтобы бросить игру. Я думаю, что это имело какое-то значение позднее, при преодолении жизненных трудностей.

А еще остался чистый носовой платок в кармане, может быть, понимание того, что нужно продумывать свои ходы и находить сильные ходы за противника, не рассчитывая «на дурачка». Приносить жертвы за инициативу. Взвешивать собственные шансы.

Иди в тень под дерево

Ирина Дмитриевна Кавкишева сделала педагогическую карьеру, прошла по ступенькам от учителя, потом завуча до заместителя министра. И вот, говорит она, иногда думаешь: а нужно ли это все — бумаги наши, циркуляры — школе? Не живет ли она по каким-то своим, независимым от нас законам?

Я вспоминаю вычитанную в одной умной книжке старинную историю. В конце XVII — начале XIX века в лесоводстве Пруссии пришли к выводу, что наибольшие доходы можно получить от норвежской ели, и стали выращивать ее, высаживая в армейском порядке деревья одного вида и возраста, а все остальное, что было в живом лесу, вырубали. Первая генерация «научного леса» дала превосходные результаты: росла прибыль, лесом было удобно управлять, но со второй начались трудности: исчезли подлесок, бурелом, сухостой — почва стала истощаться. В старом, смешанном лесу шторм валил деревья одного возраста, но могли устоять другие, эпидемия вредителей точила деревья одного вида, но выживали остальные. А в научно выращенном картина получилась совершенная иная — гиб весь лес. В немецком языке даже появилось специальное выражение: *Waldsterben* — «смерть леса».

Прошло двести лет, но вопрос остался. Чего мы хотим: простого, понятного «научного лесоводства» или сложного и разнообразного живого леса образования?

В перестроечные годы Ирина Дмитриевна работала завучем и хорошо помнит те романтические времена. Тогдашний министр, он был живой человек, приходил в школу и говорил ей: «Ну, что ты сидишь с детьми в кабинете у глобуса? Иди в тень под дерево, поговори с ними, посмотрите на небо». И она пыталась делать все, чтобы дети

вышли из душного, ограниченного четырьмя стенами класса. А министр приезжал снова и спрашивал: почему ты бегаешь с учениками в тесном спортзале? Иди на улицу. Но, отвечала она, сегодня же двенадцать градусов, санитарные нормы... «А, — говорил министр, махнув рукой, — иди на улицу!»

Мы с Ириной Дмитриевной сидим в ее кабинете в министерстве образования, пьем калмыцкий чай.

Первому президенту республики Илюмжинову уже за пятьдесят. Теперь он президент ФИДЕ со штаб-квартирой в Европе. Ирина Дмитриевна говорит про него, что это необычный человек. Пришел во власть в тридцатилетнем возрасте, был уже миллионером. Неординарная личность. Делал то, что другому человеку в голову бы не пришло. И самое удивительное — получалось. Вот же они, Нью-Васюки. И буддийские храмы возродил в Калмыкии.

Время было такое, размышляю я. В Якутии подняли науку и образование. А в Калмыкии — шахматы и хурулы...

В кабинет заглядывает профессор университета. Занимается этнопедагогикой. А нужна ли она сегодня? «У нее, — говорит про коллегу Ирина Дмитриевна, — акцент в речи и обороты такие, что мы, когда у нее учились, посмеивались. А потом поняли: это сохранилась родная речь».

В кабинете на стене — фотография народного поэта Давида Кугультинова. По профессии Ирина Дмитриевна — учитель русского языка и литературы, по призванию — завуч, по должности — заместитель министра. Калмыцкому образованию повезло. Всех директоров школ в лицо знает. Не то что на прусской картинке.

Калмыки боятся леса

Я думал, что с министром, к которому меня привела Ирина Дмитриевна, пойдет разговор официальный: стандарты, бюджеты... Но Лариса Борисовна Васильева — министр образования, культуры и науки, зампред правительства республики Калмыкия, женщина с необычной внешностью, не похожая на чиновницу — заговорила о другом.

«У калмыков очень мощная тяга к образованию, в частности высшему. Родители считают своим долгом дать ребенку высшее образование, независимо от социального статуса. Порой доходит до абсурда, когда продают последнее имущество, чтобы оплатить учебу сына или дочери в вузе. Конечно, иногда это бывает оправданно, если ребенок одарен и оснащен базовыми знаниями, полученными в школе. А уровень школьного образования в Калмыкии традиционно был высоким. Но меня беспокоит вот что: это стремление ведет к росту числа людей, призванных заниматься только интеллектуальным трудом, а традиционный уклад жизни калмыков предполагал непременно и физический труд, утрачиваются наши традиции, наше национальное миропонимание.

У нас осталось считанное количество мастеров-прикладников — резьба по кости, ювелирное дело есть (особая техника чеканки по золоту и серебру), кошму валяют, — но, как правило, их дети этим уже не занимаются. У нас, к сожалению, нет поселков мастеров, какие, по вашим рассказам, есть в Якутии. Но мы тоже идем к этому, создаем условия для возрождения традиций. Помню, еще лет десять-двенадцать назад исполнителей нашего народного эпоса «Джангар», сказителей-джангарчи, в республике было всего несколько человек. Но они научили молодых ребят, которые сегодня уже блистают своим исполнительским мастерством и обучают новую поросль».

И еще ее волнует:

«О периоде депортации в годы сталинских репрессий можно не читать книг, поговорите с любым калмыком и калмычкой — прошло по судьбе каждого. Тогда

кучками расселили калмыков по всей Сибири. Оторвали от естественной среды. Бросили туда, где калмыки никогда не жили. До сих пор — вы будете смеяться — калмыки боятся леса. Привыкли — степь: солнце, трава, все видно до горизонта... И генетически этот страх живет даже в детях. Я повезла сына в санаторий в Подмосковье, он говорит: «Мама, мне страшно».

Когда наши мужчины попали в Сибирь на лесоповал, для них это был шок — откуда в степи деревья? Нечеловеческие условия жизни многих свели в могилу. Дед мужа был узником Широкага, вернулся инвалидом. У бабушки было одиннадцать детей, выжили только четверо. И по-русски же не говорили и не понимали. Хотя, знаете, удивительно: мой папа до сих пор по-доброму вспоминает сибиряков, их помощь. И в Казахстане, куда сослали калмыков, тоже было кого вспоминать добрым словом. Там находилась ссыльная ленинградская элита — моя свекровь, ее братья и сестры получили от них прекрасное образование».

Слушая Ларису Борисовну, я вспомнил уникальную закономерность отечественной истории: там, где политссыльные — всплеск грамотности. Тюрма и ссылка — проверенный способ развития образования в России.

«Нам культура не позволяет»

Калмыцкая история втекает в русскую, но не всегда из нее вытекает. Дальним преемником Чингисхана в степях Калмыкии считался хан Дондук-Даши. В восемнадцатом веке он ввел беспрецедентный закон о всеобщем образовании для мальчиков. Не выполнить закон было нельзя — калмыки не имели тюрем, но налагались крупные штрафы скотом.

От Дондук-Даши произошли князья, помещики Дондуковы, Корсаковы... В русской истории нередко можно обнаружить «калмыцкий след». Взять хоть знаменитую «ледовую свадьбу», которую устроила царица Анна Иоанновна придворной калмыцкой карлице Бужениновой, для чего между адмиралтейством и Зимним дворцом в несколько дней был выстроен ледовый дворец. Карлица пожаловалась Анне Иоанновне: вот уж, матушка, годы идут, а мужа нету. Царица поглядела на двухметрового женатого гренадера и отдала карлице в мужья. У них были дети...

Подсчитано, что российские калмыки участвовали в шестидесяти малых и больших войнах, подавляли крестьянские бунты (порой участвуя в них), воевали с мусульманами, использовались в военных действиях за границей. Калмыки уральские, донские, запорожские, новочеркасские были рассеяны по всей территории России. А когда возникала необходимость, собирались в полки и доходили в сражениях до Парижа.

Екатерина II опрометчиво расселила немцев на территории калмыков. Те, кочуя, разрушали германские дома. Немцы стали вести военные действия, но все кончилось миром. Калмыки показали бывшим противникам грязи соляные источники, и немцы в бутылках отправляли лечебные воды в Германию. Вывезли туда и часть северных калмыков — дербетов. Жители Германии поначалу восприняли калмыков как призраков (те мчались на скачках со страшной скоростью), но спустя два месяца калмыки уже сносно изъяснялись по-немецки.

И никогда не теряли своего достоинства.

Лев Гумилев выделил два народа: калмыков и североамериканских индейцев, предпочитавших рабству смерть. Шапку калмыки «не ломали» даже перед царем, говорили: «Нам культура не позволяет».

У этого народа огромная тяга к образованию. Не знаю, насколько это верно, но говорят, что еще недавно в московских и петербургских вузах студенты-калмыки по удельному весу занимали второе место. Ходит байка, что, когда ректор МГУ В.А.Садовничий спросил, зачем вводите платное обучение, ему ответили: «А вы хотите, чтобы одни евреи и калмыки учились?»

День первый. Завтра

Кто знает, что будет? Уж точно не президенты и не учителя — носители завтрашнего не они. Догадки о нем можно почерпнуть только в одном месте — в детской голове, в ученических проектах, задуманных и осуществленных. Там, по моему, надо искать ростки возможностей, тропинки альтернатив.

Путешествуя по разным районам Калмыкии, я собрал кучу исследовательских и практических работ учеников, и мне бы хотелось, чтобы детские работы составили стержень этого повествования, стали одним из его пластов — «завтра». Вот, например...

Куда они чешут?

Необыкновенно интересное исследование провела ученица гимназии из г. Лагана Маргарита Покопаева (под руководством учительницы русского языка и литературы Е. Г. Горяевой). Работа называется «Сленг как форма самовыражения личности подростка».

Маргарита, что случается крайне редко, дружески приоткрывает для взрослых особый язык (а с ним — уникальный мир) человека переходного возраста — подростка. По моему, это все равно как если бы волшебник согласился раскрыть тайну волшебства. Конечно, что-то Маргарита взяла из взрослых книжек, где написано про молодежную культуру. «Это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от взрослого экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать свои мысли, чувства; словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, смелые и решительные, вызывающе настроенные против всего мира и создающие свой неповторимый мир...»

Как образуется сленг, заинтересовалась Маргарита, откуда он берется? И обнаружила источники.

Компьютерные технологии («вирусняк», «глючит», «фотожаба»).

Компьютерные игры, видео, мультфильмы («гильда», «нуб» — начинающий игрок, «манчить» — повышать уровень, «раснуть» — оживить).

Музыкальная масскультура, не всегда хорошего вкуса («попса», «попсытина» — популярная музыка, «дарк» — тяжелая музыка, «свежак» — новая).

Иностранные языки («фифти-фифти», «пардон», «аллес-нормалес»).

Уличный жаргон, уголовная лексика («фраер», «мусор», «замочить», «грохнуть»).

Все это источники сленга. Проведя систематизацию, Маргарита составила таблицу школьного жаргона. В нем — названия школьных предметов («физра», «инглиш», «био»), оценок («параша», «двойка», «тройбан», «пятак»), содержание свободного времени учащегося средней школы («дискач», «скачки»), виды учебной работы («контроша», «домашка», «лабораторка»), различные действия, например, «чесать» (убегать), «тащиться» (получать удовольствие), «угорать» (веселиться), ну и, конечно, учителя («дирик», «физичка» и прочие).

Для чего нужен сленг? Маргарита и ее друзья, понимающие взрослые, отвечают: сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной. Служит опознавательным знаком, указывая, что этот человек принадлежит к определенной социальной группе.

А что касается языка подростков, то он далеко не всегда понятен учителям и родителям. Так и задумано: «зашифроваться» — ради сохранения автономии — от «чужаков», главным образом, старших.

Но вот что примечательно. Исследование Маргариты показывает, что наиболее развитые и толковые ребята менее склонны к употреблению сленга. Им претит

уродование родного языка. К тому же «успешных в учебе не так достают предки, и нет особой нужды шифроваться...»

Во всех школах всегда были такие слова, которые понятны любому человеку. И пока на свете существуют ученики, учителя и надоевшее всем до смерти, но продолжающее мурыжить детей классно-урочное обучение, будут, видимо, «домашки», «училка», «сменка»... «Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени. Это часть языка, это игра, маска, попытка преодолеть обыденность. Сленг, конечно, не может быть основой национальной культуры, он сводит общение к примитивной коммуникации. Сегодня засилие сленга связано и с гипертрофией материальных ценностей, с резким делением общества на богатых и бедных, с меняющимися отношениями между людьми... Молодежь все чаще сталкивается с безразличием, грубостью, злостью, — пишет ученица. — А это приводит к протесту, он выражается и в повышенном использовании сленга при общении».

Но «общение со сверстниками, а также друзьями старшего возраста продолжает быть значимым», — подает нам надежду Маргарита.

От чего «тащатся», «угорают» наши дети? Куда они от нас «чешут»? И какую «шпору» заготавливают впрок на экзамен жизни?

День второй. Вчера

По сравнению с русской историей, в сених которой стоят злополучные грабли, на которые вечно наступают, калмыцкая история поучительна.

Это не значит, что потомки не повторяют ошибок предков, но мне кажется, они ведут себя более осмотрительно. Возможно, это особенность маленьких народов, которых угораздило поселиться рядом с разудалым большим. Впрочем, соседство бывает и полезным. Через историю малого народа можно лучше понять большой.

Бывали воинственные времена, когда калмыки не были тихими.

Начало калмыцкой военной истории в России

В Элисте мне подарили редкую книгу: «Военное прошлое наших калмыков» (изданные в 1912 году труды Ставропольской ученой архивной комиссии). Автор, русский человек, рассказывая о доблестных страницах военной истории калмыков в России, задается, по-видимому, очень тревожившим его вопросом: почему сильный, здоровый народ, имевший крепкую военную организацию, отважный, героически храбрый, с переходом за Волгу в какие-нибудь три столетия поник головой, погряз в пьянстве и вымирает? Автор приходит к выводу, что одной из причин *«были те нескончаемые войны, которыми сопровождался уклад гражданских отношений на Кавказе, куда судьба бросила калмыков»*.

Военное прошлое калмыков в России, о котором я узнал из этой книги и других источников, вряд ли стоит представлять в розовом цвете, хотя калмыкам есть чем гордиться. Издавна они считались блестящими воинами — хроники свидетельствуют, что в XV, кажется, веке некий ойратский хан с двадцатью пятью тысячами калмыков разгромил полумиллионную армию китайцев и захватил в плен императора.

В России калмыцкая военная история начинается с 1630 года, когда предки калмыков приходят в южную Сибирь, а затем в приволжские степи. Официально заявляют о себе, просятся в подданство и с окончанием Смутного времени получают «жалованную грамоту» царя Михаила Федоровича.

В заволжских степях жизнь калмыков протекала бурно, в столкновениях с соседями, в раздорах между владетельными князьями. В первой половине XVII

столетия племена объединяются в «ойратский союз», а чуть позже, в 1672 году, на исторической арене появляется знаменитый хан Аюка.

Это был выдающийся воин и тонкий политик, его правление считается блестящим периодом калмыцкой орды в России. В первый же год правления он разбивает войско непобедимого Аблая, громит под Перекопом крымцев и берет в плен брата Азовского паши. Аюка-хан воюет за Уралом, гонит киргиз-кайсаков, покоряет туркмен Мангышлакского полуострова и «становится твердой ногой по обе стороны Волги».

Петр I устанавливает с Аюкой дружеские отношения и отправляет к нему посольство с просьбой охранять русские пределы. Между царем и ханом заключается договор, согласно которому калмыки сохраняют право добровольного вступления в русскую службу. У них свои обычаи, свое старинное знамя. Калмыки становятся пограничным войском. Русское правительство искусно пользуется военными услугами, прощая калмыкам мелкие провинности, грабежи и разорения, ласкает и награждает подарками. Калмыки были нужны России.

Павел I лично покровительствовал калмыкам, защищая от местных властей. Строго указывал подчиненному: «Повелеваю вам не вмешиваться никак в дела калмыцких орд, поелику хочу Я, чтобы оные зависели от Меня непосредственно, под опасением для вас, а в противном случае, лишение чинов и всего Моего гнева».

Павел предлагает калмыкам самим избрать себе начальника, быть независимыми от донцов, зависеть прямо от Государя, переписываться лично с ним. И ведь переписывались.

«Нашему любезному братскому иррегулярному войску.

Верность ваша и усердие, к Нам оказываемые во всех случаях, заслуживают Монаршее Наше благоволение, в знак признательности коего жалуем вам семь знамен...» Да еще своему генералу разъяснял, что на этих знаменах — крест, «а они, быв некрещенные, могут от оногo быть в сумнении, то растолкуйте им (*«братским иноверцам»*), что сей крест до их веры совсем не касается, а находится на знаменах, принадлежащих гербу Нашему...»

Каково? Император Павел, говорят, был страшный солдафон, но по тонкости отношения к национальным вопросам сравнимо ли это с нынешними дуболомами?

Калмыки с эпогетами

1812 год, манифест Александра I: «Неприятель вступил в пределы НАШИ и продолжает нести оружие свое внутрь России...»

Калмыки встают на защиту отечества. Быстро, невзирая на погодные условия и отсутствие дорог, собирают ополчение. Как и по всей России, вносятся пожертвования. Жертвовали «для пользы отечества» лошадьми, рогатым скотом, деньгами — и все сверх необходимого возвращалось обратно жертвователям вместе с благодарственной «Высочайшей грамотой Калмыцкому и Туркменскому народу». (Сейчас это кажется немыслимым — представьте, что собраны народные средства, а излишек власть, не разворовав, возвращает с благодарностью людям!)

Воевали вместе с атаманом Платовым, Денисом Давыдовым, Кутузовым. Брали высоты, мосты, редуты. От отрядов калмыков, с диким криком несущихся на верблюдах, в ужасе, бросая пушки, разбежался француз. В течение всего похода калмыки сражались с удивительной стойкостью и мужеством, невзирая на примитивное оружие (далеко не у всех были ружья, чаще калмыки использовали лук и стрелы). Командование отмечало выдающуюся личную храбрость и бесстрашие калмыков-воинов.

Сохранились архивные свидетельства о непрерывных сражениях калмыцких отрядов под Дмитровом, под Волоколамском, в Рузе, при преследовании неприятеля

от Москвы к Смоленску, «имея по тракту непрерывные сражения», под городом Вильно, за границей — в Тильзите, «под командою генерал-адъютанта Кутузова», «в Берлине при вытеснении неприятеля и занятии оногo», «а равно в генеральном сражении под Бауценом» и далее, и далее — до Парижа...

Но что стало с калмыками после войны? Да то же, что и с русскими (часть которых вышла на Сенатскую площадь). Героев Отечественной обуздали. С 1825 года распространили на них крепостное право, чего прежде калмыки не знали (оно было отменено у калмыков на 30 лет позже, чем у других народов империи).

Главное же, действовала эта тревожившая автора книги причина, вследствие которой сильный здоровый народ за исторически короткий срок поник головой: «...надо отдать дань и калмыкам, которые в русское дело на Кавказе вложили все свои силы, всю душу и, может быть, эти именно войны, уничтожив среди них массу лучших людей, и сделали тот надлом в народе, который привел его на степень жалкого существования... Геройство — удел немногих, и война берет именно лучших людей, более крепких душою и телом».

Автор книги, изданной в 1912 году, заканчивает ее словами: «Прошлое минуло невозвратно. Но славные тени его призывают народ к будущему... С верой в свои силы и надеждой на поддержку русского народа калмык не сойдет бесследно с исторической сцены».

Написано в пору подъема России, развития экономики, народного образования, наделения правами и свободами — тем, что обеспечивает возрождение народа. И ни автор, никто другой не могли и помыслить, что всего через два года начнется Первая мировая, потом грянут революция, гражданская, голодомор, ГУЛАГ, сталинская депортация — и все будет сделано для того, чтобы целые народы бесследно сошли с исторической сцены.

И все-таки... Сохранился именной список храбрых калмыцких воинов 1812 года. Рядовые, командиры. Старшины, сотники, полковые писари. И автор этой удивительной книги, благодаря которой мы узнали о них, — Григорий Николаевич Прозрителев (1849—1933). Родился в Ставрополе. Учился на юрфаке Петербургского университета, «ходил в народ». Жил одно время за границей. Был писцом в государственной управе, преподавателем французского языка, физики и математики в гимназии, помощником присяжного поверенного. Пользовался безупречной репутацией. Автор книг, исторических исследований. По его инициативе в Ставрополе в 1906 году был создан музей Северного Кавказа. Просветитель, словом...

Старинную книжку, которой отыскалось два экземпляра, переиздали ротапринтным способом. Поместили несколько фотографий. Ни на одной нет военных действий, все — мирные.

Губернатор, перетянутый лентой со звездой. Главный пристав кочующих народов. Калмыки в степи, едущие на свадьбу. И школа. За партами сидят по четыре ученика, мальчики и девочки — кто в сапогах, кто в ботинках. Учитель стоит среди детей. На школьной доске что-то пишет ученик.

Класс как класс: шкаф с пособиями, глобус, приборы. Часы на стене. Счеты на столе. Все, что нужно для образования...

День тот же. Сегодня

Рядом с правительственным домом в Элисте, где находится министерство образования, построили «Пагоду семи дней». Цифра «семь» не случайна, в буддизме она означает духовный рост, развитие, возвышение.

Мы с Арсланом Эрднеевым бросили монетку в священный барабан учения и отправились к главному храму города — Золотой обители Будды Шакьямуни. Увлека-

тельную экскурсию по ней провела для нас сотрудница национального музея, маленькая женщина Мария Балвыровна Доджиева.

Обитель, в которую мы прибыли, построена за девять месяцев и завершена в день калмыцкого Нового года. На этом месте когда-то находился домик священнослужителя, которого, как и других служителей, расстреляли после октябрьского переворота. Все храмы были уничтожены. Спустя шестьдесят лет, за год до строительства нового главного храма Калмыкии, приехал Далай-Лама XIV и освятил камень. Храм вышел грандиозный, самый большой буддийский храм в Европе.

Некогда у калмыков-ойратов была своя конституция, основанная на Степном уложении Чингисхана. Она запрещала уничтожение монахов и монастырей. В восемнадцатом веке всех мальчиков отправляли обучаться в монастырь. «Откосить» можно было, если заплатишь штраф «девятками» — три верблюда, три лошади, три коровы или овцы. Но людей не унижали, до середины девятнадцатого века калмыки не знали телесных наказаний. Казнили лишь в двух случаях — если не предупредил о неприятеле или сбежал с поля боя. А тюрем, как уже было сказано, вообще не существовало — какая тюрьма может быть для живущего в степи, в кибитке?

Арслан Эрдниев, как все калмыки, любит чудеса. Однажды, говорит, перед Золотой обителью фотографировал семью и получил на снимке фантомы. В особые дни, когда приезжают высокие учителя, то орел возникнет над солнцем, то серебряная радуга. Учение, считает Арслан, повлияло на менталитет калмыков: до буддизма были воинственным народом, а теперь — мирные, степенные, успокоились...

Вот и нам бы так.

Зашли в кафе, подзаправились перед дорогой: заказали «берек» — большие такие пельмени, калмыцкий хлеб «борчик» и, конечно, «джермба» — молочный чай.

Вчера, забыл сказать, подавали на обед «дотур» — вареные потрошки в бульоне — очень вкусно. Типичная калмыцкая еда — мясо, лапша, чай и молоко. Мясо понятно — скотоводы, а молоко потому, что в степи мало воды и она соленая.

Еще есть замечательное «блюдо для бедных», у кого нет собственных овец и они вынуждены пасти чужих. Пастухи оглядываются по сторонам, режут овцу хозяина, разделявают ее и набивают мясом пузырь. Потом закапывают в землю, разводят костер и ждут. Если прискачет хозяин, скажут — гремся. Через сутки бедные пастухи пузырь с мясом выкапывают — пальчики оближешь...

Часть II. Белая дорога

День третий. Сегодня

Не в ту степь...

Едем с Арсланом Эрдниевым и министерским водителем Валентином сто километров на северо-запад — в Кетченеровский район. Здесь самые чистые источники, единственная в Калмыкии возвышенность, Эргенинская, и единственное место, откуда видны экономические перспективы: строят мясокомбинат, огромный «мясной пояс страны». На степных просторах вольно пасется элитный скот. Калмыцкая красно-бурая порода коров быстро набирает вес, мясо получается «мраморное», с перемежающимися слоями мяса и сала.

Мы едем на возвышенность, там живет дядя Арслана. Необычная личность. Народный мастер, охотник, коневод, сказитель-джангарчи... «Еще он философ», — добавляет Арслан.

Дядя Арслана в Кетченерах «обнаружился» не случайно — там «культурное гнездо», наподобие тех, что встречаются в разных местах отечества. В Коми, скажем, село Помоздино, из него будто взрывом вышли все основоположники национальной

культуры, полярные исследователи, авторы букварей для детей и взрослых. В Якутии — знаменитая Татта. Кетченеры для Калмыкии — то же самое. Колыбель культуры. Здесь сохранился язык.

Слушая его, я подумал, что калмыки — такие же исторические переселенцы, беженцы из монгольской степи, как и саха-якуты. Только при Чингисхане они двинулись разными путями. Поразительно, но когда мой друг, известный якутский ученый Николай Бугаев, узнал, что я был в Калмыкии, то первым делом нарисовал мне на карте направление миграции якутов и калмыков и сказал с сочувствием: они не туда пошли, это была ошибка. Им надо было на север...

Не туда, понимаешь, пошли. Не в ту степь...

В роду Арслана, внука академика и сына профессора, все — образованные люди. И дядя, к которому едем, не только уникальный самородок, а образованный человек. «У калмыков страсть к образованию, — подтверждает Арслан слова министра. — Если человек образованный, считается, что умный, мудрый. Поэтому у нас все дети, окончив школу, поступают в институты».

«Все? — уточняю я. — А кто же на "малой родине" остается?»

В Кетченерах остаются. Овец больше, жизнь крепче...

Рейсовый автобус без капота

В отличие от людей, проклинающих «лихие девяностые», Арслан считает, что они тогда жили в золотом веке. Республика была оффшорной зоной, через нее шли большие деньги, часть оставалась. Хотя к первому президенту Калмыкии относится без восторга. Какие после него остались следы? Молодой, хватка была — выбрали. А потом ему надоело, сказал: я человек Земли, мирового масштаба. И ушел в шахматы, в республике его уже не видно было.

«У нас в Элисте есть школа, — рассказывает Арслан, — откуда все выпускники двинулись во власть. Все — одноклассники: бывший президент, премьер-министр... С того времени сколько уж раз менялось правительство, а воз и ныне там. И вот, наконец, пришли к выводу: надо возвращаться к исконному скотоводству. «Калмыки, когда имеют скот, тогда они и людьми считатца могут, а когда ж онаго лишатца, то и сами ничего не стоят». Это заметил наместник Убаши в XVIII веке. Нефть глубоко, — развивает его мысль Арслан. — Люди в основном заняты мелким бизнесом: купи-продай. А скотоводство выгодно, за год вырастил быка. Но это чистое мясо. А переработка? То, что было в советское время — мясозавод и прочее, — разворовали. И те, кто это сделал, ездят на крутых тачках. Мимо степи...»

«У вас не бывает протестных движений?» — «Нет, не бывает...»

Застывшая в веках степь. Только вместо войлочной юрты-кибитки животноводческая стоянка с ветхим домиком и навесом-кошарой — «точка». Это еще хороший район, куда мы едем, газ есть, скважину прорубили, чистейшая вода. А во многих местах своей воды нет — привозят издалека.

Справа — лесозащитные чахлые полосы, давно уже не финансируются, сообщает Арслан. Зато есть мегапроекты. «Вот, например, — рассказывает он, — был суперпроект Волга-Чограй, «стройка века» — хотели, чтобы из Волги пошла вода. А в результате засохли реки. Сейчас новый проект задумывают — Черное море с Каспийским соединить и канал через Калмыкию пустить. Представляете, что будет?»

С экспериментами над природой страна родная, как и все человечество, никак не успокоится. Мне лично известен единственный удавшийся в отечественной истории хозяйственно-экологический проект. В девятнадцатом веке в Якутии, чтобы получить пахотную землю, жители слили большое озеро в Лену.

Арслана этот пример не воодушевляет. Навстречу нам, по дороге к «мегапроектам», мчится рейсовый автобус без капота, все наружу — мотор, прочее. Картина

страшноватая, но шофер лихо крутит баранку. «У нас тут бывает такое, — говорит наш водитель и добавляет про шофера автобуса: — Ну, отчаянный!»

Мы едем мимо степи, где пасутся низкорослые, крепкие лошади и овцы с жесткой шерстью. В Кетченерах, куда мы направляемся, прошло детство Арслана. Городскому ребенку в степи многое открывается. «Самое хорошее дело, — говорит он, — овец пасти. Классно...»

По дороге он тренирует меня в знании калмыцких родов. Предков здесь полагаются знать хотя бы до седьмого колена. Так что полное имя моего спутника звучит так: Баргс арвн Шишинга Шарин Мучкан Эрднин Пюрвян Батрин Арслнг... И кровосмешений не допускалось до седьмого колена. Невесту искали в далеких районах. Обычно муж не видел ее до свадьбы. Но о невесте знали. Когда рождалась девочка, за ней наблюдали, смотрели, как она растет...

Ну, вот мы и в Кетченерах — поселке с пяти тысячным населением. Прежде чем ехать к дяде (его дом на окраине райцентра), заглянули в гимназию имени Хонина Косиева — ученого-просветителя, автора первых калмыцких учебников 20-х годов (они сохранились в школьном музее). Что касается автора, то он был репрессирован и погиб в магаданской тюрьме. И первая учительница этой школы тоже была репрессирована. Типичная история культурных гнезд, откуда выходят основоположники...

В гимназии 461 ученик, некоторые дети участвуют в конкурсе фонда «Мемориал» — «Человек в истории». В других школах района изучают влияние федеральной трассы на экологию. Есть ученический проект: «Трасса как фактор загрязнения». Думают, как очистить...

Чуть не забыл: директор гимназии Замба Кушев — учитель музыки. Редкий случай: школьный директор — музыкант.

Когда поют, акцента нет

Естественно, для нас устроили концерт. В нем участвовали ученики 8-11 классов из вокально-инструментальной студии «Ингилян» («светлая дружба»). Исполняют ребята и учителя не только народные песни и произведения профессиональных композиторов, но и свои собственные. Поют здорово. Очень красивые девушки, прямо хоть на конкурс красоты. Мне, правда, запомнилась смешная ученица, неуклюжая, с полным личиком — а голос низкий, густой, берет за душу.

Дети спели песню о степи, написанную директором школы на стихи «поэта-возвращенца». В тридцатые годы, объяснили мне, этот человек уехал из Калмыкии в чужие края, но не смог там жить, вернулся. Перевод с калмыцкого на русский мне нашептывали на ухо: «...даже во сне я думаю, родина, о тебе, плачу. Широкая степь, она похожа на маму, которая вскормила меня молоком...»

После концерта расспрашивал юных исполнителей о жизненных планах. Подтвердилось: все поголовно идут в институты, университеты. С домашним хозяйством обстоит таким образом: у красавицы Герел (ее имя означает «свет») дома держат шестьдесят дойных коров и откармливают бычков. А у Баины (что значит «богатство») — ничего нет, мама культработник.

А кто, спрашиваю, доит коров? Ээжи, отвечают, бабушка. А по-калмыцки как говорите, как на родном или как на иностранном? Признайтесь по секрету, я никому не скажу. Смеются.

Школьный директор Замба Эренженович говорит, что это зависит от языковой среды. В песне, когда поют, русского акцента нет. А так — акцент. Так что не стоит преувеличивать, и в культурном гнезде — акцент.

Но все-таки в Кетченерах живы традиции, даже название переводится как «человек, который ухаживает за скотом». Села небольшие — по пятьдесят-шестьдесят

дворов, около двухсот пятидесяти человек. И уезжающие на заработки люди возвращаются, строятся здесь, уходят на пенсию. Мясокомбинат — перспектива для работы, но и сейчас не сидят сложа руки: занимаются на подворье, разводят в степи скот, мясо сбывается хорошо.

Может показаться: на дворе XXI век, а они живут, как в семнадцатом. «Производственная сила — пастух и овца. Овца ходит по степи и ест траву, а собака ее охраняет. Лучше не придумать, и, значит, нужен не прогресс, а застой», — заметил Лев Гумилев. И тут же разоблачил миф: никакого застоя в Великой степи не было, народы там развивались не менее бурно, чем в сельскохозяйственных районах.

А что касается инноваций... В начале двадцатого века правительственные чиновники пытались было «модернизировать» калмыцкое хозяйство, заменить мясной скот молочным. На что поступили отчеты с мест с таким заключением: «Холмогорская молочная корова в калмыцких условиях будет давать столько молока, сколько и калмыцкая, если не сдохнет».

Но не всем же заниматься скотом, подправляет розовую картину захватившая в гимназию начальница районного управления образованием Инна Анатольевна Гургутова и поясняет: в Кетченерах нет инфраструктуры, разнообразия деятельности.

Это правда. Хотя — было бы желание...

Знакомые моего спутника Арслана, две подружки, создали в Элисте фирму, изготавливают рамки для картин художников. Другие ребята делают печати. Кто-то занимается предпринимательством. И в Москву не надо ехать. Еще есть знакомая — организовала группу временного содержания детей, преподает им вместе с подружкой английский, русский. Купила четырехкомнатную квартиру, у нее там прачечная и прочее. Развернулась — машину купила. Уверенность появилась! А до этого жила после развода с мужем одна на съемной квартире. Есть еще ребята — выпекают хлеб самого лучшего качества, пирожные. Все они смогли устоять, процветают. А другие — разграбили фермы, птицефабрики... «У нас, — рассказывает Арслан, — из Ставропольского края везут молоко и сметану. Хотя можно все это наладить здесь».

Можно...

В Кетченерах, может быть, не так здорово получается, как у его знакомых, но потенциал налицо. В личных подсобных хозяйствах работают 30—40-летние молодые люди. На животноводческих точках — ребята с высшим экономическим и юридическим образованием. Удивительно. Зачем им это? А представьте, объясняют мне, попадают ребята в Москву, Петербург, Саратов, оканчивают институт, а потом... приходят к пониманию, что это не для них. Не устраивает темп жизни, отношения между людьми, хотят жить на родине — и возвращаются. «У меня, — говорит Инна Анатольевна, — из трех детей двое вернулись».

Люди с высшим образованием пасут скот! Где это видано?

«Ну, вообще-то, для нас это естественно, — замечает Арслан. — Мы же кочевники. Съездил в Москву, на север, за границу, поработал, вернулся и опять поехал...»

«Белого пути вам», — пожелали нам в школе на прощание.

В гостях у дяди

«Мендут, здравствуйте!» — говорит он, встречая нас. Живет Дорджи Нандышев на окраине райцентра, в собственном доме, можно сказать, в деревне. Дядя Арслана — личность разносторонняя. Во-первых, охотник. У него пять норных собак разных пород, включая таксу. Охотится на зайца, степную лисицу, волка, шакала. Иногда, говорит, заходит кабан. Меха приносит только лиса, остальное — для души.

Во-вторых, он сельский хозяин. У него семьдесят овец («это мало», — говорит дядя), четыре лошади, четыре коровы. У курдючной овцы в районе хвоста запас жира:

когда бескормица, она, как верблюд, им питается. Раньше в калмыцкий чай клали курдючный жир, Пушкин попробовал, написал: «Не пробовал в мире гаже напитка», — смеется Дорджи Бадмаевич и жира мне в калмыцкий чай не кладет.

«Мы, — говорит он, — отошли от традиционного питания. Осталось только мясо. Раньше у людей зубы были хорошие — сахар не ели».

В-третьих, он, как и все калмыки, историк поневоле. Многие калмыки, рассказывает он, не приняли революцию. Но так получилось, что одни оказались на стороне красных, другие — на стороне белых. В конной атаке побеждал тот, кто быстрее летел на врага. А калмыки скакали на конях с разных сторон и, встретившись... останавливались. Сели, поговорили, разбежались. А их хотели столкнуть.

Наконец, дядя Дурджин — коневод и народный мастер. Занимается изделиями из конского волоса, выделяет кожу, шерсть. «Я на точке, стоянке чабанской, научился кнут плести, вот такой, — показывает. — Кто живет на точках, те умеют».

Раз услышал, что в Туттуне дедушка плетет из кожи кнуты, уздечки — поехал к нему «на курсы усовершенствования» (понимал, что должен научиться, пока жив этот дедушка). А бабушка-соседка показала, как валять кошму. Еще человек, из другого села, научил, как выделять кожи, — шкуру замачивают в кислом молоке, счищают мездру... «Все, что ручное, — говорит Дурджин, — очень долгое дело, тяжелое».

Кроме того, он — потенциальный инноватор.

Туризм развивать надо, обсуждали мы с дядей, племянником и начальником районного управления образованием намечающиеся перспективы. Население Севера едет по федеральной трассе через Калмыкию на юга, в Сочи. Заезжают только в Элисту. А надо организовать что-то по пути и в стороне (дороги же есть, даже в селах — гравийка) — ну, хотя бы конные прогулки, ремесла. Это же элементарно. Один предприниматель двух верблюдов поставил — люди фотографируются... На охоту можно приглашать. Есть села, где выращивают лотосы. Сегодня туризм стихийный, а если продумать программу, организовать? Есть грязевые озера, в поселке Соленом, например. Достаточно поставить домик, нанять двух санитаров... «Эх, не предприниматели мы», — вздыхает дядя.

Подобные дела и создают зачатки инфраструктуры, рабочие места, разнообразие деятельности, которой не хватает кетченеровским выпускникам. Поэтому, размышляем мы, нужен проект, который складывает предпринимательские узлы, шаг за шагом. И школа, образование, могут быть активной силой. Можно даже подтянуть к проекту ребят с высшим образованием — с чабанских «точек».

Мы с дядей тут же набросали, что предложить туристам, едущим по федеральной трассе через Калмыкию «на юга»:

показ и продажу изделий народных промыслов;

охоту на лис, зайцев, на кабанов, на водоплавающих в камышах;

рыбалку (в степи много речек, рыба экологически чистая — сазан, карась, щука...);

разыгрывание (по примеру Якутии) калмыцкого героического эпоса «Джангар», выступления сказителей-джангарчи;

экотуризм — приезжают городские жители и погружаются в сельскую среду, в то, что возвращается; поесть с грядки, подойти к корове, попить молока...

Героическую эпопею «Джангар», подаренную мне Дорджи, я читал на русском языке в переводе Семена Липкина — признаюсь, это единственный эпос, который я прочел с начала до конца, испытал невиданную сладость от чтения. Эта книга прославляет подвиги героев страны Бумба, считается, пояснил мне дядя-джангарчи, что это наша страна. Дядя рассказывал мне о «Джангаре» под аккомпанемент двухструнной домбры (музыкальные инструменты — тоже для любознательных туристов), самого любимого и распространенного инструмента калмыков.

«Я сравнивал наш эпос с эпосами других народов. Что мне нравится, —

размышляет Дорджи Бадмаевич, — так это то, что у нас богатырь не всегда выигрывает сражение. Бывает, проигрывает. Ошибается. Как в жизни — всегда найдется кто-то, кто тебя умней, сильней».

Дорджи ведет в гимназии кружок по ремеслам и традициям, так что он еще и педагог. Еще ведет в селе секцию по гиревому спорту.

Стемнело. «Лошадей не успел показать», — спохватывается дядя. Он берет в руки «Джангар» и подписывает мне книгу на старокалмыцком. У него несколько высших образований. Закончил биофак в Калмыцком государственном университете в Элисте, медицинский институт в Ставрополе, потом еще учился краеведению, природопользованию. «В нашей маленькой степи надо быть универсалом, — смеется он и добавляет: — это все нужно для воспитания не калмыка — человека».

Завтра

На обратной дороге в Элисту останавливаемся в степи. Ночное небо, звездное, густое, как калмыцкий чай. Ковш Большой Медведицы — прямо над землей, кажется, возьми и зачерпни.

Давайте зачерпнем из детских светлых голов. Вот пара ученических проектов...

Драгоценность Калмыкии

«Мы живем на берегу Каспийского моря, в Лагани, где постоянно дуют ветры. Наши земляки страдают от песчаных бурь, покрывающих пылью дома, деревья. Возле домов образуются песчаные заносы, которые мешают людям пройти к дому, детям трудно ездить на велосипедах. Зная эти трудности, мы решили исследовать проблему песчаных заносов. Нам хотелось найти способы защиты от них и таким образом помочь землякам».

Для этого Санал Катышев, ученик 8-б класса гимназии (его исследовательский проект называется «Ветер и песок в Лагани»; научный руководитель — учительница физики Мира Дермяновна Боваева) предпринял вот что. Он изготовил из пластиковых бутылок трубу, использовал различные парикмахерские фены — и провел эксперименты, определив скорость ветра, при которой начинает двигаться песок, и зависимость скорости песка от скорости ветра... И с помощью такого простейшего оборудования и законов школьной физики сделал удивительные выводы.

Например. *«Причиной песчаных заносов является передвижение ветром песчинок исключительно по поверхности земли. А значит, нет смысла, как это нередко делают, строить громоздкие сооружения. Ограждать путь необходимо только лишь от песка, несущегося по поверхности песчаных площадей — от поземок».*

Другое предложение восьмиклассника: строить улицы в населенных пунктах Калмыкии не абы как, а вдоль направления движения ветра.

Практические соображения, основанные на лабораторном эксперименте и умной голове.

Как остановить песок? Можно кустарниками, деревьями или заборами. Но какими? Проведя эксперимент, Санал доказал: *«заборы лучше делать с просветами, а не глухие».*

Ученика заинтересовали песчаные барханы: как они возникли? Почему их количество увеличивается? Откуда вообще появился в Калмыкии песок?

«Каспийское море отступало не раз и оставляло обнаженным песчаное дно. На этом дне и находится наша Калмыкия. Ветер — наш постоянный спутник. Причина ветра — разница давлений между морем и землей. Там, где встречаются песок и ветер, появляются дюны, а в пустынях — барханы».

Как «строится» бархан?

«Он начинается с небольшого песчаного бугорка, образовавшегося возле камня или растения, там, где ветер, несущий миллионы песчинок, замедляя бег, растается со своей ношей. У такого препятствия постепенно возникает небольшой песчаный холм, который сам становится преградой для ветра. Если направление ветра сохраняется достаточно долго, то холм растет. Его наветренный склон делается пологим и вогнутым, а подветренный — крутым и выпуклым. Так возникает бархан».

А вот как бархан движется.

«По его отлогому склону песчинки, увлеченные ветром, поднимаются к гребню и скатываются вниз, на противоположную сторону песчаного холма...»

Физика Санала напоминает поэзию. Но вот неожиданный практический вывод:

«Песок на самом деле — ценнейший материал, он необходим при изготовлении бетона, асфальта и кирпича, строительного-дорожных материалов, которые используются во всем мире. Но запасы песка не бесконечны. Во Франции, например, песчаные карьеры почти исчерпаны, а рыть новые практически невозможно: либо оставшиеся залежи песка находятся в охраняемых заповедниках, заказниках, либо, затронув их, человек может погубить подземные водоносные горизонты. В других странах положение не лучше. Из-за добычи песка практически исчезли под морскими волнами 24 острова Индонезии».

Какой выход? Санал анализирует приводимые в литературе способы добычи песка и показывает, что практически все они нарушают экологический баланс. Отсюда рождается идея:

«В связи с этим можно назвать песок драгоценностью Калмыкии. Может быть, через несколько десятков лет у нас будут покупать песок за большие деньги другие страны...».

Ничего себе! Продавать пустыню? Хотя говорил же кто-то из великих по другому поводу: «Эта идея недостаточно безумна, чтобы быть верной».

Сайгаки спасаются бегством

Вот еще проект, вернее, ученическая подсказка к нему.

Регина Мукабенова, 10 класс, Черноземельский район, поселок Комсомольский.

«...В нашей степи живет антилопа-сайгак, древнее животное. 50 тысяч лет назад он жил бок о бок с мамонтами и шерстистыми носорогами. Это живое ископаемое. Их всего осталось 20 тысяч».

Летом и зимой сайгаки питаются травами. От морозов и буранов их тело защищено густой шерстью, волоски шерсти внутри пустые, с воздухом, и поэтому они очень теплые, как пуховики у людей. Сайгаки заранее предчувствуют буран, пургу, сильный ливень. Они постоянно в пути, пасутся на ходу, скусывают верхушки растений и бредут дальше. И в этом великая мудрость природы, которая позаботилась о том, чтобы животные не выедали в одном месте всю траву сразу.

Вожак — сильный, старый и опытный самец с могучими, красиво изогнутыми рогами. У сайгаков хорошее зрение и обоняние, а слух развит плохо. Они спасаются от врагов стремительным бегством со скоростью 80 км в час. При быстром беге сайгак держит голову низко и весь окутан облаком пыли, а зимой снегом...

Первые меры по сохранению сайгака в Калмыкии люди приняли более 360 лет назад. В 1640 году, вскоре после переселения из Джунгарии в низовья Волги, на совете ойратов-калмыков утвердили специальный закон о «зонах покоя» для сайгаков, в пределах которых запрещалось охотиться и выпасать скот.

Чтобы животные не вытаптывали траву, люди разводили овец, коров, верблюдов и лошадей таких пород, у которых копыта — как бы «на подушечках». Такими копытами скот только приминает травку, а она выпрямится.

У богатырей в эпосе «Джангар» обувь без каблуков с загнутым носком — чтобы не портить землю, — замечает ученица. — Нам надо не утратить их опыт...»

Вчера сыплется сквозь пальцы, как песок, и сегодня втекает в завтра. Дети подсказывают нам: мы, и никто более, отвечаем за то, что с нами происходит.

Часть III. Русский роман с калмыцкой концовкой

День четвертый. Вчера

Странное путешествие — получается: утром отправляемся из Элисты километров за сто, двести, а к ночи возвращаемся в шахматную гостиницу. Как будто участвуем в турнире, где между партиями — перерыв. Я попросил, если можно, не возвращаться, двигаться дальше. Обещали: когда заедем за триста километров.

Калмыкия в общем-то маленькая по территории в сравнении с иными краями. Маленькая, да чем-то притягивает, ни одна замечательная историческая личность мимо не проедет.

Говорящая география

Ни о какой части бывшего отечества (кроме разве Грузии) не писали так много русские, и не только русские писатели, как о Калмыкии. Отчего так? Из-за невеликого расстояния от столиц (все же не Сибирь). Или по пути на вечные военные передраги, на Кавказ, все равно не проедешь мимо калмыцких степей?

Пушкин целые страницы выписывал из трудов по истории калмыков монаха Иакинфа Бичурина и других авторов. И сказочка, которую рассказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», — калмыцкая. «Нет, брат ворон: чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» И: «Прощай, любезная калмычка...»

Но и до Пушкина писали, встречаясь с калмыками, если не в степи, так в Париже. Герой Отечественной войны 1812 года, поэт-декабрист Федор Глинка запомнил: «Я видел, как коня степного на Сену пить водил калмык, и в Тюильри у часового блестел, как дома, русский штык!»

Гоголь в середине 30-х годов XIX века задумал книгу «Земля и люди», вписал для этой будущей книги параграф «Калмыки» и дал такую характеристику: «...несмотря, однако ж, на... бедность жизни, тощие и почти не производящие степи, калмык здоров, строен и гибок. Быстроглаз и видит далеко... Нравом гостеприимен и поделчив. В обращении ровен...»

Русский писатель и путешественник Василий Немирович-Данченко, брат знаменитого театрального деятеля, сравнивает калмыков с греками: «...эллинские юноши едва ли красивее боролись на олимпийских играх».

Илья Ефимович Репин, выросший в украинской слободе, заселенной калмыками, был свидетелем объездки диких лошадей. Запало на всю жизнь: «Калмык с лошастью — одна душа». Бунин, Паустовский, Смеляков — многие писали о калмыках. И все же, не в обиду русским писателям, наиболее обаятельно написал о калмыках француз, знаменитый автор «Трех мушкетеров» Александр Дюма, совершивший в 1858 году путешествие по России («От Парижа до Астрахани» и «Кавказ»).

День четвертый. Сегодня

В Национальной библиотеке в Элисте есть комната, куда родители приводят детей, и сотрудники библиотеки читают с детьми книжки и играют. Очень похоже на то, что я видел в Финляндии, в муниципальной библиотеке Эспо. Вообще, в Элисте замечательные музеи и библиотеки. Еще одна примечательная деталь: на уличных рекламных баннерах изображены лица. Не членов правительства или какой-нибудь партии, а Народного поэта, олимпийского бронзового чемпиона по греко-римской борьбе... «А это наш учитель. А вот, смотрите, смотрите, наш ученик!» — показывает мне лица на баннерах Светлана Ивановна, учитель истории и обществоведения.

Мы ездим по учебным заведениям — тоже вроде путешествия.

Ищем принцесс, бабушек и сестер

В вестибюле калмыцкой национальной гимназии я не заметил флага и гимна (которые наверняка там были), но увидел десять «белых добродетелей», ежедневно встречающих ученика.

«Не убивай, но уважай жизнь».

«Не лги, говори правду бесстрашно, но дружелюбно».

«Не трать времени на болтовню, говори о деле или молчи»...

Не знаю, у всех ли получается соблюдать заповеди, написанные на русском, калмыцком и старокалмыцком языках. К их освоению в гимназии относятся с чувством юмора.

Во время беседы с учителями подошли гимназистки, надели мне на шею «хадк» — белый шарф, символ чистоты, и поднесли чашку калмыцкого чая. О ритуале приготовления и поднесения чая рассказывать не буду, но девочки, которые мне это продемонстрировали, считают, что стоило бы соблюдать эти правила и сегодня. Почему бы нет? Общеизвестны народы, которые строго придерживаются чайной церемонии, и это не мешает их бурному развитию.

«Вообще, девушек у нас всегда хорошо воспитывали, учили правилам поведения, готовили стать хранительницами очага. И мы, — говорит директор гимназии Екатерина Николаевна Ченкураева, — решили продолжить традицию и создали нойхна сургаль — «школу принцесс»».

Школу открывала известный в Калмыкии этнопедагог, профессор Мукаева. Пригласили знаменитых калмыцких артистов, художников. Приехали соплеменники с исторической родины. «Среди них — наша принцесса, потомок джанханской династии, полковник китайской армии, ее зовут Сувен, что означает «жемчужина» — «Молодая?» — «Нет, уже в летах. Но дети видели, какая у нее осанка, какая прямая спина, как держится — сразу видно: человек благородных кровей. И армия, я думаю, помогает».

А самое главное, — продолжает директор, — в нашей гимназии действует институт "эйч" — бабушек. Вот есть же проблема, вы сами заметили: прабабушки говорят дома по-калмыцки, бабушки наполовину — только с мамами и папами, а те с детьми уже по-калмыцки не разговаривают. А мы попытались создать калмыцкую семью: дети, мамы, бабушки-эйчи. Эти эйчи приходят в школу, в сад и рассказывают на калмыцком языке сказки, играют в игры, в которые когда-то сами детьми играли. Среди них есть и бабушки с педагогическим образованием, которые к тому же могут и спеть, и станцевать. Но сейчас таких бабушек трудно найти, вы же понимаете, зарплата учителя небольшая. Поэтому мы ищем сестер — эгче. Сестру легче найти — наш университет готовит кадры учителей родного языка».

Бабушка калмыцкой этнопедагогике

Тут мы ненадолго покинем гимназию и заглянем в Калмыцкий государственный университет, на кафедру педагогики, где работает первая в республике калмычка-профессор Очир Джогаевна Мукаева.

Народная педагогика пережила немало. Сотрудники лаборатории, которой заведует Очир Джогаевна, рассказывали, как во время депортации, в декабре сорок третьего года, от людей требовали уничтожить, сжечь национальную одежду, музыкальные инструменты, книги. Но несколько человек, русских людей, сложили запрещенные вещи в ящик, заколотили и написали на фанерной крышке, что это не калмыцкие, а казахские вещи (с риском для собственной жизни — если бы узнало НКВД, этих людей расстреляли бы), и таким образом сохранили кусочек национальной культуры.

То есть не только калмыки, но и русские, и люди других национальностей, которые тут жили, спасали, поддерживали калмыков. Когда люди разных культур поддерживают друг друга, получается поликультурное достояние. Не в каких-то там лозунгах, в обычной жизни. На Северном Кавказе, в Дагестане, любят пить калмыцкий чай. А вот Петру I возглас калмыков «Ур-ра» понравился, и он подхватил его. До того, в битве под Полтавой, русские кричали «Виват!». А калмыки — «уралан» (вперед), в бою коротко — «ура». Но в силу перепетий судьбы калмыки многое утеряли: военное искусство, степь, ремесла, верблюдоводство, родной язык...

«Бабушка калмыцкой этнопедагогике» профессор Мукаева считает, что этнопедагогика — это наука даже не о возрождении и развитии, а о спасении народа. В государственном университете в Элисте по-калмыцки свободно говорит один только ректор Бадма Салаев. Его здесь называют опорой, надеждой и спасением языка. Задумались: как сделать, чтобы другие заговорили? Личным примером только? Нет. Решили попробовать через буддизм. Через молитвы на родном языке. «Я говорю студентам, школьникам: ты молишься по-калмыцки — ты должен знать язык. Я умру, кто продолжит? Язык это главное, — считает профессор Мукаева. — Как научить говорить так, как говорит Бадма? И как от этнопедагогике, монокультурного, перейти к поликультурному, к освоению культур других народов? Мир один, а народы многообразны. Мои калмыки, мой внучок будут жить в многомерном мире. Но основа все-таки — родной язык, без которого невозможно национальное самосознание».

Лаборатория в Калмыцком университете, кстати, возникла по инициативе удивительного человека, с которым меня в конце его жизни связали какие-то особенные, близкие отношения. Геннадий Никандрович Волков был основателем этнопедагогике как науки и последние годы жил и работал в Калмыкии. В Элисте будет открыт научно-образовательный центр имени академика Волкова, установлена памятная доска на доме. Съедутся ученики из разных краев России и мира...

Все в голове

О родном языке думают не только бабушки и дедушки.

Виталий Боков — молодой человек, лидер общественной организации «Иткыл». Выпускник петербургского университета. Один из тех ребят с горящими глазами, которые, как рассказывал мне Арслан Эрдниев, не ждут помощи от государства, а сами действуют.

«У меня, — искренне произносит Боков то, что другие стесняются произносить вслух, — с детства была любовь к своему народу. У меня все было — престижная работа, квартира. Но любовь моя... В семье со мной говорили на русском языке. Я выучился, окончил школу, стал заниматься народными традициями, историей, меч-

тал джангарчи стать, сказителем. В студенческие годы организовал для ребят группу по калмыцкой борьбе. Потом переехал домой. И вот уже несколько лет моей основной деятельностью является "Иткыл", который денег не приносит, но это — любовь».

Ничего особенного они, кажется, не делают. Собирают творческих людей. Изучают язык, традиции, деяния предков, привлекают внимание общественности к тому, что происходит в Калмыкии сегодня. Культурно-просветительское общество на фоне наступающей пустыни и угасающего языка.

«Идея "Иткыл" в трех буквах, — расшифровывает Виталий абривиатуру: — И — вера, Т — любовь — к степи, народу, языку, К — единство всех калмыков». Главное — вера. Отсутствие веры в собственный народ мешает восстановить язык, поднять экономику. Ограничение, оно в голове, понимаете?» — говорит лидер молодых образованных калмыков.

В их сообществе люди разных профессий, их объединяет желание пробудить любовь к своей земле. А язык — способ выражения этой любви. «Люди находят кучу причин, чтобы не учить язык. Если бы было так, что на работу нельзя устроиться без калмыцкого языка, за два дня бы выучили. А ведь язык — это же клад: народное творчество, то, что написано замечательными писателями, без языка этого никогда не прочувствовать. Калмык никогда не поймет энергетику, дух воина, не прочувствует своего потрясающего национального эпоса, если не знает языка. И эту пустоту заполняет чем угодно. Нет духовной опоры...»

Молодой человек — идеалист, конечно. Но ведь именно такие возрождали мертвый язык иврит, создавали первые киббуцы в Израиле. А чем калмыцкая пустыня хуже ныне цветущей — той?

«Что-то он мне бормочет, я не пойму»

Но вернемся в гимназию.

В первой половине дня уроки на родном языке: калмыцкая литература, музыка, изобразительное искусство, труд. Математика преподается по учебнику академика Эрдниева на двух языках: одна страничка задачника по-русски, другая — по-калмыцки. Физика на русском. В старших классах все на русском и английском.

Некоторые предметы изучают циклически: основы буддизма, например, — в шестом классе и в одиннадцатом, когда уже созрели. Калмыцкую письменность осваивают с третьего класса по седьмой. Шахматы — с первого по пятый. Народные танцы и песни — после обеда...

В гимназии есть и дошкольная ступень, куда набирают с двух с половиной лет, создавая среду родной речи. В Элисте есть национальный детский сад и около трех десятков дошкольных групп, где погружают в национальную культуру. Позже мы заехали в садик, во дворе которого стояли плетень, кибитка, скульптуры знаковых животных Калмыкии. В саду есть семейный клуб для молодых родителей: вместе с детьми они учатся родному языку, традициям, воспитатели консультируют их перед праздниками, как печь лепешки, какие обряды соблюдать. Ведь дети приходят из сада, что-то узнали, а родители не понимают. Говорят воспитателям: «Что-то он мне бормочет, я не пойму». Дети тянут за собой родителей. И так со ступеньки на ступеньку.

«У нас в городе, — рассказывает директор гимназии, — есть национальный театр, он взял нас под свою опеку. Поэтому дети прекрасно танцуют, выезжали в Китай, Испанию, в этом году — в Польшу. Они там были так удивлены, подходили, фотографировались...»

Предки и потомки

Урок в девятом классе был подготовлен специально для нас, но не в этом дело. Важно, что происходило.

«Как вы знаете, — говорит учительница, — в 1812 году калмыки выставили несколько полков, два из них — астраханские, под началом князей Джамбо Тундутова и Серибжаба Тюменя. В нашем классе учатся потомки участников той войны».

И вот выходит девочка и рассказывает про своего дальнего предка, сотника, есаула Манка Талтаева, героя Отечественной войны. Его фамилия значится в Указе императора Александра I, а орден Святой Анны III степени вручал ему сам Кутузов.

Потом мальчик рассказал о своем предке Беренкине Йондоне, на той войне он был рядовым. «Представители нашего рода пожертвовали сто тысяч рублей на памятник Беренкину. Ведь это очень важно — сохранить память».

И так многие дети выходили к доске и рассказывали о своих предках из далеких времен. Просто рассказывали...

Материальных памятников того времени в Калмыкии не сохранилось, за исключением Хошеутовского хурула в селе Речном, это теперь Астраханская область. Храм построен после войны 1812 года в память героев. На каждом кирпиче стоит родовая печать полководца, князя Тюменя: выпуклое изображение луны со стрелой.

У каждого в семье оказалось что-то личное из истории своего народа — что-то, что за скобкой федерального стандарта патриотического воспитания.

Женихи и невесты

Со второго класса дети учатся играть на домре. В четвертом осваивают обычаи сватовства. Дети показали, как это происходит. (Замечу в скобках, что в прежние времена брачная практика калмыков была необычайно разнообразна: был, например, «покупной» брак, брак «отработкой», обменный брак, утробный или колыбельный сговор, брак умыканием и прочие.)

Девочки («хозяева») сидят за столом. К ним приходят мальчики («гости») с подарками. В коробочках: мясо, сласти, мучные изделия. Невеста подает чай. Гости обращаются к хозяевам по-калмыцки с благопожеланиями. «С чем пожаловали?» — лукаво спрашивают хозяева. «Наш сын, — отвечают гости, — любит вашу дочь. Мы хотим взять ее ему в жены». Здесь учительница поясняет детям: в старые времена у невесты не спрашивали согласия. «Ну, тогда, — отвечают хозяева, — мы согласны».

Гости выкладывают подарки и гостинцы. Потом благославляют жениха и невесту. После этого хозяева и гости договариваются, сколько и чего конкретно надо принести на свадьбу. Поздней пойдут в хурул и определят «благополучный день» для свадебной церемонии. Оденутся соответствующим образом: у каждого рода есть свои цвет-талисманы, и каждая девочка знает, какими цветами убратся. Знает, что заплетать надо одну косу, две — знак замужней женщины.

В конце все танцуют и поют. На меня обычай, разыгранный четвероклассниками, произвел впечатление.

Русская школа

Едем в русскую школу имени Сергия Радонежского. Большое современное здание с высокими ступеньками. «Добро пожаловать!» — написано на фронте по-русски и по-калмыцки. Встречали меня тут русским караваем и калмыцким чаем. Здесь интересуются не национальностью, а индивидуальностью. С четвертого класса ученики участвуют в олимпиадах по математике, шахматам, родному языку, выпускники поступают в лучшие вузы страны — МГУ, Бауманский. Институтские препода-

ватели читают лекции, проводят с детьми занятия, очень много кружков, вообще видно: школа работает!

В школьном музее русской культуры, по которому меня водила восьмиклассница Света Курдюнова, я обратил внимание на «писало» — старинную палочку для письма, вырезанную из березы, которая в Калмыкии не растет. Пролистал народный календарь с выразительными местными названиями месяцев: сентябрь — хмурень, ревун, зоревник, октябрь — листопад, грязник, декабрь — стужало... Здесь как-то органично сочетаются иконостас от патриарха Алексия II и подарки друзей из Тибета.

В актовом зале ученики показали слайды из жизни школы, а потом устроили концерт: 5-й «д» пел калмыцкие песни, здорово отплясывал казачий танец. Калмыцкого языка ребята не знают, но кричат «шаваш!», подзадоривая танцоров.

После концерта поинтересовался у старшеклассников, чем, по их мнению, отличается эта школа? Ответили: отношением учителей, атмосферой всеобщей доброжелательности. Куда собираются после окончания? В журналистику. В школу милиции (девочка). В психологию, археологию, лингвистику, инженерами на производство, которого в стране пока нет, но...

И калмыцкая гимназия, и русская — школы светские, священники здесь не преподают. И мне показалось, что главное в этих учебных заведениях — воздух и гуманистическая почва, которая уж не знаю каким образом сохраняется в наше время.

«Одна задачка — никуда не годится...»

Сопровождающий меня в поездке внук привез наконец к своему знаменитому дедушке, старейшему, еще со времен АПН СССР академику, педагогу-математику Пюрвя Мучкаевичу Эрдниеву. Хотя ему девяносто два года и он инвалид войны, недавно еще читал лекции в университете.

— Вы в начальной школе работали? — спрашивает меня.

— Нет.

— Жалко. Повозишься с ними, семилетними, восьмилетними — многое поймешь.

Обычно бывшие фронтовики учились на заочном отделении, а Первя, несмотря на то, что жена еще кормила грудью их первенца, пошел на очное. На войну он уходил из здешнего педучилища, а после войны продолжал образование в Барнауле, потом в Ставрополе работал в пединституте («Тогда же калмыки были сосланы, — говорит он, — перемещение было ограничено»), когда стало возможно — в Элисте. Потом, — продолжает рассказывать свою биографию Эрдниев, — в Академии наук слушал лекции академика Анохина — ученика Павлова. Защищался уже в Москве. Разрабатывал основы проблемы противопоставления.

«Условный рефлекс возникает на основе двух раздражителей на небольшом временном промежутке. Мозг работает, когда сравнивает, когда включается механизм сопоставления. Отсюда я сделал вывод, и это есть в моих учебниках: сложение и вычитание надо изучать вместе, на одном уроке. То же самое дифференциал с интегралом. Минимум две задачи — прямая и обратная. Пара задач — пара раздражителей. Прямая и обратная теоремы», — убеждает меня, как когда-то своих оппонентов, Первя Мучкаевич.

Сколько прошло лет с того времени. Теперь это классика — эрдниевские «укрупненные дидактические единицы», азы методики: на одном уроке дети осваивают сложение и вычитание, прямую и обратную теоремы. А ведь еще и сейчас во многих школах России изучают по отдельности.

Я спросил, как ему удастся так хорошо выглядеть в его возрасте. «Основное тут», — показал он рукой на голову.

(Окончание следует)

Юрий Нечипоренко

Писатель сродни клоуну

Личный опыт работы «в поле»

Детская литература дарит человеку первое художественное слово, несет первый вымысел: по золотой ее цепи является к нам пушкинский кот ученый, а за ним тянется целая вереница образов — лезет на солнце крокодил Чуковского, качается бычок, который запустила Агния Барто, горит Кошкин дом, подожженный Маршаком. Детская литература входит в плоть и кровь человека — с младенческих лет она обладает голосом отца и матери, бабушки и дедушки. Детский писатель формирует личность человека через его родных и близких — и потом отходит в сторону, становится незаметным, как Бог. Да разве думают о том, кто сочинил ту или иную сказку, тот или иной стих, дети? Рассказ растет, как дерево, стих, как облако, — есть ли авторы у дерева и облака? Потому фигура детского писателя — сокровенная, скрытая, мало кто помнит имена писателей. Вырастают дети и забывают имена малышей писателей, только те, кто поразил воображение подростков, могут остаться в памяти — Волков, Носов, Кассиль... Или Гофман, Марк Твен, Жюль Верн, Джек Лондон. Подростковая литература переходит во взрослую, тут те же Конан Дойль и Ярослав Гашек, тут уже бравый солдат Швейк и доктор Ватсон, которые будут сопровождать нас всю жизнь. Вы, конечно, скажете: «Жупайдия, жупайдас, Нам любая девка даст!» — разве это детская литература? Юношеская! Но попадаем мы в нее из детской. Вот так незаметно происходит изгнание из рая детства, за мушкетерами и миледи являются Анжелика и поручик Лукаш — и грехопадение закрывает нам полеты на Луну с Незнайкой.

Сам я сочинять начинал трижды. Первый раз — после прочтения как раз «Незнайки на Луне», когда он вышел отдельным изданием, году эдак в 1965-м. Как я его ждал! Мы читали отдельные главы «Незнайки» в журнале «Семья и школа». Невмоготу было ждать продолжения, и однажды я окунул перо в чернила и вывел вверху листа клетчатой тетради название: «Незнайка на Марсе». Первая фраза пошла легко: «Незнайка сел в звездолет и полетел на Марс». Однако здесь вдохновение меня оставило... лет на двадцать. Второй раз сочинительство пришло, когда от полноты жизни, после защиты первой диссертации в Академии наук, я написал повесть о молодых ученых, которые ищут эликсир бессмертия. Похоже, это была ерунда — по крайней мере, единственный знакомый тогда мне писатель Александр Эбаноидзе ее не одобрил, и к повести этой я больше не возвращался. Но вот уже в третий раз, начитавшись «Школы для дураков», когда жизнь меня прижала, в порыве отчаяния, в два дня набил на пишущей машинке повесть о детстве «Мой отец — начальник связи». Мне посоветовали показать ее Владимиру Лакшину. Он прочел эту вещь, перезвонил, назначил встречу (дело было осенью или зимой 1987 года, Владимир Яковлевич работал тогда в журнале «Знамя») и сказал мне пару добрых слов — но публиковать отказался. Мол, инфантильное сознание показано в повести методами инфантильного

сознания, а это не работает... Я вышел из редакции, которая тогда располагалась в особняке на Тверском бульваре, с вскипевшими мозгами: кипело мое инфантильное сознание — другого, верно, у меня не было.

Стать детским писателем — такая мысль не пришла тогда мне в голову. Однако эта повесть о детстве, которая мне мнилась авангардной и взрослой, стала открывать двери — и вовсе не те, в которые я стучался, а совсем другие... «Та» дверь вела в квартиру Татьяны Борисовны Здорик, минералога и литератора, внучки Сергея Городецкого. К ней я ходил слушать лекции Федора Бабицкого по филологической астрологии и петь спиричуэлсы. Видно, так сошлись звезды, камни и песни, что открылась в этой двери еще одна, заветная, — здесь я познакомился с Лолой Звонаревой, которая посоветовала сходить со своей повестью на семинар по детской литературе при Союзе писателей на улице Писемского. Семинар вели Яков Аким и Сергей Иванов, и здесь я встретил тех людей, с которыми уже надеюсь не расстаться...

Два слова о семинаре: когда я там появился, он уже существовал несколько лет — здесь проходили обсуждения рассказов и стихов, в целом все было чинно-благородно, за одним исключением: в первый же раз мне бросился в глаза какой-то анфан террибль. Он на каждом обсуждении рвался в бой, выскакивал на середину комнаты, как на ринг, махал руками и кричал. Странная помесь клоуна и боксера — он не мог остановиться сам, с трудом его окорачивал руководитель семинара:

— Лёва, ну хватит...

Этот человек вскоре стал моим другом, с ним мы объехали Узбекистан, Прибалтику, побывали на Волге и в Лапландии. Он заслуживает отдельного рассказа — прошу любить и жаловать: поэт и драматург Лев Яковлев, который не боится говорить то, что думает. Льва все время заносит, он нападает на мэтров, он пишет ругательные статьи о премиях, в общем, он напоминает героя сказки Андерсена, мальчика, который не побоялся сказать, что король голый, — вот этот мальчик вырос и так же режет правду-матку! Даже когда его об этом никто не просит. За двадцать пять лет нашего знакомства кем только не перебивал Лев: главным собирателем детских анекдотов, издателем и редактором, телеведущим, критиком, сочинителем реприз для клоунов — и наконец сейчас он стал драматургом и либреттистом. Конечно, все эти годы он был и остается детским поэтом, который умеет работать с детьми так, что они приходят в полный восторг от его частушек, и наши недавние поездки в Нижегородскую область, в Таллин и выступления в Москве — тому подтверждение:

Всех Серёжа задирает,
Получает тумачи.
Кто-то марки собирает,
А Серёжа — синяки!

На самом деле здесь вместо Серёжи должен быть сам Лёва... В лучших традициях детских дразнилок и частушек эти строчки личностно направлены, задевает кого-то — и все, кто вокруг, примеряют: правда ли или выдумка, собирает Серёжа синяки или нет?

Лев за эти годы преобразился: когда он был главным редактором редакционно-издательского центра «Чёрная курица» под боком у Ролана Быкова, то раздулся, как шар, стал неповоротливым и важным. Но вот центр этот приказал долго жить, после тучных лет пришли тощие — и сам Лев стал тощим, обрел спортивную форму, превратился в тренера по бадминтону! Потом пошли его спектакли в разных театрах России и СНГ, и Лев опять начал раздуваться...

Со Львом недавно у меня произошла чисто мистическая история, которую иначе как «мечты сбываются» не назвать. Шел я по Никольской улице от Кремля, глазел по сторонам — давно здесь не был. Вижу: театр Покровского! Я так отстал от жизни, что не представлял себе, что театр этот уже давно не на «Соколе»... Вот, думаю, попасть

бы на спектакль сюда! Прохожу сто метров — навстречу Лев. Куда идешь? В театр Покровского... Подводит меня к театру, и я читаю огромную афишу, где имя его набрано такими же буквами, как и имя Буратино!

Помните «Сказку про Золотой ключик»? «Назовем его Буратино. Я знал одно семейство, там всех звали Буратино: папа Буратино, мама Буратино и все дети тоже Буратино. И все они жили весело и беспечно!»¹ Примерно в такую семью Буратино попал и я, мы создали клуб детских писателей «Чёрная курица» и стали собираться каждый месяц — вначале в Доме детской книги на ул. Горького, потом в библиотеке им. Гайдара в Ружейном переулке. У истоков этого клуба кроме Льва Яковлева стояли поэт Владимир Друк, критик Лола Звонарёва, художница Ольга Стацевич, прозаики Борис Минаев и Александр Торопцев. Нас привечали Владимир Берестов и Юрий Коваль, нас поддерживала Марина Москвина — мы создавали самую, как казалось, авангардную и современную детскую литературу; собрали толстый и шикарно иллюстрированный альманах «Кукареку», выпустили его в 1990 году — и имели немалый успех; мы давали интервью в «Литературной газете» и на ТВ. Казалось, вот сейчас произойдет великий расцвет детской литературы — но тут грянул 91-й год, кризис 92-го, и всем уже стало не до детской литературы.

Дом детской книги у нас отобрали под какой-то бутик, в отсутствие финансирования закрылся после смерти Игоря Нагаева журнал «Детская литература», погибли многие начинания, не удалось выпустить второй номер «Кукареку», не вышли наши книги, канули в Лету многие проекты. Но Лев Яковлев не унывал: тогда-то он и создал редакционно-издательский центр, стал выпускать энциклопедии, придумал передачу «Детские анекдоты» на ТВ, начал издавать журнал «Вовочка». Публиковать удавалось то, что можно быстро продать, и литература отступила в сверхкороткий рассказ, притчу, анекдот, а клуб превратился в творческую лабораторию: мы собирались и читали друг другу рассказы и стихи из неопубликованных книг. Лучше обстояли дела у переводчиков: Марина Бородинская, Григорий Кружков и Виктор Лунин выпускали книжки переводов. Тем не менее Лев обхаживал самых разных издателей и ему удавалось собирать порой книжечки типа «Любимой маме» или «Лучшие истории современных детских писателей», где мы печатались по чайной ложке.

В конце 90-х меня нашел журнал «Весёлые картинки» и предложил создать концепцию нового подросткового издания. Главный редактор «Картинок» художник Рубен Варшамов решил, что не стоит терять растущих читателей: нужен был журнал от восьми-десяти лет. Это был как раз «мой возраст», я чувствовал свою связь с ним — и принялся за дело. Было придумано десятка два названий, мне помогала дружески Марина Потапова (в наши дни она прославилась как сценарист «Шапито-шоу») — и одно из названий: «Пампасы» — всем понравилось. Концепция была проста: в 90-х годах все мы оказались в новой реальности, попали в джунгли и пампасы, откуда совместными усилиями ищем выход. Я начал делать художественно-познавательный журнал, где сведениями «из первых рук» делились с подростками ученые, историки, путешественники — и конечно, писатели из нашего клуба «Чёрная курица». Рубрики журнала говорили сами за себя: «Какое в мире чудо?», «Нью-сказка», «Родные пампасы»... Тогда же я провел несколько встреч кафе «Детских писателей», благодаря журналу появилось множество знакомств — с художниками Вадимом Иванюком и Сергеем Тюниным, с писателями Сергеем Георгиевым и Стасом Востоковым. После того как умер Рубен Варшамов, мне пришлось перенести «Пампасы» в Интернет, где он благополучно существует и до сей поры, собирая десятки тысяч читателей в месяц².

¹ У Коллоди еще добавлена такая характеристика семейства Пиноккио: «Все они жили очень хорошо: самый богатый из них просил милостыню». (см. «История деревянного человечка», М.: Совпадение, 2007, с. 29.)

² Адрес журнала: epamra.narod.ru

Отдельная и чудесная история знакомства случилась с Ксенией Драгунской: ее привел к нам домой драматург Андрей Вишневецкий, и она впечатлилась моим рассказом «Две собаки» из «Кукареку», а я — ее «Вспоминаниями», которые тут же начал печатать в «Пампасах». Мне показалось, что с Ксенией нас объединяет родство манер сочинительства — у нас герои были невыдуманные, мы рассказывали истории от первого лица, и сама свои истории она назвала «Честными»... Со временем я даже стал героем ее рассказа и посвятил ей рассказ. В общем, мы почувствовали друг друга, как те самые родные буратины. Помните, как Буратино попал в театр? Продал «Азбуку», купил билет, зашел внутрь — и там увидел своих. Они тоже его увидели и закричали: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам, веселый плутишка Буратино!»

Издательский дом «Весёлые картинки» затеял выпуск целой серии новых журналов: о путешествиях, о животных — и я привел туда своих друзей-приятелей: Олега Кургузова и Тима Собакина. Олег и Тим делали знаменитый журнал «Трамвай», который выходил в 90-м году тиражом в миллион экземпляров! Олег был очень обаятельным, лучащимся человеком; кроме того, он все время что-то затевал — после «Трамвая» были журналы «Улица Сезам», «Куча мала», и хотя жили они недолго, он успевал напечатать там своих друзей, и вкус у него был отменный! К великому сожалению, Олег ушел от нас рано, не дожив до 50 лет... Но его необыкновенное дружелюбие привело к тому, что мы, писатели круга «Чёрной курицы», собрались в 2009 году на станции Столбовая, где библиотеке было присвоено имя Кургузова, и пообещали друг другу выпустить книгу воспоминаний об Олеге. Эту книгу собирала вдова писателя Ольга Шальнева — а мы с Михаилом Есеновским ей помогали. Нам, в свою очередь, помогла директор московской областной детской библиотеки Ольга Павловна Кубышкина, мы нашли издателя — Вадима Мещерякова, и вышла чудесная книга «Сказки Олега. Сказки об Олеге», которая по праву стала лучшей детской книгой 2013 года.

Библиотекарь — ключевая фигура для детской литературы: именно его рекомендации во многом определяют судьбу книги, и добрые отношения связали нас с десятком библиотекарей по всей России, начиная с Татьяны Рудишиной из московской библиотеки им. Гайдара. Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Калужская, Орловская и Белгородская областные библиотеки приглашали нас на встречи с читателями, привечали и возвеличивали: как сыр в масле катается писатель в таких поездках — тут вам и лучшие читатели области, гостиницы и рестораны, художественные галереи и музеи... Кроме областных, были еще городские библиотеки — в Сарове и Муроме и в поселке Строитель Белгородской области, который вообще мне напомнил Солнечный город из повести про Незнайку. Библиотека здесь расположена в бывшем здании казино! Чтобы отобрали здание у библиотеки, это мы знаем, но вот отнять у казино и передать библиотеке — такое возможно только в сказочном городе!

Книжка — форма сообщения от человека к человеку, и сотни, тысячи книжек стоят на полках скромными кирпичиками, пока их не откроет читатель, не затрепещут они крылышками страниц в его руках... Встреча читателей с писателем для библиотекаря — возможность привлечь внимание к книжке, здесь обаяние личности автора может помочь заразить любовью к чтению. Тогда кирпичики эти книжные станут основанием для построения уже новой личности, благодарного читателя. В последние годы мы ездим на встречи с Виталием Кивачицким, директором издательства «ЖУК» (Живая Умная Книга). Именно «ЖУК» выпустил мою книжку о Гоголе, которая была признана журналом «Что читать» лучшей детской книгой 2009 года, а потом я начал здесь свой авторский проект — серию «Для тех, кому за 10». Авторы этой серии — мои добрые друзья из клуба «Чёрная курица», в ней мы постарались собрать рассказы и стихи, которые могут быть интересны взрослым и детям.

Первой в этой серии «ЖУК» выпустил мою книжку «Смеяться и свистеть», и судьба ее оказалась счастливой: две премии, «Серебряный Дельвиг» и «Ясная Поляна» — только в 2013 году! Еще в рукописи благодаря ей я стал лауреатом премий Сергея Михалкова и Алексея Толстого. А ведь именно эту рукопись я носил в

издательство «Детская литература» в 1990 году, и там ее забраковали... Мне посоветовали тогда сходить к секретарю комсомольской организации издательства и сказать, что молодых авторов «зажимают». Этот совет показался настолько диким, что я и не подумал им воспользоваться. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что даже повесть Юрия Коваля «Недопесок Наполеон III» выпустили благодаря вмешательству его отца, начальника уголовного розыска Подмосковья, который надел все свои ордена и явился к директору издательства... Сейчас такие ходы уже не очень работают, издательств стало много — и в каком-нибудь можно выпустить книжку каким-то тиражом. Но выпустить книжку — еще полдела, нужно распространить. Премии здесь мало что значат — сплошь и рядом премии присуждают за книги сомнительных достоинств, читатель не доверяет премиям, он хочет быть уверенным, что книга хороша, что писатель и издатель его не обманут. И здесь-то как раз важно личное общение, рекомендация библиотекаря. Но во все библиотеки не приедешь: зато писатель и издатель можно встречаться с библиотекарями и читателями на книжных фестивалях.

В 2014 году на осенних каникулах мы провели вместе с Марией Веденяпиной в Российской государственной детской библиотеке — самой большой детской библиотеке в мире — Всероссийский фестиваль детской книги, где вокруг книги встретились все заинтересованные лица: писатели, издатели, критики, библиотекари, книгопродавцы и учителя... В фестивале этом приняло участие больше двухсот специалистов — и посетило его девять тысяч человек! В конце октября фестиваль пройдет второй раз.

В детской литературе мы себя чувствуем пока, как в песочнице, если даже и повздорим — то это не так серьезно, не так зло, как у взрослых: и премий Нобелевских у нас нет, и народ притягивается сюда подороже — видно, все же облагораживает писателей общение с детьми-читателями. В последние годы появились у нас новые чудесные писатели и поэты: Артур Гиваргизов, Дина Бурачевская, Настя Орлова, Ирина Краева... Есть сейчас для нас и рекомендательный сайт — «Библиогид» при РГДБ, есть и дружеский журнал — «Библиотека в школе». В этом мире собираются прекрасные художники, о которых я пока ничего не сказал, а ведь художник — равноправный соавтор детской книги: дети запоминают картинки лучше, чем стихи! Мне так повезло, что я встретился со своими художниками Евгением Подколзиным и Алексеем Капнинским, что на радостях мы с издательством «ЖУК» устроили выставку «Крылья книги» в Государственном литературном музее, где показали работы семи художников проекта «Для тех, кому за 10». Прекрасный журнал «Художник и писатель в детской книге» издает Лидия Кудрявцева — но кто о нем знает, кроме специалистов? А какие книги выпускает Мария Вайсман в издательстве «Август»? Дружба с художниками у меня получается даже как-то лучше и открытей, чем с писателями и поэтами. Отдельная тема — редакторы и критики, я ее здесь не коснулся почти, а ведь Татьяна Куцубова (сама, кстати, интересный поэт), Ирина Арзамасцева, Вера Бройде, Алексей Копейкин, Дарья Лебедева, Ирина Лисова, Дарья Маркова, Мария Порядина, Ксения Молдавская и многие другие немало делают для детской литературы.

Напоследок расскажу историю, как в 1989 году мы с Мариной Москвиной и Львом Яковлевым проходили в парк ЦДСА на фестиваль уличных театров «Караван мира». Билетов у нас не было, а попасть очень хотелось. Вот обошли мы кругом вдоль забора весь парк... Высокий там забор, в два человеческих роста почти, чугунный! Где наша не пропадала? Полезли мы на забор! Я стал внизу, Лёва перелез, прыгнул на ту сторону, за ним так же через мою голову перелезла Марина, встала на плечи Льва... А мне-то как теперь перелезть? Я огляделся вокруг: рядом с нами компания веселых родителей таким же образом передавала через забор детишек. Был я тогда, 25 лет назад, худым и легким человеком — и сошел за ребенка. И как там здорово было, как нам понравились представления клоунов из разных стран мира! Видно, писатель сродни клоуну!

Так же примерно попал я и в мир детской литературы...

Ольга Балла

Наука расставания

Что сводит книги вместе, в пределах одного читательского взгляда, кроме, разумеется, редакторской воли да произвола случая — да еще, пожалуй, персональных пристрастий читателя, внутренней формы его восприятия? Ну как могло получиться так, что рядом друг с другом, скорее требуя замысла, чем повинувшись уже готовому, оказались три книги, написанные разными авторами в разное время, даже в разных странах и на разных языках — и все об одном и том же: о детстве и путешествиях? Никто не выбирал нарочно, честное слово.

И замысел сложился сам собой: он — о родстве детства и дороги. Уж не о совпадении ли их друг с другом?

Дело даже не в том, что в детстве страстно мечтается о поездках, о впечатлениях, об узнавании мира, о жадном его присвоении всеми органами чувств. Конечно, мечтается; а героиням двух книг из тех, о которых мы будем говорить ниже, как раз такое детство и досталось. Ну в точности такое, о котором автор этих строк когда-то грезил в своем московском дворе: везет же людям! ездят! Вот она, настоящая жизнь!..

Только то, что одной московской девочке казалось недостижимой мечтой, для писательниц Ильмы Ракузы и Катерины Яноух в их детстве стало не просто реальностью — но реальностью вынужденной. Навязанной. Ее приходилось претерпевать, с нею надо было смиряться.

Дело же в том, что детство — само по себе дорога. Даже если сидишь на месте. Тем более, если нет. Поездки просто делают это чуть более явным.

А дорога — всегда преодоление и расставание. Об этом в связи с детством как-то редко думается (куда чаще — о приобретениях и росте). Между тем, так оно и есть. И более того, это — неотъемлемая оборотная сторона приобретений и роста. Да и такая ли уж оборотная?

Детство, переполненное ростом как основным состоянием и занятием маленького человека, всегда, неминуемо — путь от «своего» к «чужому» (одновременно и наоборот — от «чужого» к «своему», выработка «своего» из неподатливого материала «чужого»). Постоянное пересечение границ между этими сущностно разными областями жизни. Оно вообще — пересечение границ. Просто уже потому, что — постоянное расширение круга опыта, разрыв защищающих оболочек. Об эти пересекаемые границы, разрываемые оболочки просто невозможно не раниться. Рост — всегда травма и неизбежно — утрата. Не только, разумеется, это, но уж это — непременно.

С утратами надо уметь справляться — учит дорога. Она вся — о единстве обретений и утрат, о немислимости их друг без друга.

Вот об этом и пойдет речь в двух обсуждаемых сегодня книгах воспоминаний. Обе — о детстве, проведенном в скитаниях, и, главное, — о том, какой человек получается в результате. Третья книга, Дмитрия Бавильского, обращена к самим детям. Она учит их тому, что такое путешествие, как оно устроено, что в нем

непрерывно бывает, просто не может не быть. Но на самом деле книга ведет с юным читателем разговор еще более глубокий. Она о том, что любая жизнь — всегда взаимодействие с Другим. Это Другое (этого Другого) необходимо учиться понимать. С ним надо уметь взаимодействовать. Не говоря уж о том, что Другим самому себе всегда можешь оказаться и ты сам. В детстве, когда все время растешь, так ведь оно на каждом шагу и бывает. Детство — постоянное испытание инаковостью и новизной.

Мудрено ли, что многие, выросши, так поспешно спасаются от этого испытания в рутину и превращаются в скучных взрослых? Затем и существует дорога — чтобы их из этого состояния выводить. Чтобы они — мы! — снова почувствовали свою неготовность к миру, свое удивление им, незащищенность перед ним и неминуемость роста — как в детстве.

Разумеется, это трудно. А иначе неинтересно.

Дорога — великий выявитель скрытого — ставит нас, как в детстве, лицом к лицу с неосвоенным Другим. Хотя на самом-то деле, чтобы увидеть его и выйти из своих привычных, обжитых равновесий, и снова, как в детстве, пойти в рост, совсем не обязательно куда-то ехать.

Ночевка под звездами

Ильма РАКУЗА. Мера моря: Пассажи памяти / Перевод с немецкого В. Агафоновой. — СПб.: Алетейя, 2015.

История швейцарской писательницы Ильмы Ракузы — это история о том, возможно ли быть «человеком вообще». Не таким, который принадлежит какой бы то ни было одной культуре полностью — и, как правило, не замечает этой принадлежности, подобно воздуху, и целиком же ею определяется. Не таким даже, который, как счастливые билингвы-двойкодышащие, обитает в двух родных ему культурных средах одновременно. А вот таким, у которого родных, полностью его захватывающих и поддерживающих сред нет совсем. Человеком межкультурным, надкультурным, входящим в разные культуры, не уловленным ни одной из них (но тогда — на что же ему все-таки опираться? Из чего себя создавать? На какой основе укреплять материал, доставляемый опытом?).

Когда-то философ Григорий Померанц назвал самого себя, считая, что он в наследуемых традициях не укоренен, человеком воздуха. Излишне говорить, что при всей его универсальности, в русской культуре как среде своего постоянного обитания он укоренен был — и превосходно. Разные символические миры, разные системы условностей не спорили в нем друг с другом, не вынуждали его обживать пограничные пространства, осваивать трудную науку пересечения земных границ. Опираясь на русскую культуру как на надежную лестницу, он мог подниматься — и поднимался — к тем областям, до которых наши перегородки не доходят.

Случай Ильмы Ракузы — гораздо сложнее. Ни одна из культур, в которых ей приходилось жить, не была ей, по самому большому счету, задана в качестве изначальной и безусловной. Каждая из тех, что доставались, оказывалась прозрачной: через каждую всегда просвечивало что-то другое. (Разумеется, я не думаю, что Ракуза и Померанц — явления хоть сколько-нибудь одного порядка, или типа, или чего угодно. Эти судьбы — совсем о разном. Они сопоставимы лишь в одном — зато в важном и не слишком, кажется, продуманном русской мыслью: оба — люди воздуха. Теперь мы знаем, что такие люди бывают нескольких типов.)

А каково тебе, если ты, ничейный и нигдежный человек воздуха, — еще и писатель? То есть, человек, действующий в культуре, создающий ее, вынужденный

изъясняться культурно определенным языком и адресоваться к культурно же определенной (значит — иначе, чем ты, устроенной) аудитории со своими привычками и ожиданиями? На какое понимание ты можешь в такой ситуации надеяться? Способен ли ты и при этом быть свободным от культурной принадлежности? Видеть поверх барьеров? Проходить сквозь то, что для других — стена?

Собственно, это — история-вопрос. И, кажется, определенного, окончательного — а уж тем более, универсального — ответа мы тут не получим.

Но направление, в котором можно двигаться в поисках такого ответа, похоже, намечено. И тот частный, глубоко личный ответ, который нашла для себя Ильма Ракуза, здесь тоже есть.

Наметил направление такого поиска случай — ведь всякая биография случайна. Хотя да, не каждому достаются в начале жизни такие экзотические — на внешний взгляд — обстоятельства, какие достались автору этой книги.

Она уже родилась человеком двух миров — дочь словенца и венгерки. Кроме того, пишет Ракуза, «женская линия предков с материнской стороны ведет нас в Польшу и Литву <...> Вильна, Вильнюс, с его улочками и холмами, с его девяноста девятью церквями и литовско-польско-русско-еврейским многообразием...» Пограничья и перекрестья — в крови, в телесной памяти, если такая, конечно, существует (а вдруг?). Но уж символическая память существует точно, и унаследованная хотя бы в семейных рассказах Австро-Венгрия — живая возможность и многоликости, и незащищенности: «Пусть покажут местечки, в которых служил таможенным офицером мой прадед. В различных уголках Венгрии, включавшей в себя Семиградье, часть Словакии и Закарпатье и принадлежавшей Австро-Венгерской монархии. Все эти русла рек и границ. Все эти города с новыми именами и смешанным самовосприятием. Все эти смены режимов и войны, разорения и вторжения. Ветер Истории».

При таком роскошном символическом наследстве Ильма все детство (которое пришлось на конец сороковых — пятидесятые годы XX века), как будто судьбе этого показалось мало, постоянно переезжала вместе со своими родителями из страны в страну. Из культуры в культуру, из языка в язык — нигде глубоко не укореняясь.

Родилась в первом послевоенном, 1946, году в Южной Словакии (собственно, в бывшей Северной Венгрии, переставшей таковою быть всего за двадцать с лишним лет до рождения автора, в результате Трианонского договора; в городе Римасомбат, который словаки называют Римавска Собота). Комментирует так: «Случайное место рождения». Случайное, несмотря на то, что здесь успела родиться еще мать Ильмы: потому что глубокие эмоциональные связи с ним сложиться не успели. Возвращение туда — совсем недолгое — лишено и ностальгической грусти, и радостного узнавания: «Одним морозным до звона ноябрьским днем 2004 года я приветствую город как незнакомка». Росла в Будапеште, Любляне, Триесте, в пять лет оказалась в Швейцарии. Закончив гимназию в Цюрихе, отправилась учиться славянской и романской филологии вначале там же, затем — в Париже, потом — в Ленинграде. Уж не позавидовать ли?! Да как сказать...

Ничто из того, что обреталось, осваивалось и вскоре утрачивалось, не получало надежной возможности стать «своим», превратиться в точку отсчета, в то, на что можно было бы опираться. Только привыкнешь — а уже надо прощаться. Вечно новичок и первооткрыватель. Вроде бы умеющая быстро освоиться едва ли не где угодно — и повсюду хоть немного да чужая. Особенно в самом начале.

«Меня никогда не спрашивали. Решение об отъезде всегда принимали другие. Родители, обстоятельства. Ты едешь с нами. Я еду с ними. В Неизвестное. В очередное временное пристанище. И так все детство».

Будучи совсем маленькой, эта девочка все время осваивала одну из основных наук своей жизни — науку расставания.

То, что здесь рассказано, на самом деле не совсем о детстве, хотя именно ему

посвящена основная — и наиболее интересная и насыщенная — часть книги. По большому счету, это — о зазорах между человеком и культурой как системой определяющих человека (но не исчерпывающих его) условностей. О том, что в эти зазоры может заглянуть. И как человеку с этим справляться. Особенно маленькому, но здесь и большой не так уж многим от него отличается.

В случае Ильмы Ракузы, во многих своих чертах, разумеется, исключительном, пожалуй, даже так не важно, между какими именно культурами и странами и по каким именно причинам ей приходилось в детстве перемещаться, все время двигаясь от утраты к обретению и обратно. Здесь важно само движение — как исходный опыт.

Мы искали точки отсчета, плоскости опоры? Так вот же они.

Есть и еще одна плоскость опоры для междумирного человека: чувственный опыт. Непосредственная — то есть не опосредуемая толкованиями — данность жизни в жадно ее ошупывающих ощущениях.

Ракуза — человек словесный. Вот, кстати, еще одна опора: слова, сам принцип словесности, независимо от того, на каком языке эти слова будут произнесены. Слово — это то, что всегда с тобой. Это почувствовалось уже в детстве — благодаря тем самым постоянным перемещениям, задаваемому ими ритму: «Сквозь ночь пронеслись, вместе с поездами, целые составы слов, одни рифмовались, другие наталкивались друг на друга». (Кстати, опыт слов — ведь тоже чувственный.)

Маленькая Ильма вслушивалась в слова разных языков, которые ей приходилось осваивать; обживала их, как временные дома. У каждого оказывался собственный норов.

«Печальным было и слово "прощание". И "поезд", и "пути", и "снег", и SMRT. Смерть, — так вспоминает она словенский, люблянский период своих странствий. — Путешествие было полупечальным словом, точнее — печальным на три четверти. Потому что я не всегда хотела уезжать или не хотела, чтобы уезжали другие. Влекло ли нас любопытство? Или новое всегда было где-то не здесь? Вон там заканчивался сад, а за ним начиналась ничейная земля поездов, путешествий. Цветущий бурьян доставал до колес поездов. Он цеплялся за колесо и уносился прочь, обрывками».

Сегодня Ильма — переводчик (кем еще быть трансграничному, многоязычному человеку, как не переводчиком?), литературовед, критик, но прежде всего — поэт. Поэтому так подробно внятны ей чувственный облик мира. Поэзия выделяется среди прочих словесных занятий и умений как раз тем, что знает толк в дословесном.

«Семь яблок лежат в фарфоровой вазе, касаются, не мешая друг другу. Словно скатились откуда-то: все на разной высоте, но друг на друге. Впереди — в красно-желтую крапинку, остальные — зеленовато-красный муар».

Доверие к мимолетному, внимание к нему. Ракуза ловит его на лету, скорописью:

«Этот день сегодня. Заяц в подлесе. Самка дрозда осторожна, смотрит с опаской. Freezing cold».

Зачем, казалось бы, про все эти сегодняшние детали (глава так и называется: «Что сегодня (Натюрморт-интермеццо)» — в книге о детстве? Кажется, затем, что скитальческое детство научило доверять сиюминутному и ценить его.

Может быть, опыт постоянных разлук учит острее (чем это бывает у оседлых людей) видеть то, с чем вот-вот расстанешься, благодарнее его ценить — и увереннее от него освобождаться, когда оно уходит.

Ильма и это тоже знала еще прежде, чем стала поэтом.

«В лесу или на краю леса я играла в "сейчас". Я кричала "сейчас", слушала эхо и знала, что "сейчас" уже прошло. Только произнесешь, и настоящее опрокидывается в прошлое, словно навзничь падая в море. <...> Эхо делило время, которое я подстерегала, чтобы разгадать. О будущем я не думала. "Сейчас". И снова "сейчас"».

Скитальческий опыт формирует еще и особенную внутреннюю дисциплину. Вкус к легкости. Минимализм потребностей. «Цыганская жизнь с раннего возраста

приучила меня ограничивать потребности. И научила бережно обращаться с немногим. Не дай бог потерять что-то. Предпочитай удобное, немнущееся, многофункциональное». А самое главное — самодостаточность. Вот уж, кажется, опора опор! «...Ты сам себе дом. В пути ты или нет, кров обеспечиваешь себе сам. Это я узнала даже раньше, чем хотелось бы. <...> Папа, мама, чемоданы и я — вот был мой мир. Но поскольку за папу, маму и чемоданы держаться не получалось, я поняла, что единственный мой дом — это я сама».

«Ильма — кочевник», — пишет в предисловии к книге Михаил Шишкин и, конечно, делает неминуемый вывод, что «поэт — кочевник по мирозданию, понимающий, что жизнь — это ночевка под звездами».

Но разве не таков и каждый человек? Иным, конечно, случается всю жизнь просидеть в своем шатре посреди человеческих кочевий, мнить себя защищенными. Однако стоит выглянуть из этого шатра, сразу видишь, чувствуешь: там — Ветер.

И он всегда больше Дома — чем бы этот дом ни оказался.

В этих межкультурных, междумирных разломах человек обретает себя настоящего: чистую основу, ту, что до всех культурных толкований и оформлений. Проникает к тому остатку, который недоисчерпывают условности и на который все они опираются. Очень немногие умеют это видеть, тем более — осознавать. Это немного так, как — казалось в детстве — если быстро-быстро обернуться, успеешь застать предметы такими, какие они без тебя, для самих себя, пока ты на них немотришь.

Вот межкультурные люди умеют застать себя такими, каковы они, пока не смотрит на них культура. Они знают такой поворот головы.

Очень похоже на то, что они, и тоже с раннего детства, более прочих внимательны и к тому, что происходит тогда, когда — казалось бы — ничего не происходит. Когда ты не «здесь» и не «там», не «теперь» и не «тогда» — а предоставлен самому себе, свободен от предметов, требующих твоего внимания и усилия. Тогда происходит — что? А все одновременно. Тогда разворачивается внутренняя жизнь. Нет, не только — тогда осязается само вещество существования, из которого потом лепятся все частные его формы. Так бывает в дороге, особенно в долгой, на той самой «ничейной земле поездов, путешествий». Но не только в ней. Ильма заметила это еще до пяти лет, в жарком Триесте, «в комнате с опущенными жалюзи». «Голова работает, а я лежу, вытянувшись на кровати, приговоренная к ничегонеделанию. Это называется: тихий час. Это называется: отдыхать.» Это тоже ничейная земля.

«Грезя наяву, я создаю себе мир. И забываю о времени. Как давно я уже лежу в затемненной комнате? Которая, впрочем, не так уж темна и мертва. Глаза быстро привыкают к сумраку, следят за сетью трещин на потолке или за солнечными зайчиками, скачущими по кафельному полу. Сквозь щели в жалюзи всегда просачивается немного света, образуя дрожащие полосы или пятна. Я не могу насмотреться на это представление. А это не козья голова? Не ослиный профиль? Вглядывание требует толкований, и комната вдруг оказывается обитаемой. Населенной зверями и другими существами, я даже слышу их шепот. Каждый раз заново переживаю я превращение моей *camera obscura* в комнату чудес, а моего одиночества — в счастье. <...>

Со временем комната для сестры стала моим приютом. Убежищем. Окружавшая меня пористая мембрана давала мне чувство защищенности и свободы».

Кем все-таки стала в результате всех своих кочевий Ильма Ракуза? Какую идентичность оказалось возможным составить из такого, всегда отрывочного, всякий раз неполного материала? У меня есть версия. Она стала европейкой — европейкой, как говаривал Осип Мандельштам. Пусть и в очень локальном, со множеством местных особенностей — и вполне оседлом варианте: швейцарском, немецкоязычном. Живет в Цюрихе. Она сама это выбрала — и стала одним из самых заметных и признанных поэтов, пишущих по-немецки (и членом Немецкой академии языка и

поэзии в Дармштадте). Значит, язык не должен быть непременно родным, чтобы такое стало возможным?

(Впрочем, как мы уже догадались, поэзия — это то, что знает толк в дословесном.)

Вместе с множеством прожитых и не вполне присвоенных — отпущенных ею на свободу непринадлежности — культур Ракуза получила из рук слепого и щедрого случая еще и дивную возможность: выбрать одну из них. Что и сделала — не переставая, впрочем, помнить о хрупкости этого дома и о прозрачности его стен. Но тем благодарнее его цена.

Глядя сквозь эти стены во все стороны, она не только пишет на присвоенном ею немецком языке, но и переводит на этот язык: с венгерского, русского, сербского, французского. На всех этих языках она говорит — и, разумеется, еще на словенском, языке отца, одном из языков ее детства. Опыт всех этих языков и культур она насыщает язык неродной, ставший ей домом, насыщает куда щедрее, чем иные его владельцы-обитатели. Ради этого стоило в детстве как следует поездить.

Так сама *obscura* межкультурья, точно как в детстве, превратилась в комнату чудес, а одиночество — принципиально частичная принадлежность к каждому из культурных миров — обернулось счастьем: возможностью принадлежать им всем.

«Многоязычие, — говорит Ракуза, — для меня так же естественно, как шум прибой. Оно успокаивает, это моя родина».

Не знаю, можно ли стать человеком вообще (хотя, честно сказать, очень хочется), но вот стать европейцем вообще — куда более выполнимая задача.

И, пожалуй, даже стоит постараться.

Книга отречений

Катерина ЯНОУХ. Украденное детство / Перевод с чешского М. Борисовой. — М.: Центр книги Рудомино, 2014.

Если бы случай не свел на одном читательском столе книги Ильмы Ракузы и Катерины Яноух, их следовало бы специально положить рядом и прочесть подряд. Как ни удивительно, они — почти об одном и том же. Во всяком случае, об очень родственных друг другу опытах утраты в детстве своей изначальной среды и скитания по чужим землям, по случайным домам, травмы неприкаянности и непринадлежности — и, наконец, обретения (в случае Яноух — почти завоевания, упрямым усилием) новой родины. Действительно — родины; да, получается, их может быть несколько: родина — то, что нас создает, без чего мы не были бы самими собой.

То, что чешка Яноух не стала бы нынешней самой собой без Швеции — совершенно очевидно. Тем более, что она — знаменитая писательница, притом именно шведская (и фамилия ее поэтому имеет не совсем типичный для чешского уха и глаза облик: чехи сказали бы «Яноухова»): все ее книги, больше трех десятков (шесть из них переведены в России), написаны по-шведски. На языке, который она начала осваивать — и стремительно, по ее собственным словам, освоила — только в возрасте десяти лет. («Украденное детство» притом переведено с чешского. Значит ли это, что перед нами — единственная книга автора, написанная на ее родном языке?)

Обе наши героини причудливою волею судеб покинули в начале жизни — хотя и в разное время — одну и ту же страну, которой теперь уже нет на карте: тогда она называлась Чехословакией. И еще более того: Яноух, как и Ракуза, — человек изначально двуязычный, чешско-русская билингва, и со сложным символическим наследством. Ее отец — чех, мать — дочь украинской еврейки и чешского еврея,

выросшая в Советском Союзе, в Москве, в полностью русской культурной среде и считавшая себя русской. Катерина только так и пишет: «Я наполовину русская», — и не помышляя и ни единым словом не заговаривая о еврейской идентичности, хотя у нее есть для этого все основания. Эта часть символического наследия остается у нее не востребованной, она Катерине не интересна. Впрочем, похоже, русская его часть востребована ею тоже не слишком. Однако на подавление в себе русского (а оно, да, сознательно ею в себе подавлялось) у совсем маленькой (четырёхлетней!) Кати нашлись причины: это случилось 22 августа 1968 года. После того, как произошло сами знаете что.

«— Ты больше не должна говорить на улице по-русски, — немного выждав, объясняет мама, строго смотря мне в глаза. <...> — Пойми, теперь люди ненавидят всех русских. Обещай мне, что если мы пойдем на улицу, ты не будешь говорить по-русски.

Согласно киваю. Обещаю: "Да, мама". Для тебя я сделаю все, что угодно. Мне и самой страшно. Я не подведу тебя.

Конечно, все ненавидят русских. Я — как все, и я тоже ненавижу русских. Это русские оккупировали нас. Это они во всем виноваты. Теперь мы — в их власти.

Я ненавижу всех русских, следовательно, ненавижу и саму себя, ведь я тоже немного русская. Мне стыдно за то, что моя мама родом оттуда, из Советского Союза, как ее там называют, эту страну. Мне стыдно за то, что я вообще говорю по-русски. Если бы я могла просто забыть этот язык! Я не хочу быть русской. Даже наполовину».

Удивительна даже не степень этической напряженности самосознания («Мне стыдно за то, что моя мама родом оттуда»). И не то, что ребенку оказалось возможнее ненавидеть себя, «тоже немного русскую», чем маму, которая целиком «родом оттуда», это ведь, по существу, настоящее самопожертвование: даже для четырехлетнего, оказывается, легче ненавидеть себя, чем человека, которого любишь. Удивительно, что этот отказ от части самой себя, кажущийся немыслимым для четырехлетнего ребенка, судя по сказанному, не переживался (или теперь не вспоминается автором) как утрата. То есть — как лишение чего-то важного, без чего у жизни не будет, допустим, прежней полноты или интенсивности. Чистое отвержение. Чистая, как хорошо простерилизованный скальпель, ненависть. Решено — сделано.

«Вглядываясь в темноту спальни, я мысленно придумываю слова клятвы. Я больше никогда не скажу по-русски ни единого слова. Этот язык исчезнет, растворится, как будто я его никогда и не знала. Я перестану думать по-русски, я перестану чувствовать по-русски. Я больше не буду русской, часть меня перестанет существовать, часть меня умрет».

И как людям такое удастся? Да еще в четыре года?

(Справедливости ради надо сказать, что отдельные воспоминания о жизни в Москве у бабушки с дедушкой, где маленькой Кате случалось бывать, в книге еще встретятся. Притом написанные с симпатией — и к московскому дому, и в общем даже к московским людям, которых, правда, на этих страницах не так много. Ненависти ко всему русскому как-то удалось существовать отдельно от этого. Но «русские» воспоминания именно что не встроены в образ себя, не используются как материал для самосоздания. В отличие от сложных, эмоционально очень неровных: притяжение-отталкивание, пристрастных, но неизменно дорогих автору чешских воспоминаний, к которым она будет возвращаться снова и снова... пока наконец — по словам авторов послесловия к книге, родителей Катерины, не вернется в Чехию навсегда. Уже совсем взрослой, матерью выросших детей, автором тех самых тридцати с лишним шведских книг. Приняв даже то, что теперь она, выросшая в другой стране, по-настоящему своей в Чехии уже никогда не станет. Впрочем, не будем забегать вперед. Да и вообще это совсем другая история.

Мне почему-то думается, что это — история о преодолении детства. Она нам не

рассказана, всего лишь упомянута в послесловии. Но почему-то воспринимается она как важная часть повествования, дающая ключ к нему уже после того, как оно закончится.)

Итак, ни слова по-русски. Дальнейшие утраты Кати Яноуховой (пока еще ее зовут так) произойдут уже не по ее воле и выбору — и действительно будут переживаться как катастрофы.

Не сравнивай, живущий несравним. Но истории и в самом деле, как нарочно, настолько похожи, что хочется их сравнить — и обратить внимание как раз на то, чем они различны.

Различны они, конечно, не в первую очередь тем, что произошли, действительно, в разное время: если семья Ильмы Ракузы скиталась по послевоенной Европе, то Яноухи покинули Прагу в 1973-м (отец Катерины, знаменитый чешский диссидент, уехал из страны из-за преследования властей — вначале в Данию, а потом в Швецию, где они и остались жить). А вот то, что одну девочку увезли из родной Чехословакии совсем маленькой, не успевшей ничего толком запомнить, а другую — девятилетней, уже существенно.

Девятилетняя оставляла за собой тщательно устроенную жизнь, человеческие связи, дружбу, любовь, систему ценностей, ожиданий, тонко настраивающих личность привычек. Все это предстояло как минимум подвергнуть основательному пересмотру. В пределе — полному отвержению.

В общем-то чешская жизнь — если верить ее взрослым воспоминаниям — Кате не так уж и нравилась. Не слишком уютно жилось на некрасивой Прубежной улице, раздражала нелепая пани Каменная, сидевшая с ней, когда родителей не бывало дома, еще того хуже — идеологическая обработка в школе. Но дело было не в этом: все это, включая нелепое, скучное, постылое, было своим. И, по существу, понятным. Не любить все это можно было на правах своего.

После отъезда ведущей темой ее жизни — уже навсегда — станет понимание того, что «наша прежняя жизнь больше не существует». И страх перед разлуками.

К слову сказать, расставание с освоенным в жизни Кати — как и в жизни Ильмы — повторилось не раз: Данию ведь тоже пришлось оставить. Всего год спустя после приезда, девочка только-только начала чувствовать себя там уверенно. О новом отъезде она говорит так:

«В первый раз — это шок.

Во второй раз человек уже к этому привыкает.

В третий раз человеку, может быть, это даже нравится?

Меня охватило безразличие. Я сдалась. Все ясно. Снова запакуем все в ящики. Надо паковать».

Нет, до безразличия этой девочке было еще очень далеко — собственно, до него она так и не добралась. На всем протяжении повествования она останется остро чувствующей — и пристрастной. И уж точно никогда не сдастся.

Но этими множественными расставаниями каждая из наших героинь распорядится по-разному.

Главная разница здесь в том, что история Ильмы — это рассказ о становлении особенного, штучного стиля существования: непринадлежности (принципиально неполной принадлежности) как особенной позиции. История Кати — о первотравме (утраты своего) и ее последовательных преодолениях. О завоевании себе места в иной культуре — новой принадлежности; о страстной и упрямой потребности в ней. О выращивании новой себя — совсем другой. По чужим моделям, честно и старательно принятым за образец.

И — кстати, как и в случае категорического отказа четырехлетней Кати от русского языка — это всякий раз оказывается связанным с ненавистью к части себя, к себе прежней. С ненавистью, тем особенно болезненной, что отвергается дорогое,

вросшее глубоко в естество. Даже при том, что вспоминается оно часто без всякой симпатии — а все равно дорогое!

На протяжении книги нам не раз рассказывается о том, как маленькая Катя, оказавшись сперва в Дании, а потом в куда менее симпатичной ей Швеции, одновременно тоскует по своей оставленной Чехии — и упрямо борется с чешским в себе. «День за днем уничтожать свое чешское я». Ей ненавистно быть чужой в своем новом окружении. Она очень старается стать настоящей, правильной — сначала датчанкой, потом шведкой, — как все нормальные люди. «...Я научилась превозмогать свои чувства, чтобы стать настоящей, неподдельной шведкой», — напишет она, когда ей будет уже 33 года. И при этом что ни вспомнится из прежней жизни — все дорого. Вплоть до запаха жареного лука в пыльном дворе серой и унылой, по собственным воспоминаниям автора, родной Прубежной улицы. И двенадцатилетняя Катя отдает себе ясный отчет в происходящем: «Я предаю свою прежнюю жизнь».

В этом смысле категоричная, с сильной склонностью спрямлять и упрощать (иной раз и грубо!), но очень-очень, до беспощадности честная книга Яноух даже интереснее психологически, чем тонкий, поэтичный, внимательный, благодарный и отстраненный рассказ Ракузы о собственном опыте. Читатель и сам удивляется, тем более, что видение мира в целом у Яноух преимущественно черно-белое и, по правде говоря, не слишком глубокое. Как это возможно: одновременно замечать и высказывать настолько сложные вещи о человеческой душе — и так до наивного, а то и до несправедливого упрощенно видеть человеческое сообщество и его ценности? Я не знаю.

Вот так она представляет себе и читателям чешских молодых людей начала девяностых и их мировосприятие: «Молодежь, озлобленная тем, что потеряла столько лет, начинала просыпаться и с жадностью поглощала все, что приходило с Запада: от мультиков и Тинтина до кабельных телевизоров, поп-музыки, картофеля фри, гамбургеров, модных ботинок от "Doc Marten" и джинсов от "Levi's". Мне даже казалось, что на меня показывают пальцем: смотри, приехала и думает, что она одна из нас, но она не наша. Где она была, когда мы в ней нуждались, когда нам было плохо? Она тогда танцевала целые ночи в Тиволи, сдавала экзамены по шведскому языку, читала дамские журналы и поедала с хрустом чипсы, валялась в постели, и ей было на все наплевать. И в то время, когда чешские дети страдали, а их отцы сидели в тюрьмах, она спокойно беседовала со своим папой».

Ну конечно, годы, прожитые без Тинтина и джинсов от «Levi's», — безнадежно потеряны, да. И, уж конечно, поесть с хрустом что бы то ни было, валяясь в постели (о танцах и говорить нечего!), при проклятом коммунистическом режиме было совершенно невозможно. (А что чешские дети страдали, а их отцы сидели в тюрьмах, так даже и никакого сомнения нет. Что еще могли делать нормальные отцы в Чехословакии?)

Уж хоть бы о полноте видения мира пожалела, что ли. О, допустим, смелости и объемности мысли, о крупности чувств, о раздвинутости горизонтов, о пластичности и смелости в пересечении разного рода границ, о внутренней и внешней раскованности, которой, предположительно, у ее соотечественников до 1989 года не было. (И то — еще интересный вопрос. Вопрос, как с этим было по ту сторону границы «восточного» и «западного» миров, интересен не менее, но увел бы нас слишком далеко в сторону.) Да хоть бы о правах человека и свободе предпринимательства, в конце-то концов! Нет, даже речи не заходит.

Во всяком случае, перед нами тут совсем другое душевное устройство, чем у человека воздуха Ильмы Ракузы, — пожалуй, более типичное: человек с отчаянной потребностью в глубоком укоренении и качественной принадлежности. Не кочевник, а горожанин, домоустроитель — с «домом» в качестве одной из ведущих, формирую-

ших, диктующих ценностей. Дом — это остановка; точка, с которой по существу никуда не двигаешься, а если двигаешься, то, естественно, затем, чтобы возвратиться.

«Прошло три года, — вспоминает спустя много лет после детства выросшая Катя, имея в виду три года после открывшей границы бархатной революции, — прежде чем я отважилась поехать в Прагу. Я слышала <...> внутренний голос, говоривший мне: тебе там нечего делать, это не твой дом. Фактически, у тебя нигде нет никакого дома. Тебе не хватает страны, где ты могла бы поселиться» (и это после десятилетий хорошо адаптированной жизни в Швеции. — О.Б.), «страны, которую ты бы могла назвать родиной. Тебе не хватает корней, ты — иностранка, человек, который никогда не сможет вернуться домой, потому что у него нет никакого дома. Швеция — это не твой дом, не твой настоящий дом, так как ты не родилась тут <...> При этом, внутренний голос говорил мне также, что и Чехия — не мой дом, страна повернулась ко мне спиной, потому что я ее покинула...»

«Ну и что?» — пожала бы плечами, наверное, героиня Ракузы, вспомнив понятое ею еще в начале жизни: «...единственный мой дом — это я сама».

«В начале девяностых годов, — пишут Яноухи-старшие в послесловии к книге своей дочери, — Катерина Яноух вернулась на свою родину. Сначала это был краткий визит <...> Катерина вернулась на родину и как писательница. Более десятка ее книг стоят на полках книжных магазинов в Чехии и Словакии...» Вернулась ли она жить сюда насовсем — из сказанного, строго говоря, непонятно. Кстати, и отречение от русского языка оказалось не таким уж окончательным: «На пресс-конференциях в Москве, устроенных по поводу выхода ее книг в России, она удивляла присутствующих тем, как хорошо она говорит по-русски: со своей московской бабушкой она всегда общалась только на русском языке». Надо думать, и после четырех лет тоже.

Все-таки это — не история поиска свободы (у Ракузы — да, и история даже не со счастливым концом, а — со счастливой разомкнутостью). У Яноух — история поиска привязанности, связанности, определенности. Можно сказать и так: замкнутости.

(Причина ли тому — возраст, в котором человек покидает свою изначальную среду? Чем-де позже вывезут, тем с меньшей готовностью ты примешь перемены? Но ведь Яноух, скажете вы, прекрасно освоилась в Швеции, став неотличимой от шведов во всем, кроме памяти. Или дело все-таки в душевном типе, который странствиями в детстве не столько создается, сколько выявляется и укрепляется — как, собственно, и всяким детским опытом? Склонюсь к последнему варианту.)

А может быть, это история о том, что изначальное все-таки непреодолимо? И настоящее «свое» — это то, от чего, как ни старайся, все равно не уйдешь?

Азбука странствий

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Чужое солнце (путешественник, странник, изгнанник). — М.: ЭКСМО, 2012. («Другой, другие, о других». Детский проект Л.Улицкой).

Известный, взрослый и серьезный писатель Дмитрий Бавильский вдруг взял да и написал такую книжку для детей, какой, кажется, до сих пор еще не бывало. Во всяком случае, на русском языке. И уж во всяком-всяком случае, такой точно не было в нашем детстве — даже завидно. Лет в десять прочитать было бы очень здорово — как раз тогда, когда изо всех сил хотелось ездить и даже мечталось о жизни в движении — в доме на колесах.

Ну должны же быть какие-то руководства по этому занятию? Вот, теперь появилось.

Как читатель уже догадывается, это — книжка о видах путешествий. Путеводитель

по странствиям и странностям: то есть еще и о разных типах чужаков. Всякому путешественнику, конечно, совершенно необходимо в них разбираться — ведь, путешествуя, чужаком неминуемо становится он сам! Не говоря уже о том, что те, кого он встречает на своем пути, тоже, как правило, все сплошь чужаки.

И вот как к этому относиться? Как с этим справляться? По каким полочкам внутри себя раскладывать?

Бавильский придумал изящный способ рассказать обо всем этом — то есть о Другом и взаимодействии с ним. Он отправил своего героя — московского мальчика Кирилла — в две поездки сразу: сначала на Кавказ, за пределы нынешней России, а затем, неожиданно, в Сибирь, в самую ее глубокую глушь, куда не всякий и доберется. И это на самом деле — заметил ли сам автор? — как раз и есть два основных вида Другого: внешнее и внутреннее. Второе умеет бывать еще куда неизвестнее и экзотичнее первого — хотя бы просто потому, что на него обращают гораздо меньше внимания. Оно тем более Другое, что от него никакой инаковости вроде и не ждешь. Вот Кирилл это тоже заметил.

По пути с Кириллом случаются — как и должно быть в путешествиях — всякие приключения (ведь превратности — как совершенно справедливо сказано в названии одной из глав — поджидают нас везде). На самом деле, конечно, совсем не «всякие», а вполне типичные для отправляющихся в чужие земли. Например, он теряется в незнакомом городе — и находит дорогу с помощью местных жителей (и заодно обнаруживает, что манера общения у них — не такая, к которой он привык дома). Он с изумлением открывает разность человеческих нравов и обычаев. Ему угрожают опасности. Он чувствует тоску по оставленному дому. Он удивляется чужому, ищет способы взаимодействовать с ним — и оно становится, пожалуй, не таким уж чужим...

Каждую Кириллову превратность автор тут же использует как повод объяснить юным читателям связанные с нею ключевые понятия. То есть самые-самые ключевые, о которых маленький читатель наверняка даже и не задумывается, такими они кажутся очевидными. Начиная с самого коренного: почему люди путешествуют? (И тут же — шаг в историю: кто первым оставил настоящее описание своего путешествия, а кто из путешественников стал самым известным?)

О коренном — и дальше. Многие ли — и даже не только дети — задумывались о том, что такое вообще дорога? Автор же открывает нам совсем уж чудесное: у дорог, оказывается, есть своя история. «Самые древние дороги — реки и побережья»: вначале природа предоставила человеку первые возможности для дорог, а затем, этой возможностью воспользовавшись и от нее оттолкнувшись, он стал строить дороги сам — и по этим дорогам двинулась культура (об этом — глава «Дороги, по которым шла культура»). Откуда взялись связанные с дорогой условности, например, ритуалы проводов (типа обычая пить на посошок) и каковы они у разных народов. Как люди приветствуют друг друга и принимают гостей. Чем отличаются от путешествия изгнание, паломничество, крестовые походы и откуда взялся туризм.

(Не исключаю, что, увидев историчность и неочевидность таких, вроде бы, до незамечаемости понятных вещей, растущие читатели получат стимул к тому, чтобы обращать больше внимания на привычное: вдруг и оно сложнее, чем до сих пор казалось? Наверняка не ошибутся.)

И, конечно, здесь говорится о видах чужаков — начиная прямо с друга главного героя, маленького абхаза Даута, семья которого бежала в Москву от войны. Прежде всего прочего, автор объясняет самое важное: «Как плохо быть пришельцем». «Очень сложное и трудное дело — вращение в чужую жизнь, в новую культуру, освоение нового языка. Этот процесс называется ассимиляцией. Тот, кто выдержал испытание и преодолел трудности, становится «своим»».

(Ну ведь задумается же хоть один читатель над этими словами о том, что грань

между «чужим» и «своим», во-первых, размыта — да и вообще она не грань, а широкая полоса, — а во-вторых, преодолима!)

Затем пред читателем проходят, обращая его внимание на несходство между собою, нищие, кочевники, староверы-кержаки — «путешественники поневоле», мигранты в двух своих обликах: эмигранты и иммигранты. Сказано тут кое-что и про самые ходовые мифы о народном характере — на которые юному читателю тоже не грех взглянуть со стороны.

Повествует книга не только о перемещениях, но и об их невозможностях и ограничениях. О тех границах, которые люди проводят нарочно для того, чтобы не слишком-то перемещаться. Объясняет, например, что такое «прописка». Нынешние дети в нашей стране знают эту не слишком прекрасную незнакомку под иным именем: «регистрация» (по совести говоря, стоило бы это ее, не такое уже и новое, настоящее имя хоть раз в соответствующей подглавке упомянуть — а то еще и не признают при встрече).

Как и положено правильному путешествию, странствия Кирилла по свету заканчиваются возвращением домой — и открытием дома заново, переменной взгляда на него. И совсем уж наконец обращает автор наше внимание и на то, что путешествие — не обязательно перемещение в пространстве. Ведь и жизнь (а в представлении многих — и посмертие) тоже дорога — со всеми присущими дороге чертами, включая движение от своего к чужому, и наоборот. И вся она может быть описана в терминах движения.

Таким образом, Бавильский показывает своим читателям как бы макет путешествия, выстроенного с начала до конца, в его типовых чертах. Отправившись куда-нибудь, они теперь могут сравнить собственное путешествие с этим образцом: что совпадает, что нет? Наверняка найдется немало совпадений — и на них уже можно опираться. Теперь не пропадут!

Очень возможно, что если бы подобную книжку, азбуку странствий, прочитали в детстве героини, они же авторы, двух предыдущих книг, им стало бы гораздо яснее, что и почему с ними происходит.

Эвакуация

Из мемуаров 1941 года

Рубрику ведет Лев Аннинский

...Начиная с вокзала все было ново: галдеж вагона, незнакомые города, ощущение войны, гордость, что я сын ушедшего на фронт добровольца И еще — неслыханное скопление родственников. В таком тесном обществе я еще не вращался. Нас провожало море народа, а ехало пятеро: кроме меня с матерью, тетка Люба, ее сын Вадим (любимый мой брат!) и еще дочь дяди Миши-военного — трехлетняя Леночка. Как самая младшая она была главным объектом забот, но в ходе четырехдневного странствия наступил момент, когда именно я оказался в центре всеобщего внимания: слетел с верхней полки от толчка поезда и упал на батарею бутылок с боржомом (знал бы, что следующий боржом в моей жизни появится не раньше чем через десять лет). Был большой грохот и хохот, все меня утешали... Зачем? Я был только горд происшедшим. Жалел, что скоро мы приехали.

Я с интересом рассматривал приземистые каменные дома и вымощенные плитами тротуары Свердловска. Ощущение провала, катастрофы, конца жизни не сразу пробилось сквозь новизну случившегося. Я решительно не замечал тесноты маленькой комнатки, куда все наше многоступенчатое семейство ввалилось 7 июля 1941 года, — меня куда больше поразила старинная резная фисгармония принявших нас хозяев. Хозяином комнатки был лысеющий человек с орлиным носом и смеющимися глазами. Приветливость его смутно беспокоила меня: я чувствовал странность происходящего и не умел сформулировать своего вопроса, я осторожно допытывался у старших, к кому же это мы приехали и кем нам приходится человек с орлиным носом, спокойно созерцающий из уголка наше фантастическое вселение.

Мне объяснили, что этот человек «из того же украинского местечка, что мы все», что он приходится «нам всем» каким-то очень сложным родственником, мне, например, он разом троюродный дядя и четвероюродный брат; нумераций этих я не понимал, родство было слишком замысловатым, а из «нашего местечка» могло быть, вообще говоря, полно народу. А тут хозяева пустили жить такую толпу, а сами куда-то ушли ночевать, чтобы наш табор как-то на первое время разместился...

Первое время продлилось несколько месяцев, пока нами уплотнили какую-то бабуся в том же доме. Просторней не стало: к Леночке приехала мать, жена Миши-военного, а к Эфросам — после нашего от них отселения — моя добрая тетка Роза. Кагал оказался-таки будь здоров, и я все гадал, как это так устроилось.

А устроилось так, потому что донские казаки, возглавлявшие родственные семейства, уходили на фронт, а их еврейки-жены (вот-вот — вдовы) сплывались, спасая нас, полукуровок... Вот и вышло так, что я вместе с матерью, тетками и другими родственниками приехал в Свердловск летом 1941 года.

Осенью я пошел в первый класс.

Приняли по блату — мать в той же школе взялась вести биологию у семи-классников. Как недоростку мне устроили приемный экзамен. Что-то я читал вслух из толстой книги, потом получил вопрос «по общему развитию»: кто такой Калинин?

— Вождь, который раздает ордена.

По-моему, их подкупила скорость, с какой я это выпалил. Приняли.

Школа кочевала из здания в здание, уступая место раненым с фронта..

Первая моя учительница была похожа на московских детсадовских воспитательниц: добрая, улыбчивая, нестарая, только с седыми прядями в аккуратной прическе. Много позднее я осознал то, что о ней рассказывали: ленинградка, попала под бомбежку, рухнула в пролом пола вместе с тахтой, на которой лежала. Это ее и спасло. Была эвакуирована в чем была — чуть ли не в белье; так и прибыла в Свердловск, чужие люди ей собирали тут одежду. Меня тогда более всего занимал вопрос, обязательно ли спасешься, если рухнешь с высокого этажа на тахте. Белые пряди я осознал потом.

Занятия почти не запомнились. Линовали бумагу с обоев, писали палочки и крючочки, пока хватало линеек, потом опять линовали.

Занятия шли в три смены. Переполненные классы имели буквенные индексы вплоть до «К», то есть их было по десять на каждый уровень. На переменах — толчея. Драки. Сложилось ощущение школы как опасного ежедневного предприятия, на которое надо мобилизоваться. Потом этот опыт несколько помог мне в Москве, на бандитской Потылихе.

В один из первых школьных дней ко мне на перемене подошли два парня.

— Это ты играл в «Подкидыше»?

Их вид не предвещал ничего хорошего.

— Я...

В ту же секунду один из моих собеседников (тот, что покрупнее) влепил другому крепкий шлобан в лоб, и они удалились. Видимо, я оказался предметом спора. У меня однако возникло ощущение, что шлобан запросто могут врезать мне.

Как-то, на перемене же, ко мне пристал с угрозами незнакомый парень, на голову выше меня, какой-то неприятно кривобокий. Меня даже не то встревожило, что он старше и выше, и не то, что неприятен внешне, — меня потрясло, что он — НЕЗНАКОМЫЙ, и, стало быть, ЛЮБОЙ может ко мне прицепиться. «Законные» стычки детского езда шли, бывало, между своими, там даже поражение давало пусть низший, но признанный статус, но этот совершенно неведомый мне оголец, которому, оказывается, есть до меня дело, возмутил меня, потряс и, честно сказать, испугал.

На уроке меня мучило предчувствие, что он станет ждать меня на улице, и тогда я придумал хитрейший план: идти домой обходным путем, задними кварталами. Это тоже рискованно, потому что мать непременно спросит, ПОЧЕМУ ОПОЗДАЛ, и придется что-то ей соврать; кроме того, я мог запросто заблудиться, потому что не знал здешних улиц. Но меня уже разобрал азарт; я ДОЛЖЕН был тому огольцу наставить нос. Всю дорогу я считал кварталы под мысленную музыку: "Ты хитер, да я хитрее тебя..."

Когда вышел к дому, не заплутав, душа возликовала.

Ах, школа эвакуации — как обкатывала она меня, как оббивала углы мои, как обладала угрозами, закатывая страхи внутрь... Спасибо, пригодилось.

До нашего возвращения в Москву — два года спасительной и безжалостной эвакуации.

АВТОРЫ НОМЕРА

Аннинский Лев Александрович — литературный критик, литературовед, редактор. Родился в 1934 г. в Ростове-на-Дону. Окончил филфак МГУ (1956). Печатается как критик с 1956 г. Автор целого ряда книг о русской и советской литературе, о литературе народов СССР, театре и кино. Награжден орденом «Знак Почета» (1990), премией правительства РФ (2010) и другими многочисленными премиями. Живет в Москве.

Аствацатуров Андрей Алексеевич — филолог, писатель. Родился в 1969 г. в Ленинграде. Автор романов «Люди в голом» (2009), «Скунскамера» (2011), «Осень в карманах» (2015), монографий и статей по английской и американской литературе XIX–XX веков. Лауреат премии «За преподавательское мастерство» (2008), ежегодной петербургской премии «Топ-50» (2010). Живет в Петербурге.

Афлатуни Сухбат (настоящее имя — Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, литературовед. Лауреат многочисленных литературных премий. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Ташкенте.

Ахведиани Эрлом Сергеевич (1933, Тбилиси — 2012, Москва) — грузинский писатель, сценарист и актер. Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Бабушкин-Сибиряк Василий (настоящее имя — Гусев Василий Кузьмич) — прозаик. Родился в 1948 г. Публиковался в «Слово\Word» и других журналах. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в г. Назарово Красноярского края, где жили его предки сибиряки-староверы.

Балла-Гертман Ольга Анатольевна — литературный критик, искусствовед, редактор. Родилась в Москве. Окончила исторический факультет МГПИ им. Ленина. Заведует отделом философии и культурологии журнала «Знание — сила». Автор многочисленных книжных обзоров, статей и эссе. Живет в Москве.

Бахнов Леонид Владленович — литературный критик, прозаик, редактор. Родился в 1948 г. в Уфе. Окончил МГПИ им. Ленина. Известен как автор рассказов и мемуарной прозы. Живет в Москве.

Белорусец Сергей Маркович — поэт, переводчик. Родился в 1959 г. в Москве. Как детский поэт печатается с 1989 г. Работает в основном в жанре игровой поэзии. Автор нескольких книг стихов и прозы. Председатель Оргкомитета Фестиваля детской литературы им. Корнея Чуковского. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Москве.

Вишневецкая Марина Артуровна — писатель, сценарист. Родилась в Харькове. Печатается с 1991 года. Издала несколько книг прозы, автор сценариев более 30 анимационных фильмов, среди них сценарии оscarоносной «Русалки», «Домовенка Кузи» и «Нового платья короля». Живет в Москве.

Ганиева Алиса Аркадьевна — прозаик, эссеист, критик. Родилась в 1985 г. в Москве. Окончила Литинститут (2007). Автор книг «Салам тебе, Далгат!» (2010), «Жених и невеста» (2015) и др. Лауреат премий «Дебют» и «Триумф». Живет в Москве.

Драугунская Ксения Викторовна — драматург, прозаик. Родилась в Москве. Окончила сценарное отделение ВГИКа. Автор сборников рассказов («Целоваться запрещено», «Честные истории для взрослых и детей»), романа «Заблуждение велосипеда» и пьес («Ощущение бороды», «Секрет русского камамбура» и др.). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Ермаков Владимир Александрович — поэт, эссеист. Родился в 1949 г. в Петушках Владимирской области. Окончил истфак Орловского пединститута. Печатается с 1974 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Орле.

Кивиряхк Андрус — эстонский писатель, драматург и журналист. Родился в 1970 г. в Таллине. Пишет для взрослых и детей преимущественно в юмористическом жанре. Автор трех романов, нескольких пьес и книг для детей. Живет в Таллине.

Климова Галина Даниелевна — поэт, прозаик, редактор. Родилась в Москве. Окончила МГПИ им. Ленина и Литинститут. Автор нескольких сборников стихов и книги прозы «Юрская глина. Путеводитель по семейному альбому в снах, стихах и прозе» (М., 2013). Живет в Москве.

Ключарёва Наталья Львовна — писатель. Родилась в Перми. Окончила филфак Ярославского педуниверситета. Финалист премии «Дебют» (2002) в номинации «Поэзия», лауреат премии им. Ю.Казакова (2007). Живет в Москве.

Краева Ирина (настоящее имя Ирина Ивановна Пуля) — прозаик, журналист, педагог. Родилась г. Киров. Окончила журфак Ленинградского университета. Автор книг детской прозы. Лауреат Международной литературной премии имени Владислава Крапивина (2007), Международного литературного конкурса «Согласование времен» (2012), конкурса «Новая детская книга» (2013), Российской литературной премии имени Александра Грина (2015). В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Кружков Григорий Михайлович — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1945 г. в Москве. Окончил физфак Томского университета и аспирантуру Колумбийского университета (США). Печатается с 1971 г. Автор многочисленных книг стихов и сказок (в т.ч. и переводов) для детей. Лауреат Государственной премии РФ (2003), премий «Иллюминатор» (2003), «Мастер» (2009) и др. Живет в Москве.

Кузнецова Тамара Евгеньевна — экономист, главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук. В «Дружбе народов» публикуется впервые. Живет в Москве.

Надеев Сергей Александрович — поэт, переводчик, издатель. Автор нескольких книг стихов и прозы. Издатель и редактор энциклопедии «Русские писатели XX века» (совместно с «БРЭ». М., 2000). (Стихи проиллюстрированы рисунками Зинаиды Кордун.) Живет в Москве.

Нечипоренко Юрий Дмитриевич — прозаик, арт-критик, художник, культуролог. Родился в 1956 г. в Луганской области. По специальности биофизик, доктор физико-математических наук. Автор романа «Начальник связи», трех повестей и почти сотни рассказов. Много пишет для детей, в том числе книги «Смеяться и свистеть» (2012), «Золотой петушок» (2014). Живет в Москве.

Первик Айно — эстонская писательница, поэтесса и переводчица. Окончила Таллинский университет. Работала в издательстве и на телевидении редактором детской и молодежной литературы, а также программ для детей и юношества.

Перелаяев Сергей Владимирович — поэт. Родился в Смоленске в 1978 г. Окончил журфак МГУ. Публиковался в журналах «Простоквашино», «Вовочка», «Кукумбер» и др. Лауреат литературной премии «Заветная мечта» (2008) и др. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

Петкевич Юрий Анатольевич — писатель, сценарист, режиссер, художник. Родился в 1962 г. в Белоруссии. В 1990 г. закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Автор книг «Явление ангела» (2001), «Колесо обозрения» (2001), «С птицей на голове» (2012) и др. Лауреат Горьковской литературной премии (2013). Живет в Белоруссии.

Столповская Ольга Борисовна — режиссер, сценарист. Родилась в Москве. Окончила Художественное училище им. Калинина и режиссерскую мастерскую МИР Бориса Юхананова. Участница Берлинского, Роттердамского и других международных кинофестивалей. Автор романа «Куба Либре» (2010). В «Дружбе народов» публикуется впервые. Живет в Москве.

Фельдман Елена Александровна — поэт, переводчик. Родилась в 1989 году. в г. Иваново. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Лауреат нескольких литературных и переводческих конкурсов. Живет в Литве.

Хечоян Левон (1955—2014) — армянский писатель. Окончил филфак пединститута в Ленинакане. Начал печататься с 1988 г. Первый сборник рассказов «Деревья фимиама» вышел в 1991 г. Автор романа «Царь Аршак, Евнух Драстамат» (1995). Лауреат многих литературных премий и наград. За повесть «Черная книга, тяжелый жук» удостоен государственной премии Республики Армения «Золотой камыш» (1999). Книги переведены на русский, украинский, английский, испанский, немецкий и др. языки.

Цирульников Анатолий Маркович — писатель, академик Российской академии образования, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, профессор. Пишет о малоизученных социокультурных явлениях и процессах сельской школы, педагогических инновациях, «белых пятнах» в истории отечественного образования. В этом номере опубликован журнальный вариант будущей книги о Калмыкии. Живет в Москве.

Цыпкин Александр Евгеньевич — пиарщик и журналист-интервьюер. Родился в 1975 г. в Ленинграде. Автор сборника рассказов «Женщины непреклонного возраста» (2015). В журнале «Дружба народов» публикуется впервые. Живет в Москве.

Шеваров Дмитрий Геннадьевич — прозаик. Родился в Барнауле в 1962 г. Окончил журфак Уральского университета в г. Свердловске. Автор нескольких книг художественной прозы, очерков и эссеистики. В 2009 году в ДН была опубликована его повесть «Петрофит». Лауреат ряда литературных премий. Живет в Подмоскowie.

«FRIENDSHIP WITH ROOM FOR GROWTH»

In the recent two decades parents, teachers, librarians and even politics raise the alarm: children do not read. Don't like, don't want to read and have difficulty to understand what is read. The loss of the habit threatens not only with the failure of somebody's personal strategy but with cultural degradation of the society and decline of the state.

In parallel with that another process is going on: cultural connections between ourselves and our neighbours, once the republics of the union state, are being thinning. Nevertheless both here and there not only there are wonderful «authors for children», but «the authors for the grown-ups» take an active part in the work with the children's audience.

«DN» is sure: the reader must be brought up. That's why we venture to experiment and dedicate our November issue to the modern literature about and for children, their parents, grandparents, for the teachers and librarians and of course for all admirers of good literature.

You'll find here short and long short stories, poems, essays on pedagogical experiments and problems of childhood, memoirs about «my first book», children's letters and even tales.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzhbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzhba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»